

ISSN 0130-7673

# ИЗОБЫИ МИР

N *MIR* Y

5

---

1999

51

МИР

ИЗОБЫИ

1999

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5(889)

Май, 1999 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ — Ученик Эйзенштейна, повесть. Предисловие Вл. Новикова	3
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ — Перед прочтением сжечь, стихи	59
ДЕНИС НОВИКОВ — Предлог, стихи	63
РОМАН СЕНЧИН — Алексеев — счастливый человек, рассказ	66
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Отдельные фотографии, стихи	80
МИХАИЛ АРДОВ (протоиерей) — Вокруг Ордынки. Портреты	88

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АНДРЕЙ ЗУБОВ — Сорок дней или сорок лет?	123
--	-----

### МИР НАУКИ

БОРИС ИОФФЕ — Особо секретное задание. Из истории атомного проекта в СССР	144
--	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«...НЕПОВТОРИМЫЙ В СВОИХ СОЧЕТАНИЯХ МОМЕНТ». Письма А. К. Герцык к родным и друзьям. Вступительная статья, со- ставление, подготовка текста, публикация сотрудника Дома-музея М. И. Цветаевой Татьяны Никитичны Жуковской, примечания Н. А. Богомоллова и Т. Н. Жуковской. Послесловие Н. А. Бого- моллова	156
---	-----

### ПОЛЕМИКА

МИХАИЛ ЗОЛОТОНОСОВ — Книга о «голубом Петербурге» как фе- номен современной культуры	185
---	-----

### ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Социальный диагноз: короткая память	192
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ — Достоевский и «отношения между полами». Об одном факте, зафиксированном в «Летописи жизни и твор-	
--	--

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

чества Ф. М. Достоевского. — Об интересе Достоевского к феномену нимфофилии. — Об антропологии Достоевского. <i>Ирина Роднянская</i> . Между Коном и Достоевским. Реплика Виталию Свинцову	195
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Басинский. Поздние цветы империи	216
Елена Касаткина. Обреченный разговаривать с людьми	218
А. В. Лавров. «Секрет приятного стиля»	221
Юрий Кублановский. «Письма к ближним» — и дальним	224

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	227
Периодика (составитель Андрей Василевский)	230
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
**ИННУ ЛЬВОВНУ ЛИСНЯНСКУЮ**  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
**ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА АСТАФЬЕВА**  
С 75-ЛЕТИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
**СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА БОЧАРОВА**  
С 70-ЛЕТИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
**ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВИЧА НЕПОМНЯЩЕГО**  
С 65-ЛЕТИЕМ!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экземпляра журнала «Новый мир».

---

---

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ



## УЧЕНИК ЭЙЗЕНШТЕЙНА

Повесть

*Двадцатипятилетний выпускник ВГИКа, дебютирующий в «Новом мире», написал заведомо апокрифическую повесть о знаменитом режиссере и о советском быте тридцатых — сороковых годов. Некоторые реальные эпизоды и подробности из биографии Эйзенштейна перемешаны здесь с ничем не скованной выдумкой. Мистификацией сегодня никого не удивишь: и старые и молодые писатели нередко пытаются компенсировать свое незнание и непонимание современной жизни вымученными, умозрительными построениями, эксплуатируя память культуры, но ничем, по сути, эту память не пополняя.*

*У Андрея Савельева совсем другое. Его выдуманный Эйзенштейн — живой человек, с которым читатель постепенно вступает в душевный контакт, ощущая в самом себе творца — при всем том, что в сегодняшней обыденности творчество выглядит занятием самым бесперспективным. Пора менять профессию? Или уже поздно? И детей своих стоит предостеречь от опасных игр с музами? Савельевский Эйзенштейн так отвечает на эти вопросы: «— Вы могли бы стать кем угодно... От пастуха до члена правительства. Но при виде сцены у вас бы текли слезы». То есть всякий живой, энергичный и мыслящий человек может реализовать себя не только в художественной сфере — если при этом он не будет искренне страдать. «Слезы» — реальный критерий кровной причастности к искусству.*

*В произведении Савельева советское прошлое преображено творческим взглядом совсем молодого человека, не отягощенного идейными предрассудками отцов и дедов. Герои повести беззаботны и безответственны, как персонажи фильмов Тарантино. Их природная жажда жизни и тяга к свободе определяют прихотливую логику сюжета. Но в этой игровой легкости и ненадуманной озорной веселости исподволь вызревает непритворная чувствительность и свежий психологизм. Мне кажется, новое литературное поколение выбирает именно такой путь.*

*Вл. Новиков.*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### 1

**У**видев меня, бабушка мгновенно вспоминает деда.  
— Такой же раздолбай, — говорит она.

Дед учился во ВГИКе на курсе Сергея Михайловича Эйзенштейна. О его поступлении ходили легенды. То есть поэтически выраженная неправда.

Все прочили деду великое будущее фрезеровщика. Отец с трудом заставил его окончить десять классов. Сдавая выпускной экзамен по литературе, дед вытащил билет «Буржуазные течения начала века». Он знал, что «буржуазное» — синоним «плохого», а течения бывают у рек. Он только не знал, каким образом связать эти понятия. И вышел к доске полный недоумения. Экзамен принимал интеллигентнейший человек, бывший профессор Московского университета.

— Рассказывайте, — велел он.

Дед набрал побольше воздуха и хмыкнул.

Профессор начал задавать наводящие вопросы.

— Кто был Брюсов?

— Поэт...

— Правильно... А точнее?

— Хороший поэт.

— Верно, верно... А по`складу поэзии? Ну?

Дед задумался.

— Он был... Ну... — кивая головой, подбадривал экзаменатор. — Сим... Ну? Сим-во... Сим-во-ли...

Дед вспомнил слово «символизм», которое, подобно шаману, учитель выдавал несколько раз в течение урока, и воскликнул:

— Брюсов был символизатором!

Профессор обладал завидным чувством юмора.

— А Маяковский тогда — футурологом, — поддел он. — Конечно, глупо рассчитывать, будто вы способны продекламировать стихи Брюсова. Тащите второй билет.

Пока дед изучал название второго билета, профессор поражался:

— Я понимаю, Блока не учить, у этого прекрасного поэта стихи длинные. Но Брюсова... Чего там учить? «О, закрой свои бледные ноги». Рай для склеротиков. Кто следующий?

В критические моменты дед всегда отличался известной наглостью. Он встал и пошел к доске.

— Что, юноша? — иронично спросил экзаменатор. — Решили перетаскать все билеты?

— Я могу продекламировать Брюсова, — сказал дед. И выдал нараспев: — О, закрой свои бледные ноги.

Как говорилось выше, профессор обладал чувством юмора. Это позволило ему оценить находчивость двоечника тремя баллами.

## 2

Во ВГИК дед попал случайно. Якобы во время прогулки.

Сожалая о нищей профессии деда, бабушка неоднократно вздыхала:

— Нормальные люди не гуляют где попало...

Сперва был творческий конкурс. Легкомысленному юноше данное мероприятие казалось медицинским осмотром, где основное внимание уделяется выражению лица. Глядя по утрам в зеркало, дед находил свой вид актерски удовлетворительным и расценивал шансы поступления очень высоко.

Самоуверенный дед прошествовал к экзаменационному столу и улыбнулся, ожидая аплодисментов. Сидевший во главе комиссии Эйзенштейн отреагировал спокойно.

— Читайте, — велел он.

Повисла нелепая тишина.

— Что вы готовили? — спросил Эйзенштейн. — Любимый поэт имеется?

— Да... — сказал дед. — Брюсов... — Он принял картинный вид и пропел: — О, закрой свои бледные ноги!

Помолчали.

— Все? — неуверенно осведомился Эйзенштейн.

— Все! — изрек абитуриент, давая понять, что опрос непростительно затянулся.

Комиссия почему-то засмеялась. Пристыженный дед вылез в коридор. Его обступили товарищи по несчастью. Дед огорошил их вопросом:

— По-немому кто-нибудь знает?

— А что? — заволновался народ. — Надо?

— Еще как! — воскликнул дед. Увидев отчаяние на лицах абитуриентов, уточнил: — Мне лично.

Народ успокоился, поняв, что язык глухонемых интересует не Эйзенштейна.

Один знающий все-таки нашелся.

Двухметровый бугай вежливо пробасил:

— Калининко.

— Из Белоруссии, — мгновенно определил дед.

— Нет, — показал ряд белых зубов Калининко. — С флота!

Когда уставший от приемных экзаменов мэтр вышел проветриться, то увидел большую толпу. Долетали слова:

— Товарищ... звезда пленительного счастья... напишут наши имена...

Заинтригованный гений подошел ближе. Центром толпы был дед, декламирующий Пушкина. Эйзенштейн постоял, послушал. Потом спросил:

— А как насчет Брюсова?

Якобы увлеченный дед сделал вид, что не признал гения.

— Рай для склеротиков, — фыркнул он.

Мастер задумчиво пожевал губами.

А дед продолжал шпарить стихами, устремляя взор к заоблачным высям, где Калининко махал руками, переводя классику на глухонемую речь.

Эйзенштейн принял деда на актерский курс. Только спросил конфиденциально:

— А все-таки, молодой человек, кто ваш любимый писатель?

Дед быстро приспособился к обстоятельствам.

— Толстой, — сказал он.

— Который?

— Самый первый.

В характеристике, которую Сергей Михайлович составил для облегчения работы с учениками, напротив фамилии деда выведено красными чернилами: «Излишне скрытен».

### 3

Дед жил в общежитской комнате с матросом Калининко. Денег катастрофически не хватало. По ночам друзья разгружали вагоны. Утром выслушивали упреки мастера.

— Калининко! — орал Эйзенштейн. — Чего вы «шокаете»? Что надо говорить, сколько раз можно повторять?

После матроса Эйзенштейн расправлялся с дедом:

— Что вы как сонная муха? Живее, живее...

Глаза у деда слипались. Он путал мизансцены и вводил партнеров в состояние легкого шока незапланированными репликами.

Конец учебного года Эйзенштейн решил отметить спектаклем. Начались репетиции «Бесприданницы». Дед лелеял мечту о воплощении Паратова. На распределении ролей он выпячивал грудь колесом, ехидно прищуривая глаза. Но Эйзенштейн доверил Паратова Калининко, а деду предложил сыграть Карандышева.

Первый раз в жизни дед повысил на мастера голос.

— Какой я Карандышев? — возмутился он. — Разве похож я на Карандышева? Карандышев маленького роста, шуплый, с редкими волосами. Жалкий тип!

— А по-моему, — сказал Эйзенштейн, — Карандышев самая человеческая фигура пьесы. Есть в нем что-то от Башмачкина. Думаю, вам удастся хорошо сыграть.

Сжав зубы, дед согласился. Удар по самолюбию не прошел бесследно. Дед придирался к матросу в бытовом плане: следил за очередностью мытья тарелок.

Калининко реагировал с пониманием. Утешал деда. Терпеливо доказывал, что роль Паратова не подходит тому по физиологическим данным.

— Что такое физиологические данные? — заинтересовался дед. — И почему это тебе подходит?

— Паратов, — говорил Калининко, раскидывая руки, — душа нараспашку. Ничего серьезного. Любую глупость сделает. Женится два раза. Пароход в карты поиграет. Можешь ты, Савельев, пароход в карты проиграть?

— Чужой если только.

— Да ты валета от семерки не отличишь, — обиделся Калининко.

Губы деда предательски задрожали.

— Ты, значит, можешь пароход проиграть, а я нет?

Калининко задумчиво принялся читать журнал «Советский авиатор», словно горькая истина была ему неприятна.

— Фиг два ты пароход проиграешь, — сказал дед. — Силенок не хватит.

— А вот и проиграю! — запальчиво крикнул матрос.

— Как называется положение, не требующее доказательств? — ехидно спросил дед.

Заведенный Калининко вскочил:

— Да... я... на спор, Савельев, любую вещь сделаю. Хочешь, Шурку Голицыну поцелую? При всех в коридоре?

— Ишь чего захотел. Шурку любой дурак целовать не откажется. А вот по кольцу на «Аннушке» проехаться...

Калининко был потрясен легкостью задачи.

— В час пик, — добавил дед.

Калининко смешался, но виду не показал.

— В час пик, — обозначил условие Карандышев. — В ластах.

— В ластах... — утратил бдительность Паратова Калининко. — Почему в ластах?

— Ага! — торжествуя заорал дед.

Паратов небрежно засунул руки в карманы.

— Да хоть сейчас.

В его тоне мелькнула барственная снисходительность размышления: «Давно я в ластах не катался. Не размяться ли?»

Стоял теплый весенний вечер. Матрос скинул ботинки и пошевелил пальцами ног. Дед связал шнурки и закинул обувь себе на шею.

— Обрато как нормальный поедешь, — разрешил он.

Калининко напялил ласты и, передвигая ногами, словно земноводное на суше, почапал к трамвайной остановке.

Было семнадцать часов без двух минут. Усталый народ осаждал трамвай «А». Наиболее проворные ухарски гнездились на подножке. Калининко в ластах неловко пробирался внутрь. Четыре трамвая уехали, печально трезвоня. Дед не скрывал ликования.

На остановке Калининко умеренно привлекал внимание. Но проблема передвижения заставляла народ относиться к необычным явлениям снисходительно. Только ребенок лет пяти пристал к матросу:

— Дядя, а почему у тебя такие ноги?

— Потому, — загадочно ответил Калининко.

— Почему «потому»?

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— На что это вы намекаете, молодой человек? — недоброжелательно поинтересовался старичок в пиджаке времен русско-японской. — Старость уважать надо. Вам самому грозит...

— Я ничего плохого не сказал, дедуля...

— Кстати, мальчик прав, гулять в ластах... Вы, простите, футурист?

— Нет, — сказал дед. — Он символист. Брюсов. Знаете стихотворение «О, закрой свои бледные ноги»? Он сочинил.

— Еще один шутник, — укоризненно покачал головой старичок. — К вашему сведению, я был лично знаком с Валерием Яковлевичем. Никакого сходства с этим невежливым юношей.

— Бедный Валерий Яковлевич, — заметил Калининко. — Доставалось ему, наверно, от вас.

— Калининко, амба! — крикнул дед. — Трамвай!

«Аннушка» действительно подплывала к остановке. Матрос напрягся. Рабочий поток засосал его в круговорот.

В салоне дед расплющился между старичком и мужиком в грязной спецодежде. Для того чтобы его социальная принадлежность выглядела более явно, громил сжимал гаечный ключ. Впереди мелькала широкая спина Калининко. Доносились ругательства:

— Кто в такое время в ластах ездит?

— Ха! Время! Издевается он!

— Водитель, остановите, здесь хулиган!

Ласты загнулись. Ступням было невероятно жарко. Калининко пихали со всех сторон, провяля ненависть дружных сокамерников к новичку. Матрос прижал пудовые кулаки к груди и запричитал:

— Товарищи, войдите в положение! Я из бассейна еду! У меня антипролетарская сволочь ботинки украла. Новые, на трудовые гроши купленные. Босиком — вы мне последние ноги отдадите. Войдите в положение, товарищи!

Темпераментная речь возымела действие. Какая-то бабушка дала матросу копеечку.

— Какие у вас ботинки были? — вдруг поинтересовался стоявший рядом с дедом старичок. — Фабрики «Москвошвея»?

— Других я не ношу! — сказал патриотичный матрос. — Либо «Москвошвея», либо вот...

Неожиданно старичок сдернул с шеи деда ботинки Калининко.

— «Москвошвея!» — прочитал по складам личный знакомый Брюсова. И заключил: — Держи вора!

— Я знакомый его! — закричал Карандышев.

Мужик с гаечным ключом, до этого молчавший, сохраняя пролетарское достоинство, согласно которому с работы надо возвращаться усталым, потащил хрупкого деда к выходу.

— Э-э-э? Куда? — промямлил ошарашенный Калининко.

Он продирался вслед за дедом. Ласты цеплялись за что ни попадя. Матрос терял равновесие. Портил прически пассажиров. И вообще вел себя, как конь Калигулы в римском Сенате.

Он успел поймать в окне проплывающее мимо растерянное лицо деда.

В общежитие дед вернулся с глобальными потерями. Не хватало зуба. Зато наличествовало два синяка.

— Ну и скажи, — спросил дед, — зачем мне это нужно?

— Я, что ли, виноват? — проворчал матрос. — В институт сообщает?

— Я по дороге смылся, — ответил дед. — Пришлось двоим хлюпикам морду набить.

Калининко недоверчиво поглядел на синяки. То ли хлюпики изловчились, то ли дед недооценил их способности.

— Вместе жить нет возможности, — сказал дед. — Ариведерчи, Калининко!

Калининко воспринял факт ссоры без апломба.

— Всему виной мои физиологические данные, — констатировал он.

Смотря, как Калининко — Паратов соблазняет Шурочку Голицыну — Ларису Огудалову, дед принимал каменное выражение лица. Ему нравилась Шурочка и хотелось выпячивать грудь колесом, ехидно прищуривая



глаза. Вместо этого приходилось лепетать, сутулиться и хвастать дешевыми сигарами. Карандышев деду не давался. Ибо внушал отвращение.

Эйзенштейн тщетно старался побороть неприятие деда. Много говорил ему о силе любви. Дед внимательно разглядывал пол. Слова мастера достигали барабанных перепонок, не проникая внутрь.

Иногда деду снилась Шуручка. Всегда рядом с нею мелькал бывший товарищ. Дед боялся подойти, наблюдая издали процесс заигрывания. Шуручка заметила неровное дыхание деда. Особого значения ему не придавала. Девушка находилась в том возрасте, когда интерес мужчины является не событием, а лишней обузой. Матрос Калининко ее занимал гораздо больше. Но тот решал другие проблемы — ломал исконное произношение, вытравлял элементы языка белорусских предков. Добился весомых результатов. Приехавшая из Гомеля мама сокрушенно покачала головой.

— Сынок, — жалостливо заметила она. — Ты совсем разучился говорить по-русски.

Однажды вечером дед забрел на чей-то день рождения. Хватив рюмку, почувствовал себя одиноким. Выйдя в коридор, увидел Шуручку. Мило улыбаясь, она спешила навстречу деду. Внезапно он понял, что дальше так продолжаться не может. И, остановив девушку, поцеловал ее крепкую, как яблочко, щеку. Коридор был пуст. В удивленных глазах Шуручки дед ясно читал отвращение.

— Ударь меня, если хочешь, — мягко предложил дед.

Голицына высокомерно усмехнулась.

Он вернулся в комнату с твердым намерением умереть. Выпил рюмку. И еще одну. И еще. Много рюмок. Спел. Сплясал. Прочел стихотворение Брюсова, выдавая его за свое. Кого-то обняв за плечи, рассказал о красоте жизни, что скоро будет ему недоступна. Под конец заснул на кровати именинника.

В шесть утра его разбудили. Юношу беспощадно мутило. Хотелось ситро и таблетку аспирина.

А через несколько часов, глядя на источающую холод Шуручку, дед понял, что вчера он был Карандышевым.

После репетиции Эйзенштейн пожал ему руку и сказал:

— Спасибо!

Спектакль получился средний. Но дед играл неплохо. Пожалуй, даже хорошо. Его игру отметил репортер «Московской правды». Иногда я достаю пожелтевшую от времени газету и представляю радость, с которой дед касался свежих листов.

А вот Калининко потерпел фиаско. На премьерном показе разволновался до «шоканья». К финальной сцене перешел на откровенную белорусскую речь. После чего заперся у себя в комнате и несколько дней пил горькую.

Поразмыслив о жизни, Калининко появился к мастеру домой. Эйзенштейн напоил ученика чаем с малиновым вареньем. Проговорили они до утра. На прощание расцеловались. Матрос купил билет на вечерний поезд. В Гомеле всегда ждала мама.

Дед застал Калининко собирающим манатки. Земля полнилась слухом.

— Говорят, навсегда уезжаешь? — спросил дед.

Калининко мрачно пытался закрыть чемодан.

— Я к тебе три дня стучался, — сказал дед. — Чего не открывал?

Матрос вскарабкался на чемодан коленками.

— Ты меня извини, Калининко, — попросил дед. — Неправильно я себя вел. А сыграл ты достойно.

Замочки чемодана щелкнули. Словно перышко матрос подхватил тяжеленный баул и, потеснив деда, ушел из актерской профессии.

На третьем курсе дед полюбил бабушку. Вечерами, когда выдавалось свободное от репетиций время, гулял с ней по бульварам.

— Когда ты пригласишь меня посмотреть на игру? — спрашивала бабушка.

Дед менял тему разговора летучим поцелуем. Ему не хотелось блистать перед любимой в роли бедолаги Карандышева.

Как-то раз бабушка сказала:

— Скоро у меня день рождения.

Дед не спал всю ночь. Утром был невнимателен. Съел завтрак соседа по общежитию, надел чужие ботинки, потеряв субординацию, потрепал мастера по щеке. Он думал, где раздобыть денег.

Кто-то познакомил его с директором летнего кафе. Тот предложил исполнять частушки в дуэте с красивой девушкой, развлекая любителей пива и креветок. Дед легкомысленно согласился.

Красивой девушкой оказалась Шурочка Голицына. Со дня неприятного инцидента они не перемолвились словом. Дед предполагал гордо удалиться. Но было поздно. Директор, кольхая животом, изрек:

— Искусство, молодой человек, требует жертв!

Под жидкие аплодисменты дед вышел на эстраду. Спел что-то про бюрократов и убийц товарища Кирова. Шурочка подтягивала тенорком. Про выступления такого рода обычно говорят словно оправдываясь: «Бывает и хуже».

Директор пожал актерам руку, пробормотав казенные слова восхищения.

— Очень приятно, — ответил дед. — Когда деньги?

Распорядитель сделал широкий жест в сторону буфета:

— Получите.

Шурочка достала трехлитровую банку.

Теплое пиво брызнуло, наполняя тару пеной. Дед понял, что зарплата не имеет денежного эквивалента.

Весь следующий день влюбленный таскался по институту с банкой пива, готовый продать ее оптом и в розницу. Желающих облагодетельствовать деда за счет своего кошелька не находилось. Устав, дед открывал банку и делал глоток. К семи часам он допил остатки и хлопнул ее об асфальт.

На эстраду дед вышел чуть покачиваясь. Оттеснив Шурочку, завел унылую песню про каторжников. Народ хлопал бодро.

За кулисами директор порадовал деда:

— Можете забирать свое пиво и больше сюда не показываться.

Дед жадно отпил из банки. Стоявшая напротив Шурочка сделала ответный глоток. Дед посмотрел на нее с прежним интересом.

— У меня проблемы, — пожаловалась Шурочка, облизывая пенные губы.

— Да ну? — воскликнул дед. — А какого, извиняюсь за внимание, плана? Личного или творческого?

— Личного...

— Это хорошо, — обрадовался дед. — Творческие проблемы неразрешимы, а личные так, фигли-мигли, я люблю яичницу.

— Не все просто, — даже оскорбилась Шурочка.

— Все просто! Смотри на меня!

Он глотнул из банки.

— Повтори-ка!

Шурочка аккуратно последовала совету.

— А теперь расскажи о своих личных проблемах. А я тебе расскажу о своих. Таким образом, проблемы аннулируются.

Шурочка задумчиво приподняла банку.

Поздно ночью милиция обнаружила деда бессмысленно сидящим на тротуаре. У ног его мирно посапывала Шурочка.

Актер вежливо приветствовал милиционеров.

— Карандышев, — отрекомендовался он. — Мечтающий стать Паратовым.

Блюстители порядка мудреных слов деда не поняли и решили, что они носят оскорбительный характер.

В день своего рождения бабушка проснулась, полная ожидания счастья. В дверь нещадно громыхал грубый сосед по коммуналке:

— Эй, сонная тетеря! К телефону добро пожаловать!

Босая молодая бабушка выскочила в общественный коридор.

— Але! — закричала она.

— Анюта, — раздалось на том конце провода. — Здравствуй!

— Здравствуй, — защебетала бабушка. — Я всю ночь не спала, ждала твоего звонка.

— Вот и врешь, — сказал грубый сосед по коммуналке. — Я минут пять в дверь сапогом долбил.

— Не ваше дело, — огрызнулась бабушка.

Грубый сосед по коммуналке не уходил, ценя романтический жанр мелодрамы. По недоуменному лицу бабушки он понял, что ее хочет бросить любимый. Бабушка хлопнула трубкой.

— У вас есть деньги? — спросила она.

— На аборт? — выдохнул сосед, проявляя любопытство.

Бабушка выразила удивление. Сосед поскучнел:

— Нету денег. Сам думал занять.

— Надо вытащить из тюрьмы человека, — сказала бабушка.

— Жениха, что ли?

Девушка покраснела.

Грубый сосед ворча удалился. Через минуту бабушка услышала, как он ругается с женой. Стараясь не расплакаться, она придумала дело. Закружилась по комнате, наводя бессмысленный порядок.

Грубый сосед вошел без стука, комкая ассигнацию. Он молча положил ее на краешек стола и, остановив бросившуюся с благодарностью молодую особу успокаивающим жестом, вышел.

Вместо деда конвойный привел Шурочку. Бабушка долго разглядывала правильные черты женского лица. Потом нерешительно заметила:

— По-моему, вы ошиблись.

— Все как в аптеке, — успокоил милиционер. — Савельев выходить отказался. Велел сперва выпустить это.

Актриса схватила упирающуюся бабушку за руку и драпанула прочь.

Они стояли друг против друга на залитом солнцем дворе.

— До вечера я денег найду, — сказала Шурочка. — Езжайте домой, выспитесь хорошенько.

— То есть как? — возмутилась бабушка. — У меня жених в тюрьме, а я домой поеду? Кроме того, спать я привыкла ночью. Чего и вам желаю.

— Посоветуйте своему жениху, — ехидно ответила Шурочка.

Бабушка хотела влепить нахалке пощечину, но передумала. За нее штраф платить было некому. Она проглотила обиду. Только сказала:

— Володя — благородный человек. К сожалению, благородство его распространяется на что ни попадя.

Шурочка, цокая каблучками, двинулась вперед.

По дороге она решала, куда именно ехать. После недолгих раздумий отмела все малоимущие кандидатуры. Поразмыслив еще, вычеркнула людей, чьи услуги требовали благодарности определенного рода. Оставался единственный шанс. Сергей Михайлович Эйзенштейн.

Мастер, по случаю раннего утра, шеголял в пижаме и тапочках на босу ногу. Увидев Шурочку, смутился.

— Простите, — сказала девушка. — Я всего на минуту. Понимаете, Володю Савельева забрали в милицию.

Она сама испугалась эффекта произнесенных слов. Эйзенштейн побледнел. Несмотря на жару, прикрыл окно. Загнал упирающуюся Шурочку в ванную, где врубил на полную мощность водопровод.

— Что произошло?

Шурочка красочно описала подвиги деда, утаивая, из соображений ложной скромности, свое участие.

Мастер облегченно вздохнул:

— И все?

— Все... То есть не все...

— Как не все? — переполошился Эйзенштейн и начал долбить гаечным ключом по батарее.

Разговаривать в такой обстановке было неприятно. Шурочка потерянно замолкла. Эйзенштейн приблизил ухо вплотную.

— Деньги нужны, — проорала девушка. — Штраф... Чтобы выпустили...

Гений перестал шуметь. Выключил кран. Заметно повеселел. Расслабленной походкой двинулся к брюкам:

— Десяти рублей хватит?

Шурочка кивнула.

— Чаю выпьете? — спросил Эйзенштейн. — С малиновым вареньем.

Девушка вежливо отказалась.

Выпроводив ученицу, гений вернулся к чтению. Через тридцать минут в дверь позвонили. Бабушка робко переступила порог квартиры мастера.

— Чем обязан?

Перед ней стоял малорослый, начинающий лысеть человек, имеющий отдаленное сходство с бухгалтером завода «Красный Октябрь», где бабушка работала упаковщицей. Она так и спросила:

— Простите, вы не родственник Семена Леонидовича Рубинштейна?

— К сожалению, нет, — ответил Сергей Михайлович.

— Я так и подумала, — нелогично заметила бабушка. — Простите за вторжение.

— Чаю хотите? — спросил Эйзенштейн. — С малиновым вареньем.

— Ага... Обожаю малиновое варенье и хлеб с маслом.

Эйзенштейн смущенно поскреб затылок:

— Хлеба, кажется, нет.

— Конечно, — вздохнула бабушка, — у гениев никогда не бывает хлеба.

— Откуда вы знаете, что я гений? — самолюбиво поинтересовался автор «Броненосца „Потемкин”».

— Мне жених про вас много рассказывал. Володя Савельев.

Эйзенштейн вздрогнул. Раскрыл дверь ванной.

— Все разговоры о Савельеве я веду там.

Бабушка удивилась, но выполнила наставление русской пословицы, гласящей: «Хозяин — барин».

Под шум воды она поведала мастеру свои мытарства.

— Я уже внес лепту, — сказал Эйзенштейн. — Десять рублей.

— Кому?

— Шуре Голицыной.

Лицо молодой бабушки приняло хищное выражение.

— Этой уродине с алкогольными замашками?

— Ее личная жизнь меня не интересует, — аккуратно заметил Эйзенштейн.

Бабушка расплакалась. Она не была истеричкой. Просто устала. Растерянный хозяин дома проводил ее в комнату. Дал валерьянки.

— И всю жизнь, — жестко сказала бабушка, — Володя будет думать, что из канарейки его вытащила эта стерва.

— А вы бегите, — посоветовал Эйзенштейн, — может, успеете ее обогнать.

Он сунул бабушке в карман последнюю десятку.

— В этот момент, — рассказывала бабушка, — мне захотелось его обнять. Но я не решилась. Сама не знаю почему.

А я знаю. Потому, что искренние поступки выглядят глупыми и смешными. А все мы очень умные.

Получив деньги, Шурочка заглянула в общежитие — навести марафет. В милицию она приехала за пять минут до появления бабушки. Усталый сержант заполнял протокол. Шурочка положила ассигнацию на стойку.

— Это зачем? — спросил сержант.

— Штраф за Савельева.

Сержант напряг лоб в раздумье. Судя по всему, данное занятие не являлось для него привычным.

— А, задержан в пьяном виде.

Ворвавшаяся соперница оттеснила Шурочку.

— Вот! — крикнула она, махая деньгами.

— Это зачем? — спросил сержант.

— Штраф за Савельева.

Сержант задумался более глобально.

— А-а-а... Задержан в пьяном виде. Его уже оплатили.

— Догадываюсь, — желчно сказала бабушка. — Тот взнос недействителен.

Тут вклинилась Шурочка:

— Вы ее не слушайте, товарищ милиционер. Вы меня слушайте. Я первая заплатила.

Сержант смерил взглядом оппоненток. Он испытывал желание запеть обеих в камере, тем самым решив проблему.

Бабушка уже спросила разлучницу тоном урки: «А кто ты такая?» Шурочка как бы невзначай успела продемонстрировать любовно выращенные ноготки — грозное оружие бабушкиным косам. Сержант чувствовал дыхание бури. Он не боялся алкоголиков и тунеядцев. Смеялся над бандитскими пулями. Был прям с начальством. Но всегда помнил, как дрались на кухне его жена с тещей. И поспешно дезертировал за яблоком раздора.

Вид деда разочаровал сержанта. Он предполагал узреть широкоплечего Илью Муромца — русского богатыря, завоевывающего сердца красавиц.

— Идем, Савельев. Там за вас две женщины дерутся.

— Пускай дерутся, — отмахнулся беспечный дед. — Победитель получает все.

Явление деда прервало легкую возню девушек. Они замолкли. Милиционер принял соломоново решение. Он забрал все деньги и лично конвоировал деда во двор. После чего запер дверь, заложил уши ватой и включил на полную мощность громкоговоритель.

Справа от деда стояла Шурочка. Слева бабушка. Дед протянул руки обеим, будто собираясь взлететь. Девушки сделали инстинктивный шаг назад. Дед понял, что жизнь нередко предоставляет альтернативу, позволяя ошибаться только один раз. И отсутствие благодати порождается мыслью о том, что ты мог выбрать иной путь.

Через три месяца дед с бабушкой расписались.

Когда началась война, дед благополучно перебрался в Алма-Ату. Там, после нескольких лет разлуки, встретил мастера. Сергей Михайлович снимал «Ивана Грозного». Он выглядел усталым, будто знал, что его ждет. Дед

переживал очередной кризис. Больших ролей не было. Собратья по актерскому цеху внушали смехотворные чувства. Бабушка планировала развод.

Сергей Михайлович и дед сели на лавочку во дворе алма-атинской киностудии.

— Как дела? — спросил мастер. И добавил: — Вижу, что плохо. — И еще добавил: — Я ведь предупреждал на первом курсе: либо нормальная жизнь, либо творчество. А так, чтобы все вместе, увы, не бывает.

— Работы нет, — пожаловался дед.

Эйзенштейн согласно кивнул:

— Знаю. Кого ты играл? Ворона в «Снежной Королеве».

— Фашистов пару раз, — напомнил дед.

— Да... Их убивали в первом акте.

Осенние листья шуршали, подлетая к ногам Эйзенштейна и его ученика.

— А вы видели счастливых людей? — неожиданно спросил мастер.

Дед промолчал.

— Я тоже нет, — сказал Эйзенштейн.

Дед понял, насколько изменился мастер. И, пожалуй, впервые почувствовал смерть молодости. Однако ему стало покойнее. Как человеку, который убедился в неизбежности горя. А также необходимости мириться с ним.

— Ладно, — сказал мастер, тяжело поднимаясь. — Мне пора. А ты зайди как-нибудь. Мне статисты нужны. На опричников.

Претендовавший на гениальность дед не обиделся. Он понимал, что такое Эйзенштейн. И, глядя в спину уходящему мастеру, грустил. Такой сгорбленной была его фигура. А еще капал мелкий дождь.

## 6

Режиссер Самсон Чиковани лелеял идею детского утренника.

— Здесь много эвакуированных, лишенных Родины детей, — внушал Чиковани актерам. — Надо порадовать их.

Актеры легкомысленно скалили зубы. Людям, которые бредили Хлестаковым и Треплевым, энтузиазм режиссера казался дуракавалянием. Дед тоже кисло улыбался, предчувствуя роль гриба подосиновика.

Но Чиковани продемонстрировал кульбит мысли:

— Мы расскажем детям о фашизме.

Дед мысленно примерил красный галстук Вали Котика и, проглотив оскомину, скривил губы.

Чиковани обратил на гримасы деда усиленное внимание:

— Вы... Да-да... Вы... Подойдите сюда...

Дед приблизился к режиссеру. Поймал его лукавый, цепкий взгляд.

— Скажите: «Хайль Гитлер!» — велел Чиковани.

— Что?!

— Хайль Гитлер! — отчеканил Самсон.

Дед неуверенно сымитировал его голос.

— Четче! — отбивая ногой ритм, заорал Чиковани. — Хай-ль Гит-лер! Хай-ль Гит-лер!

Труппа сидела не шевелясь. Осветитель дядя Вова упал со стула.

— Все вместе! — бросил клич режиссер. — Хай-ль Гит-лер! Хай-ль Гит-лер!

Одинокий голос его, раскатываясь, тревожил зал. Внезапно Чиковани осекся. Смущенно пригладил волосы.

— Извините, товарищи, — сказал он. — Увлёкся.

И деду:

— Вы поняли? Вот так надо играть.

Как играть, дед не понял. Зато понял, что от Самсона надо держаться подальше.

Вечером тот навестил деда. Бабушка приняла гостя любезно. Чиковани рассказывал о своем детстве. Рассказы носили острый привкус экзотики. Изобиловали высокими горами, бурными реками, мудрыми стариками с палками в руках, что сидят днями на пороге лет, спокойно ожидая смерти, юношами, которые любят раз, и девушками, разбивающими молодые сердца беспечной жестокостью. В них звучал смех, неотделимый от печали, и печаль, готовая взорваться хохотом.

Дед не слушал Чиковани. Он мучительно думал о цели его визита. Мало-знакомый человек приходит к вам домой и без видимой связи начинает говорить душевные вещи. Чего-то ему надо. Эдакого ли, знаете... Специфического. То, что вы сделать можете, но по каким-то причинам не хотите. Из массы абсурдных вариантов дед выбрал один нормальный. Чиковани пришел занять денег.

— Простите, — прервал дед животрепещущую нить рассказа. — Нельзя ли у вас денег занять?

Самсон почему-то обрадовался.

— Вай, дорогой! — закричал он. — Сто рублей не мало будет?

Дед задумался. Сжимая в кармане сторублевую купюру, он вспомнил крик: «Хайль Гитлер!» Добродушный грузин таил черты матерого фашиста-вербовщика.

Дед пошел глотнуть водички. Прислонился виском к холодной раковине. Задумался о смысле жизни.

Таким его застала бабушка.

— У Самсона горе, — шепнула она. — Немцы жену изнасиловали. Молодая была, красивая. Перед смертью «Хайль Гитлер» заставили кричать.

Дед ощутил в груди жжение. Он нашел силы улыбнуться Чиковани. И даже угостить его морковным чаем.

На следующий день они встретились как старые знакомые. Актеры завистливо наблюдали променады деда с режиссером по театральным коридорам. Самсон щедро делился планами:

— Ты у меня сыграешь Гитлера.

Дед вяло протестовал. У него сложилось идеализированное представление о своей внешности. А Гитлер был явно не красавец.

— Аудитория благодарная — дети! — говорил Самсон. — Они тебя ругать будут. С подмостков гнать. Тебе плохо будет, они радоваться будут, в ладоши хлопать! Вай, как хорошо!

— Чего же здесь хорошего? — обиделся дед.

— Реакция, — ответил Самсон. — Мы работаем для реакции. Зритель должен смеяться, плакать, гневаться. Он должен топтать ногами, свистеть и кидаться тухлыми помидорами. Сейчас он надел пиджак, где надо смеяться — вежливо хихикает, в момент плача смущенно улыбается, он не будет кидать помидор, а вежливо ретируется в середине акта. Только дети ведут себя, как народ эпохи Шекспира.

Начались репетиции. Гитлер противостоял Деду Морозу и Снегурочке. Он крал большой мешок с подарками. На кой ляд понадобились ему халвяные барбариски и орехи фундук, знал только Чиковани. Когда дед задался этим вопросом, режиссер его оборвал:

— Гитлер в представлении ребенка плохой дядя. Вор тоже плохой дядя. Сиречь Гитлер и вор одно лицо. Новогодняя же тематика диктует объект кражи.

Дед уважал Самсона. Это было преклонением дикаря перед непознанным явлением природы.

— Самсон умный, — признавался дед бабушке. — Но почему-то я понимаю все, что он говорит.

В финале Дед Мороз и Снегурочка отбирали у гитлеровских приспешников, Бабы Яги и Бармалея, подарки. Самого Гитлера, по замыслу Чиковани, должны были прогнать дети.

Ягу играла проклятие бабушкиной жизни Шурочка Голицына.

## 7

В нашем доме ее имя произносилось с невозможными для воспроизведения эпитетами. Казалось бы, все пролетело, ушло, высохло. Дед умер до моего рождения. Матери пятьдесят. Бабушка год не встает с постели. По утрам я кормлю ее с ложечки овсянкой. Но при упоминании Шурочки Голицыной давно погасшие зрачки наполняются живым огнем злобы, которая пугает меня.

После окончания института Шурочка устроилась в Драматический театр. Ей неслышанно повезло. Благодаря яркой внешности молодая актриса получила роль в «Даме с камелиями». Она играла Маргариту. Партнером Шурочки был некий Серафим Глобусов.

После репетиции он ползлся провожать девушку. У дома выяснилось, что транспорт ходить перестал. В квартире выяснилось, что у Шурочки одна кровать. Потом выяснилось, что Глобусов не против тесноты, а, наоборот, всячески ее приветствует. Утром выяснилось, что Шурочка стала любовницей очередного потомка Казановы.

Шурочка выглядела счастливой. По дороге в театр она прижималась к Серафиму плечом и тайком кусала его небритую щеку. Поведение девушки несказанно удивляло ловеласа. Он не понимал, что имеет дело с человеком, для которого происходящее на сцене плавно перетекает в жизнь. Иными словами, Шурочка жестоко полюбила Серафима, перепутав его с Арманом Дювалем. И теперь ждала цветов, коленапоклонений, неба в алмазах и двуспальную кровать в расрочку.

Когда влюбленные подошли к театру, Серафим деликатно освободил локоть и сказал:

— Будем вести себя осторожно.

— Зачем? — удивилась Шурочка.

— У меня очень ревнивая жена.

Шурочка остановилась посреди тротуара:

— Ты женат?

— Да, милый крысенок, — ответил Серафим. — Это моя трагедия.

— А почему ты изменил жене?

— Глупо обсуждать моральный облик на улице. Здесь много людей, которым это интересно.

Лицо девушки горело немым отчаянием. Серафим невольно залюбовался. Даже легонько тронул пальцами Шурочкин подбородок:

— Я буду к тебе приходить. Часто.

— Мне надо всегда!

Серафим отрицательно качнул головой:

— Я старше на десять лет. У меня жена и сын. Я их люблю. А вокруг много людей, которых можешь полюбить ты.

— Я больше никого не полюблю, — грустно сказала Шурочка. — И вообще умру скоро.

— И мир не узнает, какой замечательной актрисы лишился.

Шурочка призадумалась.

— Я умру, как только продемонстрирую свой талант.

— Так обычно и бывает, — ворчливо заметил Дон-Жуан. — Ничего красивого в этом нет. Банальность жизни.

Шурочка решила умереть как актриса. То есть публично. Она сжала нервы в кулак. Хорошо работала. Несколько раз Глобусов ночевал около



ее подъезда. Транспорт не ходил, а дверью Шурочка хлопала перед носом ухажера. В свободное время Шурочка листала книги по медицине. На сцене она забывала все. Помня, что Маргарита должна умереть.

Настал день премьеры. Глобусов публично обнимал эффектную женщину средних лет. Рядом вертелся шевутной мальчик, не умеющий говорить тихо. Шурочка отвела глаза.

Перед финальной сценой Шурочка опрокинула в рот дюжину таблеток. Занавес поднялся. Маргарита полулежала на софе. Вбежал Арман Дюваль.

— Ты серьезно больна? — трагически спросил он.

И услышал в ответ:

— Смертельно.

Арман вздрогнул. Режиссер за кулисами нервно ощипал герань. Суфлер начал перелистывать текст.

По сюжету Дюма, больная чахоткой Маргарита убеждает Армана в наличии у нее мигрени, а когда обнадеженный юноша покидает роскошные апартаменты, падает без сил. Таков смысл финала трагедии, что, благодаря самовольным действиям Шурочки, стремительно деградировала в фарс.

Арман Дюваль быстро овладел ситуацией.

— Ха-ха-ха! — неестественно засмеялся он. — Какая милая шутка!

— Это не шутка, — сказала Шурочка. — Ты больше не увидишь своего милого крысенка.

В зале стояла гнетущая тишина. Ее разорвал детский плач и стук каблучков по направлению к выходу. Недальновидный Глобусов одарил жену и любовницу одним ласковым прозвищем. И теперь жена уходила.

— Варька! — заорал потерявший бдительность донжуан. — Вернись! Мало ли что плетет бесстыжая дура!

Раздались смешки.

— Любимый, — укоризненно сказала Маргарита. — Не омрачай последних минут пошлыми криками.

Арман сжал кулаки, толкая спектакль к финальной сцене «Отелло».

Из-за кулис долетел сдавленный крик режиссера:

— Занавес!

— Умереть спокойно не дадут, — грустно констатировала дама с камелиями.

Занавес не падал. Это существо капризное, любящее акцентировать скандал. То есть в нужный момент он не опустится, являя зрителям истинную сторону актерской жизни.

На помощь самоубийце бросились режиссер, исполнитель роли графа и электрик, по чьей вине занавес не падал. Глобусов был человеком нормальных физических данных. Борьба предстояла нешуточная.

Зрители веселились от души. Они воспринимали случившееся как революционный финал пыльной классики.

Электрик и граф взялись успокаивать Армана. Режиссер бегал вокруг и давал указания, нещадно критикуя подопечных за отсутствие решительности. В конце концов Армана успокоили, отоварив стулом по голове.

Нервные актеры вызвали милицию, «скорую помощь» и зачем-то пожарных. Три бригады вломились на сцену. Хохот зрителей достиг гомерических размеров. Хаос торжествовал. Режиссер энергично жал руки кому ни попадя, что-то пытаясь доказать. Милиционеры достали свистки. Врачи уложили на носилки протестующего электрика. Пожарные тупо оглядывались в поисках занятий. Глобусов и Шурочка лежали рядом, не двигаясь, будто Ромео и Джульетта после всех пертурбаций.

Занавес опустился.

Аплодисменты продолжались пятнадцать минут.

Режиссера и электрика после вышеописанных событий никто не видел. По непроверенным данным, они утонули в Клязьме.

Шурочка и Глобусов очутились в больнице. Шурочка с острой формой желудочного отравления покоилась на втором этаже. Глобусов с травмой черепа отдыхал на третьем.

Целыми днями Шурочка спала, а ночью глядела, как лунный свет окрашивает мир в мягкие тона. Как-то в окне мелькнул знакомый силуэт. Глобусов балансировал на карнизе, умоляя о встрече. Шурочка открыла форточку.

— Чего тебе? — спросила она.

— Поговорить.

— Ну, говори.

— Холодно здесь, — жалобно протянул Глобусов. — Вообще стоять неудобно.

— В палату не пушу, — отрезала Шурочка. — Нянечка контролирует.

— Хорошенькая?

— Ничего себе.

— Везет, — сказал Глобусов. — За мной какая-то мыпра ухаживает. Лет эдак пятидесяти.

— Глобусов, мне дует. Закрою сейчас форточку.

— Нет-нет... Подожди...

Шурочка увидела, что его футбольные трусы заметно оттопыриваются.

— Кобель ты, Глобусов, — сказала она. — О чем с тобой беседовать?

— А от меня жена ушла, — похвастался Серафим. — Буду теперь алименты платить.

Озадаченная Шурочка просунула голову в форточку:

— Чего, прям так и ушла?

— Ага! К родне в Саратов.

Глобусов заметно не переживал. Чего-то там даже насвистывал.

— Серафим, у тебя голова как? — осторожно спросила Шурочка. — Зажила?

— На следующей неделе выписать обещали.

Глобусов чихнул, едва не упав с карниза. Шурочка встревоженно дернула головой.

— Не бойся, милый крысенок, — успокоил Глобусов. — Может, оно и к лучшему. Я только из-за сына ее терпел. Как-то прихожу домой, а вещи на ступеньках валяются. И такое бывало.

— Зачем женился?

Серафим принялся разглядывать тронутые шерстью ноги.

— Молодой был. Все что угодно за любовь принимал. А Варька чего? Красивая... Забеременела скоро...

— Ну и катись к ней в Саратов, — обиделась Шурочка.

Она попробовала исчезнуть, но голова застряла в форточке.

— Не психуй, — посоветовал Глобусов. — Думаешь, совсем я дурак, разницы не чую. Ты вон ради меня помереть готова. А Варька — стерва. Кончено с нею.

— Черт, — пожаловалась Шурочка. — Голова застряла.

— Ух ты! — обрадовался Серафим. — Как нельзя кстати.

Он принял акробатическую позу и поцеловал Шурочку.

— Нахал! Только попробуй еще раз!

— Если ты настаиваешь, — пробормотал Глобусов, протягивая губы.

Шурочка прокомпостировала зубами его длинный нос. От неожиданности Глобусов заорал благим матом и рухнул вниз.

В темноте послышалась возня.

— Серафим, — спросила Шурочка. — Ты как?

— На клумбу упал, — сообщил Глобусов.

— Головой?

— Задницей.

— Это ничего, — успокоилась девушка. — Мягкая посадка.

Потом Шурочка услышала треск ломаемой акации и крик: «Держи вора!»

На следующую ночь, едва увидев Серафима, Шурочка гостеприимно раскрыла окно.

Вскоре они поженились.

## 8

Неразумный поступок Шурочки сломал ей карьеру. В Драматическом театре отвели место служанок с двумя-тремя репликами. Место Глобусова располагалось неподалеку. Он играл людей свиты и рабочих, толкающих речь на собрании.

И все-таки они были счастливы. Потому что, вспоминая жизнь с Глобусовым, Шурочка светилась. Впрочем, я знал человека, который светился, рассказывая о годах, проведенных в фашистском концлагере. В то время ему было двадцать лет, и все ужасы меркли перед надеждой обрести счастье.

Все хорошее кончается. Глобусова забрали на фронт, а Шурочка эвакуировалась в Алма-Ату, где впервые после окончания института встретила деда.

Встреча носила теплый характер. Посмеялись над былыми недоразумениями, вспомнили товарищей, мастера, разошлись довольные друг другом.

— Лечит время, Самсон, — философски сказал дед Чиковани. — Когда-то я любил эту женщину, а теперь ее внешний вид меня не беспокоит.

Бабушка, проведая о прибытии Шурочки, заволновалась:

— Чего ей надо?

— Играть, — ответил дед. — Она же актриса.

Бабушка презрительно фыркнула:

— Знаем... Видали...

Дед счел благоразумным промолчать.

Репетиции шли полным ходом. Чиковани требовал внутренних монологов и оправданных действий. В сердцах мог покрыть ужасным матом, после чего церемонно извиниться. Ему прощали. Ибо основного греха, с актерской точки зрения, Чиковани был лишен. Равнодушие.

Премьера новогоднего утренника состоялась 31 декабря 1942 года. Накануне Шурочка получила похоронку.

Чиковани узнал об этом первый. Все билеты продали за неделю до спектакля. Самсон решил напялить костюм Бабы Яги самолично, но Шурочка явилась вовремя и заперлась в гримуборной.

Чиковани отозвал деда в сторонку.

— Ступай к Шуре, — велел он. — Скажи, если что, я на сцену выйду.

Шурочка в костюме Бабы Яги открыла дверь. Ее лицо кричало ярким гримом. Дед сел на краешек стула. Голицына мерила шагами узенькую комнатку, без умолку тараторя:

— Хорошо я здесь устроилась, правда? Мило, уютно. Мне нравится. Вообще люблю гримироваться. Даже в Драматическом, там гример был, я сама, все сама. Как думаешь, краски не мало?

— Достаточно, — выдавил дед.

Шурочка приблизилась вплотную:

— Может, по уголкам рта гуще сделать? Я должна сегодня выглядеть, как настоящая Баба Яга.

У деда мелко дрожали руки. Он спрятал их под мышки.

Дали первый звонок.

— Ага! — воскликнула Шурочка. — Через пятнадцать минут начнем. Слушай, вдруг Сергей Михайлович придет?

Дед удивился:

— Эйзенштейн? На детский утренник?

Шурочка, оценив нелепость предположения, согнулась в две погибели от смеха.

— Ой, не могу! — всхлипывала она. — Представляешь, сидит мастер среди малышни и смотрит, как Лариса Огудалова играет Бабу Ягу.

Ее веселье передалось деду. Они хохотали как безумные.

Дали второй звонок.

Шурочка оправила перед зеркалом платье.

Дед с грохотом отодвинул стул.

— Шура... Не надо сегодня играть... Самсон подменит.

Голос Шурочки дрогнул.

— Как ты не понимаешь? — тихо спросила она. — Именно сегодня я должна играть. Да-да... Именно сегодня. Иначе я рехнусь.

Спектакль прошел с триумфальным успехом. Дети подбили Гитлеру глаз.

— До свадьбы заживет, — констатировал Чиковани.

Дед выпил сто грамм и говорит:

— Трагедия! Рано я женился! Придется теперь с фингалом ходить.

Шурочка принесла молоток.

Железный набалдашник приятно охлаждал больное место. Дед расслабленно потянулся к бутылке.

— Ты не забыл? — спросил Чиковани. — Завтра в десять утра спектакль?

— А ты не забыл? — парировал дед. — В полночь Новый год.

— Смотри не увлекайся, — предупредил Чиковани, ретируясь.

Дед решил, что остался один, и сделал щедрый глоток.

— Володя, — послышалось из угла. — Зачем ты так много пьешь и мало закусываешь?

Дед вздрогнул и увидел Шурочку. Она сидела нахохлившись, словно раненая птица.

— Закуску дома оставил.

— Жена готовит?

Чувство вины завладело сердцем деда. Вины человека, который в годичку бед обладает внешним признаком счастья.

— Она разводиться думает, — словно оправдываясь, буркнул он.

— Жалеешь?

— Пускай... Детей все равно нет.

Актриса горько усмехнулась:

— И у меня нет.

— Дать тебе выпить? — хрипло спросил дед.

Шурочка отказалась.

Часы глухо пробили десять.

— Иди, — сказала вдова. — Пора тебе.

Лицо деда исказила конвульсивная дрожь.

— Я не виноват! — почти крикнул он. — Судьба такая, понимаешь?

Шурочка мягко коснулась его плеч.

— Станный ты человек, Володя. С такой обостренной чувствительностью нынче долго не живут.

— Хочешь, пойдем к нам?

— Твоя жена меня терпеть не может.

— А это ее проблемы, — неожиданно рубанул дед.

— Минутный порыв ломает крепости помощнее твоей семейной жизни. Не волнуйся. Я заберусь с ногами в кресло и буду сидеть долго-долго. А потом засну.

Вышли на улицу. Дед решительно сказал:

— Я провожу.

Промерзлый трамвай еле двигался. Шурочка отогрела дыханием кружочек. Дед притворялся спящим. В его ушах гремело Шурочкино: «Странный ты человек, Володя». Гордость от сознания своей обособленности поднимала вопль. Дед подавил его.

Они молча брели в темноте к Шурочкиному дому. Дед испытывал соблазн громких фраз, одновременно понимая их неуместность. Ведь слова остаются только словами, чем бы мы ни стремились наполнить их. Поэтому любая надгробная речь выглядит дежурной.

— Спасибо, что проводил.

Дед очнулся. Разглядел очертания подъезда. И обнял Шурочку, стараясь передать часть теплоты.

— Иди... Иди, скоро двенадцать.

Дед побежал. Он бежал всю обратную дорогу. Несколько раз садился в сугроб, задыхаясь, жадно глотал снег. И мчался дальше, перебирая ватными ногами.

Бабушка сидела за столом. Увидев деда, испугалась:

— Что случилось? В каком ты виде?

В зеркале на деда глядел странный тип с подбитым глазом. Тронутые снегом волосы делали его похожим на мокрую курицу.

— С Новым годом! — крикнул дед. — С Новым, 1943 годом!

## 9

Скоро Самсон махал перед носом деда толстой пачкой бумаги.

— Новая пьеса орденоносца Дроздова. Здесь для тебя роль.

Дед оживился:

— Со словами?

— Еще какими, — подмигнул Чиковани. — Документально гитлеровскими.

Дед скрипнул зубами.

Репетиции шли туго. Дед искал образ человека, что был противен не только ему, всем. Чиковани требовал монстра, злодея в духе Шекспира. Часто возникали ссоры.

Бабушка вспоминала, как Чиковани прибежал к деду поздно ночью и темпераментно крыл его матом, как дед облил режиссера ушатом холодной воды, как оба плакали, клянясь друг другу в симпатии.

Орденоносец Дроздов клубился рядом. Это был юркий человек маленького роста. Постоянно хихикающий. Очень любил сплетни. Совершенно не разбирался в искусстве.

— Эйзенштейн? — спросил он деда. — Еврей или немец?

Дед затруднялся ответить.

— И то и другое, — решил Дроздов. — Пропавший человек.

Защищая мастера, дед назвал вереницу его картин.

— «Броненосец „Потемкин”», — ехидно констатировал Дроздов. — Про любовника сторонницы крепостного права.

— Про революционный корабль! — возмутился дед.

Дроздов улыбнулся. Так мы улыбаемся, желая расписаться в понимании истинной сути вещей.

Пьеса Дроздова удручала бездарностью. Пятистраничный монолог бойца Красной Армии Чиковани нещадно сократил.

— Если актер, — пояснил он свои действия, — говорит неинтересные вещи, зритель обижается. Но если он говорит долго, зритель уходит.

На поправки Дроздов реагировал болезненно. Постоянно жаловался деду. В жалобах мелькали слова «мое прогрессивное творчество» и «блестящие фантазии». Дед туго разбирался в драматургии, но понимал, что Островский лучше Дроздова.

Он мучительно искал образ. Ночами пугал бабушку криками. Ему снился Гитлер в костюме Ричарда Третьего. Дед потерял аппетит. Стал нервным и раздражительным. Бабушка опасалась запоя с его стороны.

Однажды Дроздов пришел на репетицию веселым. Ущипнул пару актрис. Сделал реверанс Чиковани. Прервав репетицию, рассказал анекдот. Он весь пропах спиртом.

Режиссер сделал замечание.

Неожиданно Дроздов надменно улыбнулся:

— Вы знаете, кто я такой?

— Подозреваю, — осторожно ввернул Чиковани.

— Я — гений! — завизжал орденносец. — Мне сам Алексей Максимович руку жал.

— А зачем? — удивился Самсон.

Тело гения пронзила мелкая дрожь.

— Эта пьяная личность мне надоела, — заявил Чиковани, меланхолично сжимая кулаки.

Орденносеца поспешили увести.

— Продолжим!

Дед не слышал. Он задумчиво мям рукой бархат занавеса.

— Ты чего? — толкнул актера Самсон. — Тоже гений?

Дед посмотрел на грузина.

— Я понял, как надо играть, — сказал он.

Гитлер в исполнении деда выглядел монстром, но монстром слабым, деградирующим. Он вызывал омерзение и горький смех. Но не страх. И не жалость. Образ сиял гротесковыми красками. Пришла слава.

За несколько лет дед воплотил Гитлера в семи пьесах, не выходя за пределы удачно найденного образа. Он боялся экспериментов, ибо годы научили подвергать сомнению гениальность. А также довольствоваться малым.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

2 февраля 1946 года в Доме кино было многолюдно. Чествовали сталинских лауреатов. Награжденный высшей премией Эйзенштейн источал нервное веселье. После ряда неудач первая серия «Ивана Грозного» понравилась вождю.

Оркестр заиграл вальс. Эйзенштейн подошел к Вере Марецкой:

— Разрешите?

Публика Дома кино затаив дыхание следила, как лысоватый человек маленького роста кружился в элегантном танце.

— Хотите роль? — шептал Сергей Михайлович. — Хорошую. Последняя любовь Грозного.

Вера Петровна откровенно смеялась:

— Мне сорок лет.

— А мне сорок восемь, — сказал Эйзенштейн. — Возраст мало что значит. Я, например, только теперь чувствую силы для Гамлета.

Марецкая прижалась к самому уху Эйзенштейна:

— Я видела вторую серию...

— Вам понравилось?

Лицо Веры Петровны почти сияло нежностью:

— Вы плохо разбираетесь в жизни, Сергей Михайлович. Очень плохо.

— А в режиссуре? — хитро прищурился мастер.

— Отлично. Но, право, лучше разбираться в жизни.

— Не думаю! Лучше разбираться в... танцах.

И Эйзенштейн ускорил зажигательный ритм.

Когда оркестр замолк, Эйзенштейн проводил Веру Петровну к Марку Донскому. Марецкая лихорадочно вытащила платок и принялась томно обмахиваться. Сергей Михайлович отвесил шуточный поклон:

— Благодарю за танец с вашей актрисой.

— Что ты наделал, Сергей? — с тихим упреком спросил Донской.

Его глаза выражали отчаяние.

А Эйзенштейн улыбался:

— В чем дело, Марк? Ты можешь мне объяснить?

Донской раскрыл было рот, но осекся. Проследив взгляд маститого режиссера, Сергей Михайлович увидел человека кавказской национальности. Звали его Михаил Эдишерович Чиаурели.

Эйзенштейн не заметил, как вокруг него образовалась пустота. Убежали Донской с Марецкой. Музыка едва долетала.

— Фильм повезли в Кремль, — сказал Чиаурели. — Наверное, просмотр уже начался.

Эйзенштейн медленно осел на пол.

Чиаурели немо говорил. Наверное, успокаивал. Словно в кривом зеркале проплыли лица советского киномонда. Боль ширилась.

Вызвали машину. Прямо с бала мастера доставили в Кремлевскую больницу. Врачи констатировали инфаркт.

Дед навестил Сергея Михайловича. Привез яблок. На улице хулиганил апрель.

Эйзенштейн лежал в постели. Бледное воплощение слабости. Только озорно блестящие глаза убедили деда, что перед ним его мастер.

На столике высилась горка исписанной бумаги. Лежала толстая книга в сафьяновом переплете.

— Мне роль дали, — похвастался дед.

— С одного раза угадаю, какую, — сказал Эйзенштейн. — Опять Гитлера играешь?

Дед почему-то смутился:

— Ну, Гитлера... Вчера новую пьесу для читки принесли. Автора Павленко.

Сергей Михайлович оживился:

— Павленко? Как он?

— В театр не приходил.

— Загордился Петька, — грустно сказал Эйзенштейн. — А жаль. Талантливый был человек. Мы над «Невским» вместе работали.

Рука мастера коснулась запястья ученика:

— Считаю своим долгом предупредить: Павленко — это вам не Дроздов.

— Конечно! — воскликнул дед. — Павленко и ростом повыше будет, и пьет аккуратнее.

— Не те критерии для оценки. Творчество Дроздова по большому счету интересует только его жену. Да и ее с точки зрения гонорара. А Павленко внимательно читают. Я бы даже сказал — очень внимательно.

Дед все понял. И согласно кивнул головой.

Эйзенштейн надкусил яблоко. Запах ранней осени заполнил палату, и дед увидел парк, где любил гулять в детстве. Сидя на краешке больничной кровати, он разглядывал красные листья, узоры решеток и фигуру отца в драповом пальто до пят, с трубкой в уголке рта, слышал отдаленные трамвайные звонки, дышал чистым воздухом сентябрьского полдня и ловил в душе наивную уверенность в незыблемой вечности окружающего мира.

— Знаете, — сказал он, — отец так хотел, чтобы я стал фрезеровщиком.

— Вы могли стать кем угодно, — проворчал Эйзенштейн. — От пастуха до члена правительства. Но при виде сцены у вас бы текли слезы.

— Я и сейчас от этого не застрахован, — признался дед.

— Еще бы, — самодовольно усмехнулся мастер. — Ты же мой ученик! Калининко помнишь? Он ушел с первого курса. Я вовремя объяснил ему некоторые вещи. В частности, сказал: «Молодость проходит, и человек со-знает, что можно жить, так и не сыграв Гамлета». Я сказал это ему, а не тебе, Володя, ибо чувствовал — ты меня все равно не поймешь.

По существу, Эйзенштейн обвинил деда в легкой форме идиотизма. Кратко она выражается словами: «Не от мира сего». Диагноз ставится ши-роко. Его заслуживает как метящий в Наполеоны, так и сосед по комму-нальной квартире, привыкший делать утром зарядку.

— Недавно он меня навестил...

— Кто? — встрепенулся дед.

— Калининко... Прощает человек. В Москву его перевели.

— Чем же он занимается? — ревниво поинтересовался бедолага Каран-дышев.

— По хозяйственной части.

Эйзенштейн догрыз яблоко. Рассеянно вертел огрызок.

— В следующий раз принесите мне бумаги, Володя. — Он кивнул на столик. — Впервые за сорок восемь лет у меня появилась возможность осмыслить происходящее. Понять, зачем и как я жил. Разобраться в соб-ственных поступках. Знаете, что я понял? Что ничего не понимаю. Снял десяток фильмов, но по-прежнему глуп, как мальчик из города Риги.

И тут дед почувствовал, насколько сильна его привязанность к масте-ру. И, с ужасом глядя на воспаленное болезнью лицо, подумал, что видит его последний раз. Голос дрогнул:

— Сергей Михайлович...

Эйзенштейн повел себя странно. Он закрыл глаза, проявляя нечелове-ческую усталость.

— Идите, Володя, — сказал тихо. — Идите, пока петух не пропел.

## 2

Дед отдыхал перед открытием нового сезона. С утра до вечера сидел в кинематографе. По-детски восхищался Тарзаном. Пересказывал бабушке его приключения, изображая дикий крик. Та реагировала спокойно. Глав-ное, муж не пил.

Ее семейная жизнь получила второе дыхание. Бабушка засыпала и просыпалась счастливая. Что по человеческим меркам является положени-ем ненормальным.

Жарким августовским днем зазвонил телефон. Подозрительно женский голос потребовал деда.

— А кто его спрашивает? — нелюбезно поинтересовалась бабушка.

И, услышав: «Александра Голицына», — фыркнула:

— А я думала, что-нибудь серьезное.

Дед вырвал трубку. Комплексуя, поздоровался с Шурочкой.

— Твоя жена стерва, — сказала она. — А ты, Володя, мудака!

— Почему? — спросил дед, не согласный с подобной трактовкой своей личности.

Шурочка оставила вопрос без ответа, подразумевая, что для нее выска-занная оценка является аксиомой.

— Голицына! — догадался дед. — Ты пьяна!

— Это не имеет значения, — фыркнула Шурочка. — Значение имеют другие вещи. Например, сегодняшняя газета, где ругают Сергея Михайло-вича.

— Какая именно газета?

Голицына хрипло рассмеялась:

— Бери любую, не ошибешься.



— Ты куда?! — закричала бабушка, видя, как дед метнулся к двери. — Куда, шут гороховый? Любовница живет на другом конце города, брюки надень.

Киоск на углу был закрыт. В карманах пижамы вместо денег валялся фантик от давно съеденной ириски. Слава богу, у трамвайной остановки стояли газетные щиты.

Дед прочитал постановление несколько раз. Причем даже по диагонали. И все равно написанное доходило с трудом.

Эйзенштейна не ругали. Его просто сводили на нет за вторую серию «Ивана Грозного».

Вид человека в пижаме на улицах вечерней Москвы вызывал общественный резонанс. Прохожие оглядывались. А деду в первый раз было плевать на то, как он выглядит.

Дед угадал. Шурочка Голицына была пьяна.

Покачиваясь, бродила она по квартире, а бородатый мужик, в котором даже родная мама с трудом могла узнать черты двадцатилетнего матроса Калиненко, наливал в граненые стаканы еще.

Шурочка, однако, бдительности не теряла:

— Калиненко, тебе домой пора. Метро закроют, будешь на лавочке спать.

— Я здесь буду спать, — заявил бывший матрос и нынешний завмаг. — На раскладушке.

— Нет у меня раскладушки!

— Я куплю!

Калиненко достал горсть мелочи и позвенел.

— Это на буханку, — сказала Шурочка.

— Ну чего ты хочешь? — спросил Калиненко. — Крем-брюле в майонезе?

— У тебя извращенное представление о роскоши. Я в кино хочу. На «Ивана Грозного».

— Я простой завмаг. Я не могу устроить показ запрещенной картины.

Шурочка натягивала туфельки.

— За раскладушкой собралась?

— В гости пойду. Жаль, напилась с тобой, вахлаком.

Шурочка сделала шаг и упала. Как все пьяные люди, обвинила в падении неровности земли.

— Блядская жизнь! Даже туфель нормальных нет.

— Я тебе сделаю туфли, — пообещал завмаг. — Закачаешься.

Шурочка словно впервые увидела матроса. Тот невозмутимо жевал колбасу. Женщина подползла к нему на коленях:

— Ну?

Калиненко начал тяжело дышать и протягивать загибающие руки.

— Я не в этом смысле, — одернула Шурочка. — Ну в смысле совести, Калиненко. Вдруг Эйзенштейн умрет?

— Не умрет, — убежденно сказал матрос. — Был я у него сегодня утром. Тоже планировал гроб по пути встретить. А он ничего, веселый. Чай гоняет. С малиновым вареньем.

Шурочка потерлась щекой о коленку матроса.

— Хороший ты человек, Калиненко. Бесстрашный.

— А чего мне бояться? — желчно усмехнулся завмаг. — Ревизии только. Знаешь, откуда берется недоверие народа к интеллигенции?

— Это философский вопрос, — сморщила лоб Шурочка. — Не моего ума.

— От привычки интеллигенции подменять дело словом. И еще мучиться.

— Выпить осталось? — спросила Шурочка.

Калиненко поднялся:

— Жаль, раскладушки нет.

— Да ладно, — сказала Шурочка. — Оставайся.

Всю ночь деду снился темный коридор ВГИКа. Несколько раз он просыпался и пил холодную воду. Утром принял ванну, тщательно побрился, перерыл вещи.

— Чего ищешь? — спросила бабушка.

— Галстук.

— Последний раз, — напомнила жена, — ты надевал его в день бракосочетания.

Она приняла живейшее участие в поисках. Через пятнадцать минут обнаружила галстук в коробке с хламом. Он сиротливо лежал, придавленный лохматым ежиком для чистки посуды. Радостно схватив галстук, заслуженный артист долго возился с петлей у зеркала, по-цыплячьи вытягивая шею.

— Давай помогу, — сказала бабушка. — Надень еще шляпу-канотье.

Дед задумчиво почесал затылок:

— К галстуку не подходит.

— Зато тебя никто не узнает.

— Не будем усугублять дисгармонию, как говорит Самсон, когда Дроздов предлагает в пьесе стихотворный текст собственного производства. Галстук и так подгулял. Что это за пятно?

— Это не пятно, — ответила жена, затягивая узел. — Это так называемый горошек. Для блезиру.

Из часов вылезла кукушка. Бодро проверещала десять раз.

— Не рано? — спросила жена. — Гении спят до полудня. А потом ходят по комнате декольте.

— В кино загляну.

— Вообще ходить стоит? Ты не можешь ему помочь.

— Я и не собираюсь, — вздохнул дед. — Я просто буду рядом, и все. Потому что самое страшное быть одиноким. Имея при этом учеников.

На фасаде кинотеатра место повелителя джунглей оккупировал человек с трубкой в руках. «Клятва» — возвещали аршинные буквы.

У касс змеилась очередь. Билеты раскупались на два сеанса вперед. Между любителями сновали бойкие подростки-спекулянты. Дед поймал одного за ухо. Вежливо поздоровался.

— Почем берешь?

— На когда?

— На сейчас.

Незастенчивый подросток установил цену вдвое больше государственной.

— Фильм хороший?

— Наш, — шмыгнул носом пацан.

— Значит, хороший, — решил дед.

И обменял одну мятую бумажку на другую.

В фойе хлопнул стакан слезоточивой газировки. Проинспектировал фотографии удачливых коллег. Обратил внимание, что место недавно благополучно висевшего Черкасова занимает Эррол Флинн.

Мимо, демонстративно гремя ключами, прошествовала бабка в халате торгового работника. Люди потянулись за ней гуськом. В открытый зал хлынул поток, жаждущий сказок.

Согласно билету дед устроился в последнем ряду. С удовольствием развернул ириску. Рядом плюхнулся гражданин затрапезно-инженерного вида. Его сопровождал бойкий ребенок. По левую руку села экзальтиро-

ванная дамочка с ярко покрашенными губами. Медленно погас свет. На экране закружились революционные хлопья.

— Папа, что написано? — спросил ребенок.

Отец решил продемонстрировать незаурядные способности сына публике.

— Ты же умеешь читать, — якобы равнодушно сказал он. — Вот и разбирайся!

— Ав-тор сце-на-рия Пав-лен-ко. Ре-жи-ссер Чи-а... Непонятное какое-то слово...

— Угомонитесь, — оборвала демонстрацию экзальтированная дамочка. — Тут общественное учреждение, а не изба-читальня.

— Папа, — сказал мальчик. — Тетя ругается.

— К сожалению, — ответил гражданин, — в нашем здоровом советском обществе попадают нечуткие люди.

— Это я нечуткая?

— Нет, — сказал инженер в пространство темного зала. — Это так... Общие рассуждения... Заметки по поводу...

— В ро-ли Ста-ли-на Ми-ха-ил Ге-ло-ва-ни...

— Я буду жаловаться администратору!

— Дима, почитаем дома. Там тихо и спокойно. Нет скандальных личностей.

— Ну, знаете!

— Здесь мы с товарищем Сталиным белых били, — авторитетно сообщил положительный герой, обводя экскурсанта жестом бескрайнее поле.

— Чего делали? — спросил ребенок. — Пиво пили?

— Белых били, — прошипел отец.

— Правильно делали! Я, когда вырасту, буду Чапаевым!

— Бандитом ты будешь, — не выдержала экзальтированная дамочка.

— Я вас попрошу не критиковать моего ребенка.

— Товарищи, не ругайтесь громко, — попросил увлеченный экраном дед.

И дал мальчику ириску. Даме предложил леденец. Экзальтированная соседка оглядела его как последняя русская императрица крестьянина Тульской губернии.

Ребенок чмокал ириской. А потом к всеобщей радости заснул.

Кино тянулось драматургическим чередом. Сталин катался на тракторе. Машина тархтела по брусчатке Красной площади. Дело происходило зимой. По бокам трактора шли представители национальных меньшинств и хвалили Иосифа Виссарионовича.

Дед понимал, что трактор зимой на главной площади страны выглядит смешно. Однако нельзя отрицать, мило. Человеческий облик генсека вызывает сочувствие и любовь зрителя. А для того чтобы зритель не забыл государственную функцию Иосифа Виссарионовича, ему напоминали о ней каждые двадцать четыре кадра сталевары, французский премьер-министр, мать троих детей, крестьяне, жизнерадостные строители Беломорского канала и члены правительства.

Дамочка впиалась ногтями в подлокотник. Инженер притворялся спокойным. Дед спокойным был. Недолго.

Умер, так и не показавшись зрителям, Ленин. Сталин сидел на лавке в лесу и плакал. Это было естественно. Просто. Дед почувствовал комок в горле. А чтобы эта сцена показалась насквозь фальшивой и вызвала саркастический смех, надо было прожить еще пятьдесят лет.

Дед плакал не один. Кусала покрашенные губы экзальтированная дамочка. Всклипывал инженер. Мальчик проснулся, спросил:

— Папа, тебя тетя обидела?

— Ленин умер, — сказал папа, опуская временные подробности.

И мальчик заревел во всю мощь легких.

Сталин давал клятву притихшему народу. Мудро не обещал легкой жизни. Вскользь упоминал каких-то врагов.

Враги были умные и глупые. Глупые находились за кордоном, где вели разгульный образ жизни, попутно клевета на Советский Союз. Умные жили в пределах государства и болтовней не ограничивались.

Сидя в полутемном зале, наблюдая концентрированный путь страны от 1917-го до Великой Победы 1945-го, дед гордился своим народом. И, конечно, его вождем. Он вдруг понял, что Сталин всегда мудр. Ибо, в отличие от масс, к которым принадлежат дед и гениальный мастер, руководствуется не чувствами, а велением времени. Которое диктует необходимость убивать врагов и пожинать лавры победы. Которое жестоко и не прощает ошибок. Эйзенштейн пропустил его позывные мимо.

На вгиковской скамье дед слышал мимоходом понятие «диалектика истории». Какие благородные вещи заключают эти слова, он забыл, как только поднялся. И теперь формулировал самостоятельно.

Можно быть хорошим человеком, иметь высокие цели и все-таки вредить по недомыслию. Лежать мертвым грузом на пути к счастью. Загораживать свет. Дед рассматривал трагедию мастера с иной точки зрения. Эйзенштейн оставался в его глазах гением. Но был не прав.

Титр «Конец» поставил точку хеппи-энда. Дед сентиментально поглядел на лица. У экзальтированной дамочки поплыла тушь. Инженер изучал под, словно боялся упасть в открытый люк. Рассеянно тащил он за руку любимое дитё.

Улица была тихой. Только у бочки с квасом наблюдалось оживление.

### 3

Если накануне премьеры у Чиковани болела голова, значит, все было в порядке. На этот раз голова была ясной как никогда.

На генеральную репетицию приехал автор — Павленко. Суховато подтянутый очкарик средних лет посмотрел спектакль десять минут и вынес вердикт:

— Все очень хорошо.

Дед вышел на авансцену. Разыграл очередной эпилептический припадок.

— Очень жизненно, — сказал Павленко. — Молодец.

Шурочка, в образе Евы Браун, получила из уст Павленко звание народной, а некий Громов, играющий маршала Жукова, — гения.

Павленко нравился спектакль. Он отметил даже массовку. А в некоторых местах прослезился. Темпераментный Чиковани смотрел на преуспевающего драматурга с недоумением.

В финале Павленко вскарабкался на сцену и обнял всех кого ни попадя. А потом толкнул речь с теплыми словами благодарности, где обмолвился, назвав Чиковани Константином Сергеевичем.

Павленко уважал людей. Вернее, боялся их. Еще вернее, ненавидел. И постоянно ждал подвоха. Поэтому защищался улыбкой и комплиментами.

Премьера прошла блестяще. Пресса отметила спектакль. Особенно Шурочку Голицыну в роли Евы Браун. Присутствовавшая на премьере бабушка тоже отозвалась о ее игре:

— Соня Шапиро играла лучше.

— Какая Соня Шапиро? — спросил дед.

— Моя знакомая по рабфаку. У нас был драмкружок. Играли спектакль про несчастную любовь: он любит ее, она любит его, родители любят их. В общем, трагедия полная. Его играл председатель профкома. Ее... забыла фамилию...

— Соня Шапиро, — подсказал дед.

— Да нет, Соня Шапиро выходила буквально на минуту. Подметала пол.

Дед уловил критику. Счел нужным промолчать.

Спектакль имел успех. Целый год актеры воплощали страсти Павленко. Тот приехал в театр на юбилейное, сотое представление. Актерская бдительность давно притупилась. Игра шла по накатанным рельсам. Все заученно двигались и вяло проговаривали текст. Мандража как не бывало.

В пьесе действовал Сталин. Общих выходов с генсеком дед не имел. Учув приближение Гитлера, Иосиф Виссарионович, согласно воле драматурга, а также исторической правде, убежал.

Сталина играл Капелюшин — актер с внешностью убийцы маленьких детей. В загримированном виде он производил благоприятное впечатление. Но в третьем акте четвертой картины (заседание немецкого верховного командования) был явно лишним.

Тем не менее дед, читая монолог, застыл, увидев Капелюшина, набивающего трубку. Привольно расположившись на переднем плане, Сталин акцентировал внимание зрителей. Лица главарей вермахта напоминали нищего, проснувшегося в королевской спальне. Нищий также не знал, каким образом его каморка претерпела метаморфозу и, главное, что с этим великолепием делать.

Дальнейшие события развивались в стремительном темпе невероятности. Дед решил, что домой не вернется. Его увезут в Кашенко.

Капелюшин встал и, попыхивая трубкой, сказал:

— А все-таки, господин Гитлер, вы будете в глубокой жопе.

Приглядевшись, дед понял, что перед ним не Капелюшин.

— Не буду, — инерционно выдал он.

— Будете, — уверенно доказывал маньяк. — Обязательно будете. Честное сталинское.

Воздух наполнился амбре. Сталин покачнулся и рыгнул.

Дед рассмеялся. Смех его был столь же естественен, как вальс приговоренного к высшей мере.

— Вы плохо себя чувствуете, герр Браун, — сказал он. — Идите проспитесь. А вашу пародию на советского правителя посмотрим завтра. Хайль Гитлер!

Коллеги деда облегченно вскинули руки, горя желанием покинуть сцену.

— Подождите, — фамильярно остановил незнакомец. — Я прочту вам лекцию о темпах развития военной промышленности СССР.

Дед метнул огненный взгляд за кулисы. Увидел Чиковани. Кавказец может побледнеть в двух случаях: а) если он мертвый; б) если он нечистокровный. Так как Чиковани был чистокровным кавказцем и проявлял признаки жизни, следует предположить еще один метафизически необъяснимый случай выраженной бледности.

Сталин порол чушь. Выбалтывал государственные тайны. Приводил взятые с потолка цифры. Панибратски назвал мессию фашистов Адольфяном.

Занавес опускался.

— Объявляю собрание закрытым, — успел сообщить дед. — Хайль Гитлер!

За кулисами на самозванца бросились драматург, Чиковани и еще один тип кавказской национальности — режиссер Чиаурели.

— Что ты наделал? — вопрошал Чиаурели. — Теперь все, Миша, все!

— Я устал, — пожаловался Миша, опускаясь на пол.

Чиаурели взял Павленко за лацканы пиджака:

— Лауреат, придумай что-нибудь.

— Что я могу придумать? — взорвался Павленко. — Все действие в тупик завели! Актер, играющий Гитлера, плел текстовые несообразности!

— Не трогайте моих актеров, — влез Чиковани. — Следите лучше за своими. Где Капелюшин?

Драматург схватился руками за большую голову.

— Давайте! Давайте сюда Капелюшина! Устраивайте балаган! Я отказываюсь участвовать в этой антисоветчине!

— Компания у меня, — плюнул Чиаурели, — лучше не бывает. Один мудака, другой истерик.

— Заберите это, — кивнул Чиковани в сторону возмутителя спокойствия. — Идите смотреть спектакль.

Павленко поднял указательный палец:

— Помните! Помните, на вас смотрит прогрессивное человечество и, если вы не оправдаете его надежд...

— Не надо так высокопарно, — прервал режиссер. — Миша Геловани — любимый актер Сталина. Он его играет всегда и всюду. Сегодня выпил и нечаянно забрел на сцену. Дальнейшее известно. Миша за свои поступки ответит. Вы тоже.

Нормальный вопрос: «А при чем здесь?..» — не пришел в голову деду и Чиковани. При чем был даже суфлер, не говоря о бухгалтере.

После картины, где двадцать восемь панфиловцев ведут перед решающей схваткой патриотические диалоги, зритель увидел в неплановом порядке кабинет Гитлера. Драматург закрыл глаза. Потому что в кабинет зашел Сталин.

— Кто такой? — ревниво сощурился хмельной Миша.

Сталина играл Капелюшин.

— Герр Браун, — спросил дед, вынимая револьвер, — знаете, что это такое?

— Догадываюсь...

— Вы плохо играли, Браун. Тем более роль советского вождя... Короче, я недоволен.

— Вас оскорбили мои слова? — спросил Капелюшин. — Насчет глубокой...

Гитлер взвел курок.

— Заткнитесь!

— Но ведь правду не убьешь, — тихо сказал Браун. — Я вам предан, фюрер, но истина дороже. Так учил Гегель.

Тихий в жизни дед был мастером истерического вопля на сцене.

— Замолчите!

Пистолет дрожал в его деградирующих руках.

Капелюшин молча завладел оружием.

— Кто поверит, что какой-то Браун застрелил Гитлера в конце 1941 года? — стонал драматург.

Капелюшин скрылся в темноте кабинета.

«Хайль Гитлер!» — донеслось оттуда. Потом раздался выстрел.

Чиаурели захлопал в ладоши.

— Неплохо, — согласился драматург, почесывая подбородок. — Можно оставить эту сцену в пьесе.

За кулисами дед присел на коровье седло из спектакля про бедную жизнь американских фермеров. Мимо процокала каблучками Шуручка.

Шуручка была кротка и печальна. Ее личная жизнь выпала из поля зрения деду с тех пор, как за ней ухаживал красивый полковник. Бедняга сидел почти на всех спектаклях, утирая волнующий пот кончиком галстука. Нервы Шуручки сдали, когда вместо просмотра спектакля ухажер долго гулял в буфете, где выпил пива на рупь тридцать копеек и побил зеркал на десяток червонцев, громко рассуждая при этом об искусстве вообще и актерам театра в частности. Последнее время Шуручка появлялась в обществе Калининко.

— Чего грустная? — спросил дед. — Много будешь думать, скоро состаришься.

— А я уже, — сказала Шуручка. — Тридцатник разменяла.

— Глаза на мокром месте. Вытри.

Кончиком платка Шурочка обмахнула ресницы.

— Если вечером не занят, пойдем ко мне, — предложила она. — Калининко придет. С водкой и цветами.

— Пойдем, — согласился дед. — Пропустим рюмашку.

Явление Чиаурели оборвало ухаживание. Он заключил деда в объятия.

— Умница! Настоящий абрек!

— Абрек, — перевела Шурочка, — кавказский конокрад.

— Спасибочки, — ответил дед. — За комплимент.

Чиаурели всучил ему папку.

— Я всех Гитлеров осматриваю, — сказал он. — В двухсерийный фильм «Падение Берлина». Ты мне понравился. Прочти сценарий.

Чиаурели привык, что любому его предложению адекватно бурное согласие. Даже если это предложение сыграть солдата в десятом ряду без гарантии сохранения эпизода при монтаже. Амбициозные актрисы при виде самого мелкого режиссера впадают в транс, который глупый режиссер относит на счет своих внешних данных, а мудрый знает цену восторгам и ресторанным обедам. Чиаурели цену знал. И все равно реакция деда потрясла его воображение. Дед скорчил гримасу алкоголика, выпившего по досадной оплошности керосина.

— Гитлер-гитлер... Надоело. Другой роли нет?

— Гитлер — одна из главных.

Дед взял сценарий.

— Ладно, — снисходительно решил он, — почитаем.

#### 4

Поэт Бальмонт утверждал, что любить можно только раз. Шурочка Голицына не доверяла поэту Бальмонту.

Мирно посапывала она в плечо Калининко, мешая тому заснуть. Глаза матроса привыкли к темноте чужой квартиры. Он даже радовался бодрствованию. Ведь сон рядом с женщиной беспокоен.

Калиненко размышлял о высоких материях. Например, откуда берется любовь? Где таилась хитрая бестия пятнадцать лет назад, когда Паратов, совершенствуя русский язык, скользил мимо Ларисы Огудаловой?

В море Калининко научился рубить канаты. И всю жизнь ему приходилось заниматься эти делом.

Похоронив мечту о Гамлете, Калининко ринулся в грубо материальные сферы. Закончил торговый техникум. Работал младшим продавцом, обыкновенным продавцом, старшим продавцом. Приобрел богатый жизненный опыт. На его глазах сменилось пять директоров.

Все магазины Гомеля боялись ревизора Якова Бурлакова. Этот вездливый старорежимный человек воспринимал директоров как потенциальных бандитов. Он не приходил в магазин, а делал набег.

Сперва Бурлаков посылал на вражескую территорию соглядатая. Тот затевал конфликт с администрацией. В декларативной форме заявлял, что собственноручно разбитые куриные яйца оплачивать не желает. В момент яркого текущего скандала вплывал ревизор.

— Что здесь происходит? — спрашивал он.

— Яйца битые продают, — с деланной горечью сообщала подсадка.

— Ай, — качал головой Бурлаков, — уже непорядок.

И что-то писал в блокнот корявыми буквами.

Потом спрашивал директора. Шел в кабинет с лицом загадочным и печальным.

— Это безобразие! — кричал с порога. — Форменное безобразие! Сейчас зима (варианты: лето, весна, осень), а у вас окна не заклеены (вариант: паровое отпление работает). Бардак!

Директор обещал исправиться.

— Ладно, — успокаивался ревизор. — Давайте накладные.

Близоруко пролистав бумаги, он возвращал их:

— Порядок.

И снова повышал голос:

— Но паровое отопление (вариант: окна)!

Бурлаков уходил, а директор весь день занимался ерундой.

На следующее утро Бурлаков являлся к открытию. Счастливым директором ласкал руками радиаторы парового отопления.

— Вы чего, батенька? — изумлялся Бурлаков. — Покажите-ка накладные.

Директор падал в обморок. Будили его, как правило, милиционеры.

Теоретически Яков допускал возможность прокола в виде непорочного директора. Но двадцать лет практики убедили его, что подобных особей не существует.

Калиненко был шестым директором магазина номер двадцать восемь. Магазин считался центральным, и Бурлаков очень любил туда приходить.

Матрос давно порвал с идеализмом. Он даже не пробовал примерить маску непорочного директора. Он понимал, что разницу между честным и воруящим составляет такая эфирная вещь, как совесть. Иными словами, честный директор, получая срок, убежден в несправедливости приговора.

Каждый человек наделен ахиллесовой пятой. «Ахиллесова пята» Бурлакова имела восемнадцать лет и романтический характер. Училась в Киеве на животновода.

Первый месяц начальства Калиненко ознаменовался диким поступком. Директор оставил заместителем практиканта Могилева, а сам уехал. Долго ломали голову — куда. Практикант молчал, встречая абсурдные предположения хмыканьем посвященного человека.

Калиненко появился через две недели устало сияющий.

— Я женюсь, — сказал он.

— На какой дуре? — спросила мать.

— Красивой.

Калиненко распахнул чемодан и вывалил батон черного хлеба, банку кабачковой икры, несколько картофелин и бутылку ситро.

— Скоро невеста придет. Свари, мама, картошки и ступай к соседям. Проведи вечер культурно.

Ошарашенная мама смотрины представляла несколько иначе.

— Это москвичи тебя научили? — спросила она. — Невесту дрянью кормить да от матери прятать? Надо курицу зажарить, пирогов напечь, борща сварить. Водочки опять же.

Из стола матрос выволок лист бумаги. Не глядя опрокинул чернила. Прилепил изображение кляксы на обои.

Мама устала возражать. Сынок продолжал хулиганить. Залез под кровать. Чертыхаясь, достал стопу книг. Живописно раскидал их по комнате. После чего вытер натруженный пот.

— Устал, поди, — посочувствовала мать.

Калиненко присел рядом. Пристроил дурную башку на родных коленях.

Калиненко разбирался в людях. Для того чтобы стать психологом, ему не хватало малости. А именно желанья.

Он завоевал Люсьен Бурлакову без интенсивного труда. Без гитар, пожатия руки в темном кинотеатре, коротких встреч и долгих проводов.

Калиненко понимал, что Люсьен росла в достатке и пломбир не удивит ее даже с вафельными нашлепками. Вообще богатые девушки с нервным характером презирают материальные блага. Ибо не знают, как жить, думая о макаронах. Кроме того, Люсьен была избалована вниманием сту-



дентов-животноводов. Людей, которые прогресс цивилизации меряют трактором.

Учитывая подобные факторы, Калининко, вспомнив уроки актерского ремесла, предстал перед дочерью Бурлакова.

Через десять дней животноводческий факультет Киевского института потерял студента.

Калининко гостеприимно распахнул дверь.

— Входите, Люся, — церемонно предложил он. — Будем есть картошку и мечтать.

На пороге девушка застыла, пораженная в чувствительное сердце.

— Это что? — спросила она, указывая в сторону кляксы на промокашке.

— Это мой автопортрет, — сказал Калининко. — Абстрактно выраженная сущность. Вещь, недооцененная реалистами, но вы — душа тонкая, поймете.

Матрос постоял у картины в позе Рафаэля. Произвел неизгладимое впечатление.

— Да, — говорил он, — это моя черная душа, а вокруг чистый мир. Понимаете, Люсьен?

Девушка понимала даже то, чего нельзя объяснить. А если не понимала, то придумывала.

— Я написал это, когда был одинок, как Сережа Есенин. Клен ты мой опавший... Но теперь у меня есть вы, Люсьен, берите картошку. Я бы с удовольствием предложил вам рябчиков, но...

— Нет-нет...

Бурлакова поспешно схватила картофелину и начала грызть холодную мякоть, хваля ее вкусовые качества.

— Сколько у вас книг, — заметила она.

— Много, — согласился донжуан ученого пошиба. — Снедает жажда знаний. Например...

Калининко энергично выдернул первый попавшийся том.

— «Соблазненная добродетель...» — не то... Вот... Шолохов Михаил... Мой друг, между прочим. А вот Достоевский Федор. На днях читал. Читал-читал — и заплакал.

— Почему? — дрогнул голосок Люсьен.

— Кому есть дело до поэта, — прогнусавил завмаг, — его душа огнем согрета, и даже музыка кларнета не выразит печаль поэта. Его тоска невыразима, а муки слова исполина и одиночество его — могилы хладной торжество.

— Не говорите так! — закричала Люсьен. — Вы много для меня значит! Я бросила учебу!

По законам Станиславского наступила пауза. Калининко отвернулся к стене и с демонстративной украдкой прочистил глаза толстым пальцем.

— Спасибо, — прохрипел он, — спасибо...

Девушка вскочила. Порывисто обняла матроса. Какое-то время они стояли прижавшись друг к другу. Калининко почувствовал стыд.

— Ну зачем ты? — тихо спросил он. — Я обыкновенная сволочь.

Люсьен прикрыла ему рот ладошкой.

Ревизор Яков Бурлаков пришел в магазин номер двадцать восемь, навистывая «Марш физкультурников». Но его ждала серия профессиональных ударов.

Во-первых, Калининко растворил окна, впуская свежий весенний ветер. Во-вторых, ловко обезоружил агента, послав на разборку Могилева. Практикант имел нордический характер. Спровоцировать его крик можно было только физическими пытками. Любое психологическое давление Могилев выдерживал с меланхоличной усмешкой бывалого человека.

Ревизор привык, что его приход сопровождается воплями. Покой магазина Калиненко вывел его из творческого равновесия.

— Что здесь происходит? — вяло спросил ревизор.

— Ничего интересного, — ответил Могилев. — Товарищ скандалит.

— Я в своем праве!

— А вот голос повышать рекомендуется только в момент конкретной опасности.

Подстава угрюмо сопела.

— Действительно, — проворчал Яков, убирая лишний блокнот. — Действительно стыдно, гражданин.

В качестве последнего козыря Бурлаков предъявил документы, ожидая от Могилева реакцию грешника на прибытие архангела.

— А-а-а... — знакомо протянул Могилев. — Вам товарища Калиненко. Он у себя.

И повернулся к ревизору спиной.

У Калиненко потрошителя накладных ждал последний, самый мощный удар. Увидев Бурлакова, завмаг вскочил и полез целоваться.

— Я вас так ждал! — говорил он, слюнявя щетину Якова. — Так ждал, папа!

— Вы не ошиблись? — спросил Бурлаков, отбегая на безопасное расстояние.

— Нет! Нет! Ведь это вы? Яков Бурлаков?

— Да...

— И Люсьен ваша дочь? Именно ваша!

Бурлаков напрягся, вспомнив о неожиданном решении дочери бросить учебу.

— Покажите-ка накладные, — велел он.

Его тон гарантировал конфискацию имущества.

— Какой ерундой вы интересуетесь, папа! Лучше обсудим детали.

Тут Бурлаков заметил раму окна, испохабленную полоской жеваной бумаги.

— Безобразие!

— На улице весна... — продолжил Калиненко. — Знаю я все это, папа. Обещаю исправиться.

— Прекратите называть меня папой! — одернул пиджак Бурлаков. — Развели бардак!

Калиненко виновато потупился:

— Извините, так получилось...

Бурлаков успокоился. За покаянием обычно следовало предложение мелких услуг.

— Ну-с, батенька, — начал он. — Сколь много нанесли ущерба?

— Сознаю ошибки. Готов исправить.

— Отрадно видеть подобное стремление. Годок на лесоповале — и все будет хорошо, — иронизировал тесть. — Чистый воздух опять же...

— Бросьте, папа, ерунду молоть, — обиделся Калиненко. — Я вашу дочку люблю и желаю ей коммунистического счастья.

— Очень приятно. А вы мою дочь хорошо знаете?

— В некотором смысле, — заверил Калиненко, — лучше вас.

Бурлаков любил романы. С замираньем сердца читал он про красивых героев, попадающих в ловушки злодеев. Добродушный Калиненко на злодея походил слабо. Но бедный ревизор чувствовал себя как герой.

— Чего вы хотите? — пролепетал он.

— Спросите дочку, — посоветовал директор. — У нее далеко идущие планы на мой счет.

Трясущимися руками папа достал валидол.

— У вас вид как из гроба, — посочувствовал жених. — Успокойтесь. Я материально обеспечен и морально устойчив.

— Да? — хмыкнул Яков. — Покажите-ка накладные.

— Пардон. Маленькое замечание. Я материально обеспечен и морально устойчив при гарантии вашей помощи.

Яков рванул пиджак. Пуговицы посыпались будто желуди.

— Подлец!

— Я не подлец, — сказал Калининко. — Я правда люблю вашу дочь.

Беспечный матрос не лгал. Наивность Люсьен произвела отрадное впечатление на его душу.

Свадьбу сыграли тихо. Ревизор не хотел привлекать внимания к мезальянсу. По мнению тестя, иначе назвать брак директора магазина с дочерью представителя контроля было нельзя.

Жили молодые у матери Калининко. Вернее, ютились трое в одной комнате, не желая стеснять Якова.

Калининко расцвел. Он хорошо работал и доходы получал соответственные. У него хватало трезвости нарушать закон в меру возможной слепоты тестя.

Люсьен занималась домашним хозяйством. Варила, стирала, ухаживала за тещей. День пролетал незаметно. И был пуст.

Расписываясь, она знала истинную подноготную Калининко, весьма далекую от поэтических совершенств. Быстро смирилась. Грубо-реальные поцелуи матроса убеждали сильнее рифмованных четверостиший.

Через полгода ее нагнала тоска. Люсьен декламировала Есенина и задумчиво глядела во двор, где жили орущие дети и пьяные взрослые.

Калининко избегал культурных мероприятий. Если он заглядывал в книгу, можно было гарантировать, что это журнал бухгалтерского учета. Когда жена читала стихи, матрос нагло подвывал, имитируя голос любимой. Порвав с миром возвышенных идей, Калининко не подпускал его близко.

По воскресеньям ходили в парк. Калининко, вспоминая морские подвиги, брал напрокат лодку, пыхтя, катал Люсьен по грязному пруду. Жена глядела на скучные окрестности и зевала. Ее голубой мечтой были спектакли в драматическом театре имени Орджоникидзе. Этого места храбрый Калининко панически боялся. Но в день именин законной половины решился на глупый поступок джентльмена.

Давали «Коварство и любовь» немецкого драматурга Фридриха Шиллера. По фойе разгуливали две массы. Масса элитная разглядывала фотографии театральных деятелей. Масса рабочая наслаждалась пивом в буфете. Калининко устремился к звону кружек и терпкой речи. Люсьен схватила его под локоть и потащила к фотографиям.

— Обрати внимание, — сказала она, — какая прекрасная светотень.

Сия похвала могла составить честь фотографу, но никак не Шурочке Голицыной, которая лежала на сцене.

Калининко замер. «Актриса Драматического театра А. Голицына в спектакле „Дама с камелиями“», — вещала надпись.

Лицо Шурочки было светло и восторженно. Калининко верил, что это восторг смерти.

— Гениальная актриса, — проболтался он. — Я ее знаю.

— Откуда?

Калининко спохватился:

— У них гастроли были зимой. И эта у нас два килограмма говяжьей печени брала. Для голоса необходимо.

Протренькал звонок.

Жена потянула Калининко за рукав.

— Подожди! Дай посмотреть!

— Антракт еще будет, — сказала Люсьен. — А вообще я рада, что тебе интересно.

Во время спектакля Калининко выходил четыре раза.

— Вроде пива не пил, — укоризненно шептала Бурлакова. — Можно потерпеть.

Он молчал. На сцене безумствовали мещане восемнадцатого века.

В антракте Калининко освободил руку от цепкого локтя. Игнорируя красноречивые взгляды жены, осушил литр.

И второе действие сидел тихо.

Чувства Калининко можно сравнить с ощущениями человека, который просыпается в чужой квартире, рядом с незнакомой женщиной, а выбравшись на улицу, понимает, что и город неродной, кругом тарабарская речь.

Он работал аккуратно, но без прежнего рвения. Заглядывал в павильон, торгующий спиртным. У директора центрального магазина появились знакомые, достойные водопроводчика.

Яков Бурлаков с тревогой наблюдал аморальные похождения сообщника. Любовь к дочери заставляла его относиться к директору с предельным вниманием.

Воскресным утром он пошел в гости, звякая боковым карманом. Калининко еще спал, когда Бурлаков водрузил бутылку на стол и наполнил две рюмки. Мама зятя, подслеповато щурясь, тыкала вилкой в соленые огурцы. Отец вел задушевную беседу с дочерью.

Калининко вышел на кухню дезабилье, мучась тяжелым похмельем. Пьяный Бурлаков отечески облобызал его, повертев перед носом указательным пальцем:

— Не смей пить! Слышишь?

— Чья бы корова мычала, — резонно парировал зять.

— Давай по рюмашке, — сказал непоследовательный Бурлаков.

— Ты мне спаиваешь мужа! — возмутилась дочь.

— Моя помощь, — сказал Бурлаков, — ему никогда не мешала.

Калининко испуганно приложил палец к губам.

С улицы в семейную идиллию долетели крики.

Тесть, рискуя свалиться, высунулся в окошко.

Посреди солнечного утра торчал дворник.

— Эй, — позвал его благостный ревизор, щелкая по горлу, — иди к нам.

Дворник что-то крикнул. Бурлаков захохотал:

— До чертиков упился!

— Никогда не подозревал у вас способности к самокритике, — удивился Калининко.

— Да не я. Дворник говорит: «Война началась».

— Наверное, портвейн в магазине кончился, — предположила мама. — Вот и волнуется человек.

Калининко разлил остатки.

— Дай бог, — сказал тесть, внушительно поглядывая в его сторону, — чтоб последняя.

Яков предлагал бронь. Матрос отказался. Обрубил еще один канат и ступил на палубу корабля. Провожая мужа, Люсьен Бурлакова разрыдалась. Сборы любимого напоминали бегство. Когда не знаешь — зачем туда, но понимаешь, что нельзя здесь.

Перед отъездом Калининко пришел в Драматический театр имени Орджоникидзе. Целый час уламывал завматчастью продать фотографию со стенки. Тот клялся, что не имеет права, но деньги убедили его в обратном.

Матрос писал часто и душевно. Пробовал неуклюжими стихами. Люсьен читала его письма маме. В 1943-м старая женщина умерла, и Люсьен научилась читать про себя.

В Белоруссии хозяйничали фашисты. Эвакуироваться Бурлаковы не успели. Яков скрывался в лесах. Люсьен — у дальней родственницы. Жить приходилось в подполе. На улицу она выходила темными ночами. Глотала свежий ветер и лезла обратно. Молодым и красивым женщинам есть чего опасаться во время мужского террора.

Калиненко мобилизовался в 1946-м. Магазин номер двадцать восемь был разрушен.

— Твой опыт, — сказал Бурлаков, — понадобится столице.

И не ошибся. Через неделю фронтовика пригласили в главк. Он достойно выслушал похвалы.

Люсьен щебетала от счастья. Большой город манил культурными соблазнами. Муж охладил ее радость.

— Сперва я один поеду, — сказал он. — Устроиться надо. Оглядеться.

В ночь перед отъездом Люсьен вырвалась из страстных объятий мужа.

— Я знаю, — сказала она. — Ты хочешь меня бросить.

— Слова, слова, слова... — пропел бывший актер.

— Издеваешься? — всхлипнула женщина.

— Цитирую, — сказал матрос. И обнял ее крепче.

Возможно, Калиненко верил в семейное счастье. Но вера должна подкрепляться делами. А дела его обстояли лучше некуда.

## 5

Кроме массы достоинств любовь к женщине имеет весьма серьезный недостаток. Она требует определенных решений.

— Когда мы поженимся? — задавалась вопросом Голицына.

Калиненко чесал затылок и говорил:

— Скоро.

Какое-то время туманные сроки удовлетворяли Шурочку. Потом вопрос приобрел масштаб допроса:

— Когда скоро?

— Да когда захочешь.

— Завтра.

— Завтра мы в кино идем. Я билеты уже взял.

— А мы перед сеансом в загс ходим.

— Подобное легкомыслие, — весомо ронял матрос, — не в моих привычках.

Шурочка прибегала к типичным женским выкрутасам. Начиная всхлипывать. Калиненко переламывал депрессивное настроение мужской хитростью. Он касался губами Шурочкиных ушек и многообещающе шептал:

— Потерпи до следующей недели. Я подарок на свадьбу готовлю.

Подготовка заняла год. Шурочка всерьез рассчитывала на брильянт из личной коллекции Эйзенхауэра.

Из Гомеля матрос получал письма. Люсьен сидела на чемоданах, готовая сорваться в любую минуту. Яков Бурлаков ушел на пенсию и мечтал профецилировать шаркающей походкой по бульварам столицы.

Завмаг остро чувствовал необходимость решения. Он писал Люсьен, что нашел другую и счастлив. По пути к почтовому ящику рвал конверт и лаконично отбивал телеграмму, все варианты которой сводились к одному: «Скоро».

Рассматривал он и другие возможности.

— Шура, — интересовался, глядя в потолок, — а вот если бы ты узнала, что я женат, как бы себя вела?

— Плохо, — ответила Шурочка.

— А конкретнее?

— Ну не знаю... Удивилась бы... С женой твоей подралась...

Представив визжащую Люсьен, Калининко долго кашлял.

Последствия любви непредсказуемы. Я знал оптимиста, который, воспылав страстью, брякнулся с третьего этажа, нацарапав стихотворение с типичной атрибутикой депрессанта. И одного пессимиста, рассуждавшего о радости жизни в период гармоничных половых отношений. Скромную девушку, которая, разочаровавшись в первом ухажере, двинулась прямоком на панель, где выяснилось, в чем заключается ее настоящее призвание. И проститутку, что вышла за студента с приличной стипендией и ни разу, насколько мне известно, не пожалела об этом.

Решительного Калининко любовь привела в состояние робкого мальчика. Дело в том, что рубка канатов базируется на потерях. Одно дело, когда ты жаждешь избавиться от груза, и совсем другое, когда пытаешься что-то сохранить. Атеист Калининко предоставил развитие событий на Божью волю. Попросту говоря — на авось.

С дедом у Калининко сложились теплые, доверительные отношения. Бабушке-эта дружба была подозрительна. Рядом с матросом маячил призрак Голицыной в обнимку с призраком алкоголизма. Водка и Шурочка являлись в представлении чопорной женщины символом двойного разврата.

Чаще всего друзья встречались в квартире Голицыной. Деда удивляли отношения матроса и Шурочки. Любовь омрачалась недоговоренностью.

— Когда свадьба? — спросил дед как-то ради шутки.

— Большой вопрос, — нахмурился Калининко.

— Который меня очень интересует, — прибавила Шурочка. — Действительно, когда?

В отличие от Голицыной дед обладал мужским складом ума. И знал парочку секретов сильного пола. В частности, если нет желания вступать в брак, всегда найдется причина не делать этого. Солидарность не позволила раскрыть ему это правило Шурочке, но с Калининко дед поговорил.

Они сидели в пивной. Матрос нещадно дул пиво, кидая в рот соленые сухарики. Дед ограничился одной кружкой, ему предстояла репетиция. Основной контингент шумного заведения еще не успел собраться. За стойкой скучала грудастая бабища. Матрос, облизывая пенные губы, изучал ее роскошный бюст.

— Надо познакомиться, — решил он. — Сгодится даром пиво отпустить.

— Большой ты человек, Калининко, — сказал дед. — Сексуально несдержанный.

— Я сдержанный. Свободный просто.

— Женись, — посоветовал дед. — Голицына заболела, на тебя гляючи. Хорошая баба.

— Актриса, — поморщился Калининко. — Разве это баба? Баба — вон.

Матрос подмигнул буфетчице.

— Я бы на твоём месте все-таки о Шурке подумал.

— Я бы, — ответил одурманенный пивными парами завмаг, — на своём месте обязательно. Что делать, если две жены надо?

— К туркам ехать, — сказал дед. — Или документы менять. Лучше к туркам. У них четыре штуки иметь дозволяется.

Давно замечено, что легкие алкогольные напитки способствуют сентиментальным настроениям, тогда как высокоградусные — репликам невнятного содержания.

— Я Шурку люблю, — сказал матрос. — Да ведь она человек серьёзный, а мне ерунды подавай, не штамп в паспорте.

— Будем мыслить логически, — призвал дед. — Чтобы иметь две жены, надо сперва один раз жениться, а потом второй.

— Один раз я уже, — сказал матрос. — А второй законом не предусматривается.

Дед пересчитал кружки. Калининко выпил шесть.

— Шурке не говори. Разведусь втихаря, и тогда свадьбу сыграем.

Дед встал.

— Пора, вы начали бредить.

Калининко бросил на залитый пивом стол паспорт.

Дед взял его двумя пальцами. Нехотя пролистал. Штамп о браке с Люсьен Бурлаковой наличествовал.

— Помнишь, в институте монолог учили? — спросил Калининко. — «Быть или не быть?» Вопрос вопросов. В моем положении он звучит: «Жениться или не жениться?»

— Если верить паспорту, он звучит: «Разводиться или не разводиться?»

— Хоть в Турцию ехай, — пожаловался матрос.

— Разведись или не разведись.

Работа мысли испортила жизнерадостное чело Калининко морщинами.

— Шурка гордая. Узнает про Люсьен, меня бросит. И развод не поможет.

— Раньше надо было сказать. Так, мол, и так, есть жена — человек хороший и надоедливый.

— Ага, — кивнул матрос. — Ты, Савельев, с бабами дело только на сцене имел. Эти вещи нормальные люди скрывают. Какой интерес жена-того целовать?

Возникла неловкая тишина.

Матрос накрыл руку деда ладонью.

— Ты чего про документы плел?

— Уголовка, — ответил дед. — Будут тебе две жены передачи носить.

— Говорят, новичкам везет.

Дед представил Шурочку, выпивающую в сцене отравления Евы Браун цианистый калий натурального производства. И положил паспорт Калининко в карман.

— Если что, — сказал Калининко, — я один сяду.

Грубый сосед по коммуналке внушал жильцам страх. Хотя мало разговаривал, питался всухомятку, мылся в бане и не оккупировал сортир. Был, что называется, коммуникабельным. Грубым его называли за катастрофическое неумение выражать свои мысли эстетически. Он относился к детской породе людей, которая при виде дурака не сдерживает наивного восклицания.

Сосед исповедовал принцип библейской птахи. То есть не спешил утром на завод или в контору. Работал натурщиком в Академии художеств. Занят был три дня в неделю по два часа. Доходы получал соответственные. По идее, с такими доходами нужно есть нерегулярно и подвизывать спадающие брюки тесемкой. Грубый же сосед имел наглость интересоваться мебелью.

К нему забредали гости с тюками. Уходили радостно опустошенные. Контингент носильщиков был широк. Их объединяло только то, что добропорядочные граждане относились к ним с опаской.

О таинственном соседе говорили шепотом, когда его не было рядом. Даже самые терпимые под напором фактов соглашались, что по нем плачет тюрьма.

К деду сосед относился равнодушно. Как-то подобрал его на улице пьяным и принес домой. Благодарный дед вручил спасителю контрамарку. В его глазах контрамарка была твердой валютой, грубиян же оценил ее в минус. Посещение театра игнорировал. Увлечение деда запомнил. Предложил купить автограф Немировича-Данченко.

Дед смутно представлял род его занятий, но обратился за помощью.

Трезвый дед всегда внушал доверие уголовному элементу и стражам порядка. Я думаю, его щуплое сложение и подростковая застенчивость

рождали в самоуверенных людях чувство покровительства. Сам дед объяснял успехи актерским обаянием.

Грубый сосед изучил паспорт и растопырил два пальца, будто хотел выколоть деду глаза или поздравить с победой.

Дед знаковой системы не просек.

— И еще три нуля, — объяснил грубиян.

— Зачем? — спросил дед.

Сосед простонал, как Миклухо-Маклай при разговоре с аборигеном Новой Гвинеи.

— Я тебя уважаю. И закон тоже. Но закон материально не обеспечивает. И я согласен его похерить, если кто-то согласится.

Из витиеватой фразы нарушителя дед уловил склонность последнего к туманной философии.

— Не говори красиво, — призвал он. — Сколько?

— Двести рублей.

Рынок фальшивых паспортов был деду не знаком. Зато правила торговли он изучил обстоятельно. «Если тебе что-то хотят продать, помни: стоит это в два раза дешевле».

— Сто...

— Здесь вам не театр, — надменно бросил продавец, — и цены не на спектакль про Красную Шапочку.

Еще одно правило гласило: «Если тратишь чужие деньги, сделай продавцу подарок — дай, сколько он просит».

— Хорошо, — согласился дед. — Деньги завтра. А паспорт?

— Через неделю, — обещал сосед. — Если загребут, меня не выдавай. Неприятно, когда за добро расплачиваются лет десять.

Скоро дед красовался в черном костюме на свадьбе. Шурочка пригласила весь театр. Калининко — весь двор. Подвыпившие актеры якшались с массами. Капелюшин закадрил франтоватую девку обещанием жениться. Инженю Ермакова выпила на спор пол-литра браги. Молодой актер Ваня Болтунов доставал окружающих назойливой декламацией Исаковского. У Голицыной болели губы от ежеминутных поцелуев. Вертевшийся рядом Дроздов кричал: «Горько!» — и приставал с полной рюмкой к Чиковани.

— Я написал новую пьесу! — убеждал он. — Последнее слово драматургии.

Сравнительно трезвый Чиковани меланхолично заметил:

— Мне кажется, ваше последнее слово еще далеко не сказано.

— Да, — приосанился Дроздов. — Вы так считаете?

— И это вселяет глубокое уныние.

Словно фокусник из рукава, драмодел вытащил пачку истрепанной бумаги. Чиковани вздрогнул.

— Прочтите, — разрешил Дроздов.

— Милый, — ответил режиссер, — здесь свадьба. Вот Мольер уважал обычаи. Он стеснялся подойти к королю во время карнавала. Хотя пьеса называлась «Тартюф».

Разговор о творчестве Дроздов всегда сводил к произведениям горячо любимого автора.

— А моя называется «Юность коневая». Оригинально, правда?

— Про Буденного? — без интереса спросил Чиковани.

— Да. Участвует эскадрон лошадей.

— И все? — удивился режиссер. — Обратитесь в цирк.

Расстроенный Дроздов прибег к аргументации авторов, чей маленький талант компенсируется болезненным тщеславием.

— Вы не разбираетесь в искусстве. В пьесе много насыщенных драматургией ролей.



— Лошадь на сцене Драматического театра — все равно что конь в римском сенате, — сказал Чиковани. — Эскадрон выкинуть.

— Необходимо, — настаивал Дроздов, — для оживления действия.

— Замечательная пьеса, действие которой оживляется табуном.

Чиковани нехотя взял рукопись.

— Мы хотим ставить о декабристах, — предупредил он.

— Кто автор? — ревниво спросил Дроздов. — Член союза?

— Я, — скромно признался Чиковани. — Я автор.

— Тогда все понятно, — ехидно осклабился Дроздов. — Сам пишу, сам ставлю, сам деньги получаю.

— Горько! — закричал Чиковани, опасаясь рукоприкладства. — Горько! Шурочка сидела одна.

— Молодой убежал, — сказала. — Водку пить на кухню.

Чиковани опешил.

— С Савельевым вдвоем, — успокоила невеста. — Тост за дружбу.

Калиненко вышел с телефоном в пьяных руках.

— Подарок супруге моей Голицыной Александре.

— Весьма ценное приспособление, — заметил дед. — Позволяет контролировать мужа, не выходя из квартиры.

— Сегодня нам провели кабель!

— Это событие задержало свадьбу на год, — снизила радостный эффект Шурочка.

Калиненко начал суетливо втыкать штепсель в розетку. Ему бесполезно помогал Капелюшин, держа аппарат на весу.

Дед снял трубку. Гости замерли в ожидании чуда. Инженю Ермакова упала в обморок.

— Слышно? — приставал Калиненко.

— Да! Гудки!

Общество заплодировало. Ваня Болтунов выразил желание позвонить любовнице, но вспомнил, что у нее телефона нет. Амплуа трагической актрисы обеспокоило мужа.

— Але! Пуся? — кричала она, подмигивая толпе. — Чем занимаешься? Я тоже ничем. Скоро домой еду.

Самсон нажал рычаг:

— Если бы Эдисон предвидел такие разговоры, не видать бы миру телефона. Звонок диктуется необходимостью. Шура, звони близким людям.

— Да, — сказал Калиненко, — очень интересно. Я буду рядом стоять и подслушивать, какие у тебя любовники.

Шурочка расхохоталась:

— У меня одно горе луковое.

Подарок Калиненко выглядел никчемным, как собрание сочинений русского классика Федора Михайловича Достоевского, подаренное не расстающемуся с погремушкой карапузу.

— Позвони Сергею Михайловичу, — догадался матрос.

Шурочка просияла:

— Точно!

Она вызвала телефонистку и бодро назвала ряд цифр. Деда поразило, что Голицына помнит номер.

— Але? Сергей Михайлович? Это ваша ученица Александра Голицына. У меня праздник... Сочетаюсь законным браком. Муж — парень ничего... Калиненко... Калиненко, говорю... Гостей море. Вас хотела пригласить... Сейчас, конечно, поздно, вы простите... Из наших? Володя Савельев тут...

Дед подал уничтожающие знаки, пытаясь доказать, что его нет.

— Сейчас позову... Володь...

— Але? — На том конце провода сквозь треск пробивалось шелестение голоса мастера.

— Але! — надрывался ученик. — Сергей Михайлович? Вас плохо слышно.

Треск перебили гудки.

Дед беспомощно огляделся:

— Линия неисправна.

— Ничего, — успокоила Шурочка. — Сейчас перезвоним.

— Не надо, — сказал Чиковани. — Поздно уже.

Дед согласился:

— Поздно...

## 6

Три дня матрос миндальничал с женой. Потом настал черед будней.

Коллектив магазина подарил ему самовар. Польщенный Калининко долго вертел подарок в поисках крантика.

— Это сувенир, — объяснили ему. — Копия тульского самовара конца прошлого века, в натуральную величину.

— Понятно, — сказал Калининко. — Всю жизнь о таком мечтал.

В кабинете он включил вентилятор и, высунув кончик языка, начал бросать в лопасти маленькие ошметки бумаги. Деликатный стук в дверь прервал напряженную работу мысли. Лишенная растительности голова заместителя пролезла в щель.

— Разрешите?

Заместитель долго говорил о неинтересных для влюбленного человека вещах. Нахваливал соленые огурцы.

— Вас тут какой-то дед искал. Я объясняю — свадьба у человека. А он глазищи вылупил, словно всю жизнь холостой. Сегодня грозился прийти.

— Нет меня, — велел матрос. — Отбыл в командировку. В Турцию. На десять лет.

Скрипнула дверная ручка. Калининко нырнул под стол. Яков Бурлаков по-хозяйски вошел в кабинет, насвистывая «Марш физкультурников».

— Здравия желаю, — сказал он. — Директора видеть можно?

— А его нет, — притворяясь спокойным, сказал заместитель. — В Турцию уехал. На десять лет.

Тесть ожидал со стороны зятя любых сюрпризов. Разворачивая утром газету, первым делом просматривал уголовную хронику. Не брезговал даже новостями с фронта мелкого хулиганства. Но Турция была так далеко, что Яков Бурлаков сомневался в ее существовании.

— Куда смотрит ваша районная поликлиника? — доверительно поинтересовался он. — Вчера вы говорили, что мой зять женится. Сегодня в Турцию его послали. Такая фантазия должна ограничиваться смиренной рубашкой.

В момент кризиса Калининко жалел чистые брюки. Избирательная щетка уборщицы не заглядывала под стол со дня открытия магазина.

Яков Бурлаков прищемил его руку носком лакированного ботинка.

— Папа! — закричал матрос.

Тесть нагнулся и увидел зятя.

— Дожил, — сказал он. — В родном предприятии лучше места найти не мог.

Бурлаков застыл, потрясенный нестандартной идеей:

— Уж не от меня ли ты прятался?

Калининко разыграл оскорбленное достоинство:

— Что вы, папа! Здесь ветер, понимаете, бумаги разметал. Я собирал документацию.

— А почему, — строго спросил Бурлаков, — у тебя окна не заклеены? Зима, между прочим.

Калининко рассмеялся:

— Заклеены! Заклеены окна, папа! Вентилятор работает.

— Ну ладно, — сказал Бурлаков, утирая губы. — Иди поцелуемся.

Заместитель, выпучив глаза, наблюдал семейную идиллию.

— Соленые огурцы, — намекнул матрос, — прокиснут.

Заместитель с вылупленными глазами вышел.

— Люсьен приехала? — затревожился Калининко. И для конспирации добавил: — Соскучился.

— Люся пока дома осталась, — успокоил Бурлаков. — Чего с вызовом медлишь?

— Неустроенность, папа. Живу в общежитии. Сосед справа алкоголик, слева бабник. Контингент для семейной жизни гибельный.

— Да... — протянул тесть. — А в главке сказали: «Калининко отдельную комнату получил».

Возникла пауза, вся неловкость которой понятна баронам Мюнхгаузенам.

Калининко понял, что пришла пора рубить еще один канат.

— Я, папа, сильно полюбил другую и с Люсей жить более не могу.

Бурлаков помолчал. Шмыгнул носом.

— Я так и думал. Девку жалко.

Он подобрался к зятю вплотную.

— Осторожней, папа, — предупредил Калининко. — Была такая богиня — Фемида. Если на одной чаше ее весов лежала сломанная челюсть, а на другой — попытка самообороны, то весы склонялись в пользу попытки.

— Ученые слова, — сказал Яков, — ни одного подлеца человеком не сделали. Вот так же ты Люсю поймал.

— Я виноват, — поник матрос. — Каюсь. Развод оформим. Имущество отдаю. И деньги присылать буду. Аккуратно, каждый месяц.

— Не нужны мне твои вшивые деньги! — по-бабьи завизжал Бурлаков. — На шмар трать.

Калининко закрыл уши ладонями. Он видел багровое лицо тестя, разевающего в припадке рот.

— Я в обком пойду! В горком! Подключу комсомольские организации!

— Их-то зачем? — спросил Калининко. — Мне тридцать пять лет, какой комсомол?

Логичный вопрос отрезвил Бурлакова. Он достал носовой платок. Утер возбужденные бисеринки пота. И сказал совершенно спокойно:

— Я тебя упеку.

— Куда? — не понял зять.

— К черту на рога, — крикнул Яков, бешено хлопая дверью.

Матрос включил вентилятор. Возник соблазн прижаться виском к лопасти.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Счастье актерской профессии заключается в отсутствии рабочих и выходных дней. Театр — это второй дом. Конечно, если ты настоящий актер, а не наивный человек, решивший сделать сцену источником заработка.

По воскресеньям Шурочка убежала, целуя спящего мужа. Калининко чмокал губами, то ли отвечая на ласку, то ли видя гаремное сновидение.

В одно из воскресений его потревожил дверной звонок. Хмурясь, Калининко открыл. На пороге светился молодой человек незнакомого вида. Всех незнакомых директор мгновенно зачислял в разряд поклонников актерского таланта жены.

— Голицына в театре, — сказал он. — Все вопросы решать в грим-уборной.

— Мне Голицына пока ни к чему, — ответил незнакомец. — С Калиненко хочу беседовать.

Двоеженец невольно посторонился, приглашая гостя в комнату с поэтически незастеленным альковом.

— Младший лейтенант Юрий Никитин, — продемонстрировал корочку незнакомец.

— Очень приятно, — сказал Калининко, испытывая чувства прямо противоположные радостным.

— Кем вам приходится Голицына Александра Валерьевна?

— Законной женой.

Лейтенант смущенно потупился.

Калиненко отдернул кончик покрывала:

— Присаживайтесь.

— Спасибо, я так... Вы брюки наденьте.

Калиненко увидел футбольные трусы. Запрыгал по комнате, стараясь попасть ногой в штанину.

— Голицына законная? — уточнил лейтенант.

Раньше понятие возмездия ассоциировалось у матроса с палубой корабля, разбитого бурей. Теперь с Юрой Никитиным.

— Да.

— А Бурлакова, уроженка Гомеля?

Хрупкая надежда, что лейтенант зашел попить чаю, разбилась.

— И Бурлакова законная.

— А две жены, — констатировал Юра, — есть признак анархии половых связей. Собирайтесь, внизу машина ждет.

— Записку можно оставить?

— Жене, что ли?

Калиненко согласно кивнул.

— Какой именно? — поинтересовался лейтенант, будто это имело значение.

— Голицыной.

— Интимностей не пишите, — сказал Юра. И объяснил: — Я прочесть обязан.

«Шурочка, — накорябал завмаг, — я уехал в срочную командировку. Обед приготовь сама. Твой муш — объелся груш».

— Муж через «ж» пишется, — поправил Юра. — Грамотей.

## 2

Отец Юры крутился в партийных сферах, не понимая, что время на дворе благоволит людям незаметным. Как выходец из низов, Никитин-пэр не умел пользоваться государственными благами достойно. Прилюдно гонял машину с личным шофером в булочную. В светлый день Первомая курил на балконе с расстегнутой ширинкой. Его друг, полковник Василий Рублев, выпив, начинал вертеть пальцем возле носа главы семьи. Этот жест, по мнению Рублева, значил много. Что именно, полковник ввиду заплетающегося языка объяснить не мог, а протрезвев, терял к расшифровке всякую охоту.

Василий Рублев питал страсть к новым вещам. Из гомонливой семьи Никитиных выделял Юру. Пэра он знал со времен блаженной молодости, и тот успел ему надоесть предсказуемыми репликами. Хозяйка дома могла поддержать разговор о варке яиц в мешочек.

А Юра был человек новой формации. Уважал дельтапланы. Носил галстук алого цвета. Собирал гербарий. Засорял голову стихами Жарова.

Наведываясь в гости, Рублев делал ему подарки. Интересовался школьными отметками. Иногда, почесывая багровый затылок, решал геометрические задачи.

В 1937-м Никитин-старший очнулся на скамье подсудимых. Впрочем, это выражение крайне туманное. Подразумевающее наличие законных процессов.

А теперь возникает вопрос. Я могу объяснить уничтожение Бабеля: много писал человек. Расстрел Тухачевского: симпатия военных с табельным оружием — плохая рекомендация человеку, который стремится выглядеть законопослушным. Убийство Троцкого. Самоубийство Орджоникидзе. Наводящую на подозрительные выводы гибель Фрунзе. Но чем объяснить арест Никитина? Принадлежностью к партийной сфере? Сталин мечтал о ликвидации ВКП(б)?

Во-первых, Никитин верил Советской власти. Во-вторых, был лишен аналитических способностей. То есть вера принимала слепой характер. Умом не блистал. Авторитетом пользовался разве что в местах, где его плохо знали. Во дворе, например, Никитина уважал дворник, поливающий улицу из резинового шланга. Выше я обмолвился о недостатках. Но это недостатки бытовые. Выпил человек, расслабился. Послал шофера за водой. Покричал на балконе. Милые шалости. А так Никитин — находка, идеал, дурак, не понимающий, что происходит.

Пусть, однако, читатель не думает, что я взваливаю на его ленивые плечи вопросы без ответа. Авторы, убежденные, что выкрики «Кто виноват?», «Что делать?», «Жизнь есть сон?» сами по себе признак великого ума, ошибаются. С этой точки зрения двухлетний карапуз, вопросительно тыкающий в предметы пальцем, служит примером гениальности.

Так вот о Никитине. Чтобы выжить во времена террора, мало быть дураком. Выживают скорее умные подлецы, притворяющиеся дураками. А добродушный партиец... Черт его знает... Пьет, курит, сын у него на пятерки учится...

Несчастье, как правило, благотворно. Оно снимает розовые очки. Показывает настоящие лица друзей. Выясняется, что в основном за лица мы принимали морды. Позитивная же сторона событий заключается в том, что немногие лица делаются еще дороже.

В черные дни квартира Никитиных пустовала. Только Василий Рублев передавал приветы.

Самолично полковник явился через месяц. Вежливо сказал вдове:

— Я обязан что-нибудь сделать для его ребенка.

— Юра стал плохо учиться, — всхлипнула вдова. — Стреляет из рогатки по живым голубям.

— Определим парня в Суворовское, — предложил Василий.

Мать засомневалась:

— Не возьмут. С такой анкетой...

— Возьмут, — твердо сказал Рублев. — Если хотите.

Полковник сдержал обещание. Устроил сына врага народа в привилегированное заведение. В анкете Юра написал, что отец погиб в песках Туркестана. Что могло быть и правдой.

Юра принадлежал к поколению, которое чуть опоздало умереть. На фронт попал в 1945-м. Не намахавшись кулаками, вернулся домой. Перспективы маячили туманные.

Юра окунулся в мирную жизнь. Вечерами шлялся по улицам. Ходил в театр. В Драматическом видел Голицыну. Шурочка играла жену городничего в «Ревизоре». Юра смеялся до колик.

Все было хорошо, но требовалось устройство.

И опять помог дядя Вася.

— Пойдешь в УВД, — сказал он. — Годок-другой побатрачишь, переташу к себе.

— В НКВД? — затаил дыхание Никитин.

Василий потрепал его по шее, словно борзого щенка.

Романтичный лейтенант представлял погони за шпионами. С обоюдными перестрелками и односторонним попаданием. В первый же рабочий день он получил кипу административных дел. На фоне алиментщиков и поющих хулиганов выделялось злодеяние бандита, укравшего из книжного магазина издание русской народной сказки «Теремок» с иллюстрациями Бибикова. Лейтенант затосковал. Полковник Рублев что-то упустил в его воспитании. Юноша ориентировался на подвиг. Рутинка выбивала его из ритма жизни.

Вечерами Юра бродил по Москве. Стояла ранняя весна. Воздух наполнялся веянием счастья. И грусть лейтенанта приобретала остроту чувств непризнанного поэта.

## 3

С Калиненко у Юры разговор получился короткий. Матрос легко признал подделку документов. Приписывал данный подвиг себе.

— За двоеженство ерунда полагается, — внушал лейтенант. — А подделка документов — это серьезно. Назовешь изготовителя — скостят.

— Я.

— Что — ты?

— Я изготовитель.

— Мудила ты, — сказал Никитин. — Охота сидеть? Зачем тогда женился?

— Обстоятельства сложились...

— Амур-лямур... — поморщился Юра. — Впрочем, я тебя понимаю. Голицына — женщина замечательная. Я ее в театре видал. Чуть со смеху не помер.

— Вы ей не говорите ничего, — попросил Калиненко. — Про грустный факт двоеженства.

— В качестве свидетеля допросить обязан.

Матрос тяжело вздохнул.

— А что бы ты ей сказал? Тюрьма не курорт, профком путевки не выдает.

— Ну, я не знаю... Арестован за вредительство.

Лейтенант ершисто вскинулся:

— Вам не дает покоя слава врагов народа?

— С бабской точки зрения, враг народа лучше врага семьи.

— Точно — мудак!

— Рано ты рассуждаешь, лейтенант, — заметил Калиненко. — Влюбись сперва.

— Что я по-твоему, кастрат? — недовольно проворчал Юра.

— Не понял...

— Ну... То есть... Я хочу сказать... — смутился Никитин. — Любил уже. Два раза.

— Это тебе кажется. Я в молодости слюнявый поцелуй за поэму считал. И раз пятнадцать жениться хотел. А потом поцелуев меньше стало. И тогда любовь пришла.

— У вас так, а у меня по-другому; — обиделся Никитин. — И на двоих сразу жениться не собираюсь. Одна — навек. Юлей зовут.

— Имя хорошее. Красивая?

— Как Марика Рёкк.

— Это кто? — всполошился Калиненко.

— Девушка моей мечты. Кино смотрел?

— А... С длинными ногами и нескромным платьем?

— Ноги я еще не видел, — покраснел лейтенант. — Мы на танцах два раза были. А потом я ее домой провожал.

Калиненко от души посмеялся:

— Какая же это любовь, если ноги не видел? Ноги, брат, первое дело. Вдруг кривые?

Губы следователя предательски задрожали.

— Да ну тебя! — запальчиво крикнул он.

— Извини, браток, — попросил Калининко. — Не хотел расстроить.

Юра придвинул двоеженцу бумагу. Калининко размашисто расписался.

— Тебе все равно не много дадут, — неожиданно тихо сказал Юра. — Вернешься, будешь счастлив. А она ждать будет. Уже повезло.

## 4

В начале нового сезона в Драматический театр хлынул молодняк. Чиковани принял выпускной курс ГИТИСа. Новички готовились к ролям декабристов.

На жалобное хныканье аксакалов режиссер развел руками:

— Не могу же я доверить роли пылких юношей актерам, чей возраст опасно мудр.

Могикане считали Чиковани сумасшедшим. Молодняк — гением. Дед придерживался середины. Он любил Чиковани, но, как не получивший заметной роли, мог сомневаться в его умственных способностях.

Дед играл Александра Первого. Площадка для сценического взлета была мала. Пьеса начиналась смертью царя.

Чиковани подлил масла в огонь, заявив:

— Это твоя лучшая роль!

Дед обиделся. Что можно сказать об актере, лучшая роль которого — труп?

Капелюшину и Голицыной повезло больше. Несмотря на тридцатилетний рубеж, Шурочка сохраняла юные прелести. Чиковани подарил ей роль жены Рылеева. Финальный монолог декабристки делал честь любой актрисе. Шурочка входила в образ. Носила длинные платья. Выучила два предложения по-французски. Назвала трамвайного кондуктора, собирающего копеечную жатву, сатрапом.

Капелюшин играл Николая Первого. Его монстр был противоположен гротесковому Адольфу деда. Холодный эгоист на троне.

«Юность коневую» Чиковани вернул Дроздову с рядом ехидных замечаний. Драмодел не поленился пробежать глазами конкурирующий материал. Прочитав две реплики, поставил диагноз:

— Это не жизненно!

— А что жизненно? — спросил Чиковани. — Удои донецких шахтеров?

— Хотя бы. Приличная тема.

— Дарю! — сказал щедрый Самсон. — Шахта и сельхозклуб в одном забое. Поднимете сразу несколько актуальных вопросов.

На генеральный прогон приехала высокая комиссия. Ее члены отбирались по двум критериям: унылое выражение лица и полное безразличие к происходящим на сцене событиям. Данные качества помогали избежать субъективной оценки. Серые ряды комиссионщиков портил одноглазый живчик с пиратской повязкой на лице. Председатель познакомил его с режиссером:

— Генрих Брауде, наш немецкий товарищ.

Живчик радостно схватил руку Самсона:

— О! Театр — чудо! Я играл Вильгельм Телль.

— Неудачно стреляли? — посочувствовал режиссер, кивая на повязку.

Броуди расхохотался:

— Нет! Вы не поняли. Я — Вильгельм Телль. Я целил. А глаз потерял давно. Теперь хорошо вижу правым.

— Генрих заведует Берлинским Национальным театром, — сказал председатель.

Чиковани невольно подобрал живот.

— Это ерунда, — поморщился Брауде. — А вот Вильгельм Телль...

Председатель сделал приглашающий жест в зрительный зал, будто принимал немецкого товарища у себя на даче.

Спектакль начался. Молодняк мандражировал. Тайное заседание Северного общества напоминало похмельное сборище. У Каховского дрожали руки, Рылеев имел неестественный цвет лица, Якубович судорожно вытирал пот. Ко второму действию новички освоились. Молодая свежесть придавала действию особый задор. Дед понял замысел Чиковани.

Шурочка Голицына, отыграв сцену, нырнула за кулисы. Попала в объятия деда.

— Страшно, — призналась она. — В зале тихо.

Комиссионщики, напялив роговые очки, глядели вперед. Только единственный глаз Брауде светился неподдельной радостью.

Деду иногда приходилось успокаивать Шурочку. Делал он это специфически. Переключал внимание на другие, не менее драматичные вещи.

— Муж не появился?

Дед объяснял исчезновение Калиненко путешествием в Гомель. Голицына — проверкой достоинств недавно приобретенной жены. Она подозревала матроса в ревности и ждала его прихода ночью. В доказательство верности мечтала ореть сковородкой.

Якубович, Трубецкой и Рылеев обсуждали вопрос цареубийства.

— Народ забит, унижен! — кричал Рылеев. — Всем заправляет кучка негодяев!

Генрих восхищенно цокнул языком:

— Как верно, а главное, современно!

Председатель одобрительно кивнул. По его мнению, это было современно по отношению к родине немецкого товарища.

Каре декабристов вышло на площадь. Обидело Милорадовича. Смерть поклонника самодержавия трактовалась патетично. Капелюшин в образе Александра прикрыл буркалы и отвернулся. Ему явно не давало покоя геннальное предчувствие событий семнадцатого года.

Смотря на игру Капелюшина, дед испытывал неловкость. Коллега закомендовал себя генсеком. И теперь напрашивались глупые исторические параллели.

Вешали декабристов. Рылеев запланированно сорвался с виселицы. Стукнувшись головой о помост, забыл исторический текст.

— Bravo! — заплодировал Генрих. — И повесить как следует не умеют!

Председатель pokrылся серо-буро-малиновым цветом. Наклонился к шестерке.

— Уволить заведующего материальной частью, — велел он.

Жена Рылеева погрозила Николаю кулаком.

— Ты падешь, сатрап! — сказала она.

Монолог Шурочки длился пять минут и носил жизнеутверждающий характер. Жenu Рылеева грела зря коммунизма. С высоты 1948 года ее прогнозы поражали точностью.

Спектакль кончился. Брауде разразился овацией. Комиссионщики вздрагивали. Хлопки казались беднякам револьверными выстрелами.

— Спасибо, — сказал Чиковани директору берлинского театра. — Вы очень хороший зритель. Особенно на фоне остальных.

— Вы рассчитывали на то, что спектакль будут принимать одноглазые люди, не разбирающиеся в политической ситуации? — тихо спросил режиссера председатель комиссии.

— Вам не понравилось? — удивился Чиковани.

— А мне понравилось! — сказал Брауде. — Предлагаю вам гастроль и рюмку шнапса!



— У нас сегодня в планах Большой театр, — засуетился председатель. — Танцующие лебеди. Очень интересная постановка.

— «Лебединое озеро» я видел пять раз. А такого человека встретил первый.

— Надеюсь, вы откажетесь? — спросил председатель.

— Невежливо, — сказал Чиковани. — Все-таки гость.

## 5

С вызовом Шурочки Юра медлил. Дело Калиненко изобиловало материалом: заявление Бурлакова о двоеженстве зятя, показания обвиняемого, протоколы допроса Люсьен и Якова, присланные гомельскими пинкертонами. Оставался непонятным фокус с двумя паспортами. По наивному мнению Юры, Голицына могла его прояснить.

Допросить Шурочку лейтенант не успел. К нему явился полковник Рублев. Был сух и неприветлив.

— Ты чего, — поинтересовался с порога, — бодягу развел?

Юра недоуменно посмотрел на покровителя.

— Дверь закрой, — велел тот.

Склонившись над Юрой, полковник укоризненно повертел пальцем перед его носом:

— Калиненко у тебя месяц валяется.

Юра удивился осведомленности дяди Васи. Хороший человек Калиненко был мелким хулиганом по сравнению с клиентами Рублева.

— Ты понимаешь, какое сейчас время? — спросил дядя Вася.

— Да, — отрапортовал Юра. — Созидательного труда.

Дядя Вася нервно забегал по кабинету, словно резкие движения могли упорядочить его мысли. Пробежка результатов не принесла. Полковник издавал непонятное мычание.

— Где работает Голицына? — наконец услышал Юра.

— В театре.

— В каком театре?

— В Драматическом.

Полковник выжидательно уставился на Юру:

— Ну?

Никитин пытался связать факт двоеженства с конкретизацией Шурочкиной работы. Решил, что в труппе объявились новые претендентки на роль жены Калиненко.

Рублев скорбно покачал башкой:

— Прости, Юра. Это работа не для тебя. Во-первых, ты не читаешь газет. Во-вторых, мыслишь в индивидуальном масштабе.

— Дядя Вася, ты загадками говоришь, — пожаловался Юра. — Я совсем запутался.

— А все просто. В Драматическом обнаружена банда диверсантов во главе с режиссером Чиковани. Он вступил в преступный сговор с немецким шпионом Генрихом Броуди. Думал выбить с его помощью заграничные гастролы и больше не вернуться. Для этого поставил антисоветский спектакль «Декабристы». Авторитетная комиссия быстро разоблачила его преступные намерения. Броуди из страны выслали. Чиковани арестован. Еще пару деятелей подхватили.

— А Калиненко? Он при чем?

— Голицына занята в спектакле, — сказал полковник. — Видную роль играла. Явно за границу намывливалась.

— А Калиненко? — вопрошал Юра. — Калиненко при чем?

Рублев посмотрел на лейтенанта в упор. Взгляд его выражал сожаление здорового человека при встрече с юродивым и опаску, что юродивый не так глуп, как кажется.

— Согласно преступному замыслу, Голицына собиралась вывезти его как мужа.

— Ерунда, — заявил Юра. — Он ее любит. Безвреден, как мотылек.

Это сообщение повергло дядю Васю в шок. Он забылся до того, что воззвал к Богу:

— Господи, какой ты доверчивый!

— А зачем они вообще? Ну, за границу скопом?

— Враги всегда скопом, — проворчал дядя Вася. — Устал я от них.

— А мой отец?

Рублев встал.

— Твой отец, Юра, был настоящим коммунистом. Честным и принципиальным. А вот те, кто вели его дело, являлись врагами. Они получили по заслугам.

— Значит, ошибка возможна, — сказал Никитин. — Хотя бы теоретически.

— Нет, — ответил Рублев. — Калининко передашь мне.

Несколько секунд царила тишина.

— Прямо сейчас?

— Машину завтра дадут, — сказал полковник. — С утра.

Стояла глубокая ночь. В кабинете Юры горела настольная лампа. Калининко горбился за столом.

— Доигрался? — зло спросил Юра. — Раньше надо было думать.

— Вышка? — пробормотал матрос.

— Наверняка.

— Блин, — вздохнул Калининко. — Что за время? Женишься два раза, бац, и все.

— Маховик... — пожал плечами Никитин. — На сотню виноватых один невинный всегда попадется.

Юра снял китель. Молча кинул арестанту.

— Пройдешь контроль, — сказал. — Тихо пройдешь. И беги.

Калининко потрясенно замолк.

— Быстрее.

— А ты?

— Устроишь сотрясение мозга. Только небольшое.

— Как получится, — пошутил завмаг, натягивая форму лейтенанта.

Вдруг он застыл:

— Конвой?

— Чай гоняют, — пояснил Юра. — Пока не вызову, фиг два прибегут.

Калининко пожал лейтенанту руку:

— Как благодарить, не знаю.

— И хорошо. Сотрясение эффективнее будет.

Через минуту Юра Никитин лежал на полу в философской задумчивости. Калининко в форме лейтенанта благополучно вышел во двор.

И только на морозном воздухе понял, что идти, собственно говоря, некуда.

## 6

В Драматическом наступили душные времена. Чиковани арестован. Капелюшин и основной состав молодняка тоже. Режиссером назначен человек, щеголяющий, ввиду отсутствия других полезных качеств, скромностью. Дроздов быстро взял его в оборот. Наградил экземпляром «Юности коневой» даже буфетчику.

Шурочка Голицына смущала деда вопросами. Что, мол, делать с Калининко? Заявлять в милицию?

Несколько раз дед помогал ей носить передачи Самсону. Он заматывал лицо пуховым платком, оставляя щели для глаз. Перед Шурочкой оправдывался холодом. Та смеялась, гордо рассекая хмурую очередь, — красивая, победительная. Она могла бы расценить поведение деда как трусость, но знала, что бабушка беременна. И теперь за героические поступки дед отвечает судьбой будущего ребенка.

— Я одна пойду, — говорила она деду. — Твое общество, Савельев, утомительно. Все нормальные мужчины нас избегают.

Дед таких шуток не понимал.

— А Калининко?

— Где он, Калининко? — разводила руками Голицына.

В очередях они проводили по несколько часов. Деда поражала контактность Шурочки. Она заводила разговор с кем ни попадя, легко меняя темы.

— Володя, ты слышишь? — толкала она его в бок. — Оказывается, можно передавать грецкие орехи. Сбегай на рынок. Самсончик так любит грызть.

— С чего ты взяла? — удивлялся дед, помня о вставной челюсти режиссера.

— Иди, иди, — гнала Шурочка.

Шурочку обязательно спрашивали, кто у нее сидит, муж?

— Ах, что вы? — кокетливо отмахивалась Шурочка. — Муж сидит дома на диване.

Из этих слов сильно желающие могли сделать вывод, что Шурочка носит передачи любовнику.

Дед искоса наблюдал за Голицыной, внутренне содрогаясь. Шурочка вела себя словно водевильная героиня, проникающая в опереточную тюрьму для свидания с легкомысленным кутилой графского происхождения. Антураж не соответствовал месту действия. Хмурые люди стояли теребя свертки. Переговаривались шепотом, низко опустив голову.

Наконец подходила очередь Шурочки. Она подмигивала сержанту и заявляла:

— Красавчик, передай Чиковани.

Сержант механически потрошил сверток. Надламывал чурчхелу. Рылся пальцами в табаке. Дед боялся, что Шурочка сделает ему замечание. Но Голицына была не настолько легкомысленна.

На улице она давала волю чувству. Кусала губы и шептала зло:

— Хамье! Господи, какое хамье!

Ее сторбленная фигурка напоминала деду лето, теплый асфальт, пиво в трехлитровой банке. Он разматывал платок и жадно вдыхал морозный воздух. Думая о том, что жизнь складывается как у всех. Не по меркам юности. То есть неудачно.

## 7

В квартиру мастера Калининко явился в третьем часу ночи. Эйзенштейн сонно шурился. Положение дел научило матроса пролетарскому стилю поведения.

— Можно, я у вас переночую?

— С чего вдруг? — спросил Эйзенштейн.

Калининко строил обманутое в своих лучших надеждах лицо и развернулся на девяносто градусов.

Мастер задержал его:

— Хозяин имеет право на удивление. Особенно когда к нему приходят люди, чьи визиты не каждодневны.

Матрос не долго колебался между тюрьмой и Парижем. Через несколько минут пил на кухне крепко заваренный чай. Конечно, с малиновым вареньем.

— Оставайся, — разрешил Сергей Михайлович. — Жена в пансионат уехала. Так что у меня холостая неделя.

— Да? — откликнулся Калининко. — Так я проживу несколько дней?

На лице Эйзенштейна отразилось мимолетное колебание. В голос матроса прокрались нотки ребенка, клянчущего мороженое.

— Сергей Михайлович...

— А что произошло? — спросил Эйзенштейн. — Почему выбрана моя квартира?

— Шурку наказать хочу...

— А военная форма?

— Да я прямо из театра. Там в массовке лейтенанта играю.

— Ого! — воскликнул Сергей Михайлович. — Бросил хозяйственную стезю.

— Нет, — заботясь о правдоподобию, ответил директор. — В свободное время играю. По вечерам.

Эйзенштейн прихлебывал чай. Стукнул пальцем по горлу:

— У вас, наверное, проблемы с этим делом. Жена не одобряет.

— Я пью только в особо торжественных случаях.

— Когда есть выпить?

— Сергей Михайлович, — обиделся Калининко. — Думаете, Голицына ангел?

Матрос начал фантазировать. Распространялся о сложных перипетиях быта. Цитировал Маяковского. Приписывал Шурочке редкую стержность, а себе утонченное мировосприятие.

Он замолчал, столкнувшись глазами с мастером. Глазами, где ирония перемешивалась с нешуточной тревогой.

— Марш баиньки, — велел Сергей Михайлович. — Идем, покажу где.

Утром Эйзенштейн уехал на занятия во ВГИК. Возвратился поздно. Калининко, подвязанный женским фартуком, сервировал стол.

Ужинали вдвоем.

— Ты прекрасно готовишь, — сказал Эйзенштейн. — Явно не у меня научился.

— На флоте. Был у нас кок-азербайджанец. Коронное блюдо — сибирские пельмени и манная каша с килькой.

— И долго его терпели? С килькой-то? За борт не выкинули?

— Выкинули, — сказал матрос. — Но кое-что я перенять успел. Например, мысль, что есть повара, а есть пригостишки. Повара изобретают рецепты, а пригостишки им следуют. Иногда рецепт выходит манной кашей с килькой. Тогда пригостишки смеются, а повара от плиты выгоняют. Но многообразие пищи обеспечено поварами. А так ели бы одну картошку в мундире да глазунью.

— Послушайте, а в каком театре работает Голицына? — мгновенно сменил тему Эйзенштейн.

Калининко напрягся. Сморщил лоб:

— Не помню...

— Как это? Не помните, в каком театре играет лейтенанта?

Смущенный Калининко низко склонился над тарелкой.

— В Драматическом, — сказал мастер. — В том самом, который газеты характеризуют как рассадник идейно незрелых пьес.

Калининко принялся за мытье посуды. Вода с шумом била из крана.

— Все будет хорошо, — услышал он за спиной.

Гость резко обернулся. Сергей Михайлович бесстрастно потягивал чай из блюдечка.

Матрос решил, что галлюцинации — дело обыденное.

Поужинав, затеяли игру.

Комната, отведенная матросу, была загромождена книгами. Впрочем, как и вся квартира. Книги громоздились даже в прихожей. Но в комнате Калиненко книжный поток достигал апогея. Полка угрожающе висела над дверью.

— Есть предложение выходить в окно, — сказал Калиненко. И добавил: — Неужели все это вы прочли?

— А зачем держать книги? В качестве клозетного пособия?

Глаза Эйзенштейна заблестели:

— Хотите на спор? У меня в квартире есть ответы на любые вопросы. Конечно, вопросы, на которые можно ответить. Не спрашивайте, что такое душа или как быть счастливым. Этого в книгах не найдете. Но область человеческих знаний... Пожалуйста, назовите любой интересующий вас предмет.

— Марика Рёкк, — предложил Калиненко.

Эйзенштейн поморщился:

— У вас стандартное мышление. Автора «Броненосца „Потемкин”» должно спрашивать о кино. Которое, кстати, ему изрядно надоело.

— Тогда «усушка».

Сергей Михайлович оживился:

— Это в каком, простите, смысле?

— Торговый термин, — пояснил матрос.

— Посмотрите Адама Смита. Во-о-он на той полке. Левее. Ага. Так, потом «Финансовая бухгалтерия». Это в моей комнате. Полка на левой стене. Есть «Торговля континентальной Европой» и...

— В этих книгах про «усушку» нету, — твердо сказал матрос.

— А вы откуда знаете? Читали?

— «Усушка» — термин двадцатого века. С ним можно столкнуться только на практике.

— По-моему, так называют прикарманенные продукты в официальных бумагах. Возьмет какой-нибудь субчик пятьсот килограммов масла на бутерброд и, чтобы оправдать свое поведение в глазах начальства, руками разводит: «усушка», мол, физическое явление.

— Верно, — поразился Калиненко. — Откуда вы знаете?

— От Адама Смита, — ехидно сказал Сергей Михайлович. — Не отвергайте книгу, пока не прочтете. Посмотрите «Обжорная Москва» Забелина и дурацкий роман Ивана Борондукова «Спекуляция». Там должно быть. Борондуков стоит в клозете. Обложка зеленая, цвета ядовитой змеи.

Вернувшись с книгой, Калиненко застал Эйзенштейна в кресле. Лицо мастера поражало бледностью. Калиненко бросился к нему.

— Сердце схватило, — проскрипел Эйзенштейн. — Найдите валидол. В столе...

Матрос действовал энергично. Через мгновение Эйзенштейн лежал на диване, укутанный в плед.

— Вы переутомляетесь, — сказал ученик. — Надо себя беречь.

— А зачем? — спросил Эйзенштейн. — Для смерти? Возьмите у меня в плаще деньги и сходите за мандаринами. Экзотические фрукты помогают лучше лекарств.

Матросу не хотелось шляться без документов. Но просьбы мастера давно приобрели ранг законов.

Из плаща он достал аккуратно перетянутую резинкой пачку денег.

— Сколько стоят мандарины?

— Берите все деньги, — сказал Эйзенштейн, поднимаясь с кровати.

Покачиваясь, он пошел к письменному столу.

— Здесь около десяти тысяч.

— Вам, — упорно сказал Сергей Михайлович, — должно хватить. Мандарины нынче дороги.

Матрос недоуменно терзал пачку.

— Завтра утренним поездом прибывает жена. Вы идете за мандаринами?

Они столкнулись глазами. Зрачки Эйзенштейна были словно у побитой собаки. Он виновато пожал плечами. И тут Калининко сделал то, что когда-то при подобных обстоятельствах хотела сделать бабушка. Подошел к мастеру и обнял его.

И вышел не оглядываясь.

На улице Калининко составил план действий. Судя по тому, что в двадцать два часа он звонил в дверь деда, первым пунктом плана был фальшивый паспорт. Отворила бабушка.

— Володи нет, — сказала она. — У него вечерняя репетиция.

— До утра? — уточнил Калининко.

Бабушка тяжело вздохнула:

— Знаете, у него такая плохая профессия.

— Я у вас в гостях был. Помните?

Бабушка рассмотрела Калининко более детально. Осталась недовольна.

— Вы, кажется, Володин собутыльник. А по совместительству муж этой... как ее... тоже в театре работает. По непонятным причинам считает себя актрисой.

Калининко поежился:

— Холодно на лестнице. Может, в комнату?

— Зачем? — удивилась бабушка. — Водку я не пью. Мужу не изменяю.

— Давай поговорим нормально, — призвал матрос. — Мне очень ваша помощь нужна.

— Рецепт спирта из древесины? — предположила бабушка, тем не менее отступая назад.

Калининко понадобилось пятнадцать минут, чтобы раскрыть бабушке череду амурных приключений. Он говорил, что поссорился с Шурочкой и она, увидев его, меняет направление, а он ее любит, как сорок тысяч братьев, и вчера даже сочинил стихотворение в лучших традициях лирики Пушкина. «Я помню чудное мгновенье, — вдохновенно цитировал матрос. — Передо мной явилась ты, Голицына, — мое виденье и ангел чистой красоты!»

— Очень хорошо, — сказала бабушка. — А я тут при чем?

Калининко бухнулся на колени:

— Пойдемте! Пойдемте к театру! Вызовите мне Шурочку! Мой зов она игнорирует!

Калининко всхлипнул и спрятал бесстыжие глаза в широких ладонях, дабы отсутствие живительной влаги не смущало.

— От этой Голицыной всегда одни проблемы, — сказала бабушка. — Почему мужчины ее так любят?

У театрального подъезда стоял хлебулочный фургон. Матрос невольно придержал шаг.

— Стой! — велела бабушка. — Сейчас приведу.

Едва войдя в подъезд, бабушка увидела Голицыну. Та бодро перебирала каблучками, спускаясь по широкой лестнице. Парламентарка остановилась, поджидая любовь матроса. Откуда-то сбоку появились мужчины в военной форме. Они подхватили актрису с двух сторон и потащили к выходу.

— В чем дело? — услышала бабушка рассеянный голос красавицы.

Она автоматически миновала пролет. Прислонилась к стеклу.

Снизу долетал неясный шум. Метались какие-то фигуры. Бабушка стояла, кусая нижнюю губу.

Калиненко, увидев Шурочку, забыл элементарную осторожность. Он бросился к ней. Ударом кулака сбил военного. Второй конвоир треснул матроса ногой в пах. Краем глаза Калиненко поймал ствол пистолета. Толкнул Шурочку:

— Под машину, быстро!

Голицына ударилась виском об асфальт. Потеряла сознание.

Конвоир выстрелил. Калиненко схватился за плечо и упал.

Военный, обезоруженный ударом матроса, поднялся и, утирая кровавые сопли, двинул возмутителя спокойствия в район зубов.

Вооруженный конвоир враскачку двинулся к Шурочке. Калиненко прыгнул ему на спину. Затылок обожгла боль. Первый конвоир поднял обломок кирпича. Но матрос уже завладел пистолетом. Развернувшись, он выстрелил. Военный, будто человек, пьющий без закуски, сел на асфальт. Калиненко развернул второго конвоира лицом к себе.

— Сука, — прохрипел он.

Зрачки конвоира были полны ненависти. Он плюнул матросу в лицо. Получил рукояткой по носу.

Калиненко прислонил дуло к ноздре пленника. Какое-то мгновение палец дрожал на курке.

— Прикрой зенки, — попросил матрос.

Конвоир плюнул вторично.

Калиненко выстрелил зажмурившись.

Плечо сочилось кровью. Директор склонился над Шурочкой. Та слабо застонала.

— Маленькая, — сказал муж. — Сейчас поедем.

Взяв ее на руки, он побрел к машине. Подергал ручку. Фургон был заперт. По ту сторону стекла матрос увидел бледного шофера. Совсем молодой человек. Почти мальчик с искаженным от страха лицом.

— Открой!

Для пушей убедительности Калиненко продемонстрировал оружие.

Мотор взревел.

Калиненко едва успел отскочить. Машина развернулась и поехала прямо на него. Матрос прижался к стене. Прикрыл телом Шурочку. Фургон расплющил обоих у каменной кладки.

Бабушка вылетела из театра. Фургон полыхал алым пламенем. Где-то слышались милицейские свистки. Покачиваясь, бабушка пошла вдоль улицы, закрыв руками лицо.

Эйзенштейн писал два часа без перерыва. Словно боялся не успеть. Было ли предчувствие конца? Думаю, да.

Рукопись обрывалась на середине слова.

Господи, что же он не успел написать?

## 8

Действия скромного режиссера могли вызвать горячие слезы Станиславского. Главные достоинства его приемов заключались в отсутствии таковых. Началом репетиции служил хлопок и властный крик: «Поехали!» После чего режиссер устраивался в последнем ряду, производя впечатление спящего человека. Актеры творили под присмотром Дроздова, а тот присматривал главным образом за любимым текстом, пресекая словесные импровизации.

В «Юности коневой» дед играл мудрого крестьянина, радующегося Советской власти. Напялив рыжий парик, дед курил сигарку и рассуждал в характерной манере о политике.

— Не верю! — кричал Дроздов. — Настоящие крестьяне так не курят!

— Как же?

Дроздов неопределенно щелкал пальцами, изображая рефлексивно интеллигента в поисках папиросы.

— Вот так!

— Понятно, — говорил дед, продолжая дымить.

Одиннадцатого февраля деда от репетиций освободили.

— Ступай домой, — разрешил Дроздов. — Отдохни. Сегодня юбилей Михаила Геловани. Вечером в ВТО прочитаешь адрес, бутылку коньяка поднесешь.

С великой опаской Дроздов вручил деду армянский коньяк.

— Смотри не выпей.

— За кого вы меня принимаете? — оскорбился дед.

— За Савельева.

Дед расстроился. Исследовал бутылку на свет. Объявил:

— Ненастоящий коньяк. Вы туда чаю налили.

— За кого вы меня принимаете? — возмутился драмодел.

— За Дроздова, — парировал дед.

— Ладно, квиты, — проворчал Дроздов. — К семи часам. Не опаздывай. Вечер Чиаурели ведет. К нему обратись. Он скажет, что и как.

Настроение деда улучшилось донельзя. Любая встреча с Михаилом Эдищеровичем приближала его к мечте засветиться на экране. Хотя сценарий «Падения Берлина» деду не понравился. Вернее, очень понравился. Только роль Гитлера оставляла желать всего хорошего.

Автор сценария Павленко трактовал Гитлера как человека, по которому плачет нервный диспансер. Дед в спектаклях трактовал его так же, но не столь явно. Его Адольф становился невменяем в минуты ораторских выступлений и заседаний генштаба, где констатировалось плохое положение дел Третьего рейха. А Гитлер из «Падения Берлина» пребывал в беспроблемном состоянии на протяжении всего фильма. И дед не понимал, каким образом этот «нищий духом Шикльгруббер» держал в страхе весь мир. И почему мы его победили за четыре года, а не за шестьдесят секунд.

И все-таки он хотел играть. Бабушка ждала ребенка, и теперь дед относился к жизни с позиции юного человека, который через двадцать лет будет смотреть на экран и плакать при виде отца. Желание сохранить себя тенью на полотне заставляло его добиваться плохой роли в масштабном фильме.

Съемки планировались на весну. При встречах Чиаурели протягивал руку первый. Задавал никчемные общие вопросы. О фильме помалкивал. Дед знал, что режиссер выбирает между двумя Савельевыми. Деда и его однофамильца. Конкурента дед не боялся. Тот имел сложный характер, а Чиаурели, сам обладая характером непростым, любил натуры ясные.

Цветной Адольф почти лежал в кармане. Дед зубрил текст и подолгу корчил рожи у зеркала.

Домой дед нагрнулся в радостном состоянии. Бабушка сидела на кухне. На плите кипела кастрюля с компотом. Бурлящая жидкость переливалась через край.

— Аня, — сказал дед. — Квартиру затопишь.

— Чего так рано? — тревожно спросила бабушка.

Дед прояснил ситуацию, а также ее пользу для будущего советской кинематографии. Жена отреагировала без должного энтузиазма.



Дед сел обедать. Буравил ложкой гороховый суп. Бабушка бессмысленно мешала половником выключенный компот.

— Как поживает Голицына? — спросила она не оборачиваясь.

Дед со звоном бросил ложку.

— Ё-мое, опять двадцать пять! Очень вас это интересует. Ну что ж. Вчера моя, заметьте, любовница ушла с репетиции в неположенное время. Сегодня не пришла в положенное. То есть я ее не видел и смею думать, что уже давным-давно ношу рога.

— Не тоже так, — попросила бабушка. — Вчера машина у театра горела?

— Откуда знаешь?

— В очереди слыхала.

— Да... Там авария. Двоих задавило. Шофер, наверное, пьяный был.

Бабушка промолчала. Дед проглотил еще несколько ложек. Аппетит пропал. Он лег на диван. Раскрыл газету. Через минуту бабушка услышала его всхлипывания.

На юбилей Геловани дед пришел с опозданием. В коридоре теплился неяркий, дежурный свет. Доносилось усиленное микрофоном бормотание.

Мастер стоял прислонившись плечом к стене и грыз семечки.

— Сергей Михайлович! — обрадовался дед. — А в газете пишут, что вы умерли.

— Ерунда какая! — возмутился Эйзенштейн. — Ну, пошаливало сердечко... Недолго. Сейчас нормально работает.

— Как я рад! — воскликнул дед.

— Я тоже рад, — сказал Эйзенштейн. — Давно тебя не видал.

Дед почувствовал стыд.

— Я хотел зайти... Все собирался...

— Ладно, Володь, — успокоил мастер. — Не переживай.

Он медленно поплыл в глубь коридора.

— Сергей Михайлович...

Эйзенштейн обернулся:

— Ау?

— Вы не жалеете, что взяли меня учеником?

— Как тебе сказать, — пожал плечами классик. — Плохому я тебя не научил, а хорошего сделать не дадут.

Внезапно дед услышал перебой своего сердца. Щекой почувствовал шершавую грязь линолеума. Губами — вкус соли.

— Ерунда все, — сказал он. — Вы умерли. А сейчас это как в «Гамлете». Тень отца.

Кто-то бил его по щекам. Сквозь туман дед различил Михаила Эдишевича.

— Чего ты разлегся?

Глупо улыбаясь, дед встал.

— Дыхни, — потребовал Чиаурели.

— Странно, — усмехнулся дед. — Если человеку плохо, значит, он напился. Так получается?

Чиаурели сунул деду зерно таблетки:

— От головы.

Машинально дед проглотил.

Чиаурели следил за ним с подобием жалости.

— Говорить можешь?

— Еще как!

Через мгновение дед обнаружил себя на сцене. Руки были заняты бутылкой коньяка и адресом. Сработал инстинкт. Актер, лицедействуя, пре-

ображается. Казалось бы, только что лежал бедняга в кресле и беспричинно плакал, а сейчас отплясывает гопака, поет дерзкие частушки, и только запах перегара может сказать партнеру о его неадекватном состоянии.

Дед озвучил адрес. Помимо неотчетливых восторгов Геловани предлагалось занять место в труппе Драматического театра. Дед объяснил это вакансией на роль генсека. Он ведь не слышал остальных поздравлений, где в финале делались приглашения, настойчивые от уверенности, что юбиляр ими не воспользуется. Абсурд традиции выявляло приветствие специфически репертуарного Большого театра. Во-первых, Геловани отмечал возраст, который благоприятствует пляске святого Витта. Во-вторых, генсек, воплощенный ритмом па-де-де, носит явно легкомысленный характер.

Геловани представлял иллюстрацию коровьей мечты, по колено утопая в цветах. Он проявлял демократизм, чмокая гостей, независимо от ценности подарка. Дед обернулся к виновнику торжества, показывая коньяк. Геловани чуть приподнялся, вытягивая руки. Кончики пальцев нервно подрагивали. Как всегда, сходство актера с вождем потрясло деда. Крамольная мысль посетила его: что, если Сталин придумал Геловани и под маской удачливого актера забывает на миг дела государственной важности?

Геловани сделал попытку повиснуть на его плечах. Дед отшатнулся.

— Не надо, — глухо предупредил он, жестикулируя бутылкой.

Потеряв равновесие, Геловани упал. В зале прошелестела волна тревоги. Дед покинул сцену.

Чиаурели нервно покусывал ногти. Геловани отряхивал колени, бормоча недовольно.

— Вечные инциденты, — зло констатировал режиссер. — Ты чего стоял варежку раскрыв?

Чиаурели не воевал. Представлению о чувствах в драматичный момент пролета снаряда в сантиметре от правого уха режиссер обязан деду. Тот кинул бутылку коньяка в пространство.

— Ошалел?! — закричал автор «Падения Берлина».

Дед оставил его вопль безответным.

В подъезде его остановили:

— К Эйзенштейну? Вы родственник?

— Ученик.

— Как фамилия?

— Савельев.

Фамилию записали.

— Ученикам нельзя, — сказали ему. — Поворачивай оглобли.

## ЭПИЛОГ

Я много раз пытался досмотреть фильм «Падение Берлина». И ни разу моя попытка не увенчалась успехом. Я выдыхался под конец первой серии. Меня терзало сожаление, что вместо деда Адольфа играет другой актер. Справедливости ради надо заметить, актер хороший. Но дед мне по причине крови нравится больше.

1948-й был самым ужасным годом для деда. Его таскали на Лубянку. Интересовались Калининко, Голицыной, Чиковани. Поскольку дед имел к ним прямое отношение, то возникала проблема соучастия. Бабушка, знавшая о гибели влюбленных, молчала. Дед так и не узнал, каким образом очутился Калининко возле театра. Очная ставка с Юрой Никитиным не прояснила ему этого вопроса. Лейтенант держался с редким достоинством.

Именно его упорство спасло деда. Впрочем, Юра и сам не понимал, при чем здесь худенький человечек маленького роста.

Я часто думаю, что Бог соблюдает справедливость на этой земле. Правда, это не всегда получается. В случае с дедом получилось. Спасибо. С другими бывало много хуже и за меньшие проступки.

Говорят, что, умирая, дед вдруг рассмеялся. Встревоженная мама склонилась над ним.

— Таня, ты когда-нибудь пробовала гулять в ластах? — спросил дед.

Остались фотографии. Деда плохо видно. На фотографов ему тоже не везло.

Его часто вспоминают мама и бабушка. Доказывая истину — человек нужен только своим родным. А больше никому. Раньше эта мысль приводила меня в отчаяние. Я претендовал на внимание соседей по улице, имея в перспективе Америку и телевизионный экран.

Последнее время я думаю о дед. Человеке, который не добился славы. И отошел в сторонку. Когда родилась мама, вообще бросил театр. И больше не возвращался. Работал на радио, каким-то помощником режиссера.

Умер тихо. Безмемуарно. И Хрущев не топал на деда ногами. Потому как не догадывался о его существовании.

Он мне часто снится. Черты немногo размыты, как на плохих фото. Что-то пытается сказать.

И я жалею, что у меня такой плохой слух.



---

---

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ



ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ СЖЕЧЬ

Анкета

Я, такой-то сякой-то, \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. привести целиком  
родился \_\_\_\_\_  
(точное время, например, между пятью и шестью)  
там-то \_\_\_\_\_  
край, город, лагпункт, лесоповал, дурдом  
(нужное зачеркнуть), в семье \_\_\_\_\_  
врагов народа (указать статью)  
каторжно-ссылных (указать срок), служащих, рабоче-крестьян  
(подчеркнуть ненужное)  
Сведения о родителях: \_\_\_\_\_  
отец, мать,  
братья и сестры, прямые предки от обезьян,  
от Адама и Евы, от пришельцев (всех указать)  
Национальность \_\_\_\_\_  
перечислить 12 колен,  
выбрать одну возведением в степень в строке  
ИТОГО: \_\_\_\_\_  
Партийность \_\_\_\_\_  
беспартийная сволочь, партийная сволочь, член  
профсоюза, не член профсоюза, член чего  
Правительственные награды \_\_\_\_\_  
какие именно, когда,  
где, кем получены, за что конкретно, номера наград  
На оккупированной территории, в концлагере, в пионерлагере и т. д.  
проживал, не проживал, был проездом, откуда-куда  
Родственники за границей \_\_\_\_\_  
есть, нет, если есть — зачем,  
если нет — почему, пояснить, где именно нет  
Ученая степень: \_\_\_\_\_  
приложить список научных тем,  
публикаций, компиляций, оценить причиненный вред  
Под следствием и судом \_\_\_\_\_  
состоял, не состоял, был готов  
состоять (если был готов — указать номера статей)

---

Фролов Александр Вадимович родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-гидротехник. Работал в области реставрации памятников архитектуры. Сейчас — главный инженер Санкт-Петербургской филармонии. Печатался в журналах «Нева», «Звезда», «Аврора» и др. Автор двух поэтических книг.

Семейное положение \_\_\_\_\_  
*женат, уже холост, еще вдов*

Дети: \_\_\_\_\_  
*в браке, вне брака, и те и те*

Трудовая деятельность \_\_\_\_\_  
*общий стаж, где, как занесло,  
 за что уволен, посажен, расстрелян, отправлен в печь*

Отпечатки пальцев \_\_\_\_\_

Личная подпись \_\_\_\_\_ Число \_\_\_\_\_

Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь.

### Возвращение бревна

Уходящая натура — эти красные знамена — исходящий реквизит, — думал я: кино закончилось и смыта пленка без следа. Но какой-то осветитель полоумный выключить забыл софит. И опять стрекочет камера, а выходит только ерунда: хроника буйнопомешанная — все просто задом наперед; и президиум километровый, и в зале дружно разевают рты; и, в удавочке качаясь, Феликс бронзовый среди звезд плывет, — возвращается, всех нас оглядывая грозно с высоты. И давным-давно распиленное, склеивается опять бревно, — подставляй плечо и не жалея свой, у Версаче скроенный, пиджак. Ведь из всех искусств, товаг-гищи, для нас важнейшее — кино, как сказал один картавый... Надо же, не закопать его никак — возвращается все, возвращается, а с ним забытые Помгол-Комбед, и какие-то бруевичи, коленками назад, в Кремле — туда-сюда... Возвращаются, я чувствую нутром, все эти бревна из легенд, равно как и их таскатели-носители, герои соцтруда. Затихает в полночь настороженная наша, вечно гордая страна. Где-то там, за стенами, уже готовится, диктуется Указ... Вот объявят завтра праздник светлый Возвращения Бревна, и возьмет нас в руки, чурок бессловесных, новый Карабас.

### Урок песнопений

Что нам гаммы, чумным, не отличавшим Шопена от Шуберта, слабонервных училик изволившим одну за одной!.. Но свалился в наш бешеный класс однажды откуда-то с консерваторских небес молодой такой, заводной.

Ты в своем ли уме, малахольный учитель пения? — в шестьдесят седьмом, переломном (или как там его?..), мы разучивали под аккомпанемент твоего вдохновения, просто страшно и вымолвить: «Let my people go...»

«Отпусти мой народ... Пусть идет...» — это что-то из Библии. И какой же народ ты — с пятой своей графой, — негритянский, еврейский? крымско-татарский спасал от гибели, пригласив побродить по знакомой пустыне с тобой.

Может, нас ты спасал — всех чохом, — городских, недоношенных, недоученных, недоваренных? Да нет, ты свихнулся, поди... Нам-то что, мы-то спели. Но как было жюри огорошено комсомольского смотря... Ах, не ведал ведь, что впереди

отыграются горько все твои притчи и баечки:  
за отказом — отказ, вот тебе и заветное «...people go...».  
...Так и сгинул ты, наш вундеркинд, в больничной фуфаячке,  
ничего от тебя не осталось, ничего, ну, почти ничего...

### Ночью на переезде

Ну застряли: ночь-полночь, буераки да овраги...  
«Вот дурацкий переезд, — кто-то обронил устало, —  
прямо под локомотив поднырнули бедолаги...»  
Жуть. Но глаз не отвести от расплющенного металла.

И чего ж тут измерять для скупых зловещих актов?  
Что врачи! Тут автоген — без него не обойдешься...  
Все мы на шоссе ночном вроде горе-аргонавтов,  
но для наших Симплегад голубков не напасешься.

Слушай, слушай, парень, жизнь — это легкая добыча;  
случай моджахедом злым стережет тебя за камнем,  
рэкетиром удалым в подворотне шею бычит,  
«рафиком» без тормозов ждет за поворотом дальним;

ослепляет светом фар, выстрелившим из ниоткуда;  
вьет поземку, на шоссе образует швы и складки...  
Радуйся, что ты еще, как ни странно, жив покуда.  
А покуда жив еще, — дуй отсюда без оглядки.

Уезжай, катись, плыви. К дому, к дому! Между прочим,  
там семья твоя уже обзвонила все больницы.  
Успокойся, случай твой — впереди, а этой ночью  
не с тобой случилось то, что могло с тобой случиться.

### Ссора

В результате: выходит в тамбур покурить сосед...  
Что за вспышка, господи, что за неожиданный пыл:  
перебранка за переборкой тонкой — ну и сюжет!  
На какой странице ты книжку в сердцах закрыл?..

Может быть, это история про дальние поезда...  
То есть когда на подножку вскакиваешь, махнув рукой,  
чтобы в конце концов оказаться вовсе не там, куда  
намеревался попасть. Вовсе не с тем. Не с той...

То есть когда, впопыхах в чужую вбжевав  
жизнь, с дымящейся головы сорвав картуз,  
ты понимаешь, что попался, что был не прав;  
ехать некуда, незачем. И твой заплечный груз

навсегда с тобой — назови судьбой, горбом;  
назови как хочешь, — когда смысл теряют слова,  
провисают они, как провода, обросшие льдом.  
Напряжение гасится. Я не прав. Ты — права.

И возможно, эта история — про долгий путь:  
полосатые тюки, знакомая одурь... и все не впервой...  
Остается глазок продышать в оконце, прильнуть,  
разглядеть, как одиночество нас обступает стеной.

\* \*  
\*

Вот береговая перспектива:  
ничего не видишь дальше мыса...  
На песке у самого залива  
то ли кошка бродит, то ли крыса  
водяная... или просто ветер  
треплет клочья побуревшей рвани.  
Где-то за спиной курлычут дети,  
от присмотра спрятавшись в тумане  
за осокой. В их смешные игры  
ты не принят со своей тоскою;  
между мысом Икс и мысом Игрек  
наблюдай за мелкою волною.  
Но не повторяй, что сиротливый  
в межсезонье пляж уныл и грязен;  
щепки, пробки, банки из-под пива —  
мир вокруг вполне разнообразен  
и без пресловутой шири-дали...  
Может, в этом вся твоя награда:  
не чураться ни одной детали,  
что пылится в двух шагах от взгляда...  
Брошенный бивак, ветрам открытый, —  
вот навар с твоих скупых вложений:  
голый пляж и голые ракиты.  
Голые стихи. Без украшений.



---

---

## ДЕНИС НОВИКОВ

\*

### ПРЕДЛОГ

\* \*  
\*

Не играй ты, военный оркестр,  
медью воздуха не накаляй.  
Пусть Георгий таскает свой крест,  
да поможет ему Николай.

То он крест из бесчинства пропьет,  
то он дедовский орден проест...  
Это я не про русский народ.  
Все в порядке, военный оркестр.

\* \*  
\*

*Г. И.*

Все сложнее, а эхо все *проще*,  
*проще*, будто бы сойка поет,  
отвечает, выводит из роши  
это эхо, а эхо не врет.

Что нам жизни и смерти чужие?  
Не пора ли глаза утереть.  
Что — Россия? Мы сами большие.  
Нам самим предстоит умереть.

### Институтка

По классу езды и осанки  
ты кончила Смольный,  
сокрытый от смертных с Лубянки,  
надомный, подпольный.

Какие-то, чую, мамзели  
тебя обучали  
искусству сходить с карусели  
без тени печали.

\* \*  
\*

ну при чем здесь завод винно-водочный  
винно-водочный только предлог  
это кровью и слизью чахоточной  
русский жребий изгваздал порог  
это русская женщина с тряпкою  
необидное слово твердит  
и на гвоздь с покосившейся шляпкою  
осмотрительно коврик прибит

---

Новиков Денис Геннадиевич родился в 1967 году в Москве. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался в «Новом мире», «Знамени», «Синтаксисе». Автор двух поэтических книг. Живет в Москве.



\* \*  
\*

До радостного утра иль утра  
(здесь ударенье ставится двояко)  
спокойно спи, родная конура, —  
тебя прощает человек-собака.

Я поищу изъян в себе самом,  
я недовольства вылижу причину  
и дикий лай переложу в псалом,  
как подобает сукиному сыну.

### Только для белок

простите белки красно-серые  
с небес сбежавшие поесть  
что я то верю то не верую  
что вы и мы на свете есть

на берегу залива финского  
в лесу воистину стоим  
а может только верим истово  
как белочки глазам своим

\* \*  
\*

Небо и поле, поле и небо.  
Редко когда озерцо  
или полоска несжатого хлеба  
и ветерка озорство.

Поле, которого плуг не касался.  
Конь не валялся гнедой.  
Небо, которого я опасался  
и прикрывался тобой.

\* \*  
\*

Там, на родине певчего робина  
(«реполов» — перевел Пастернак,  
вот и я не старался особенно  
и себя перевел абы как)...

Ударит крупной трелью реполов...  
попивая амброзию с тоником,  
столько сердца потратил на птиц...

Там, на родине Китса, за столиком,  
где, согласно преданию, Китс,

У меня получилось не очень-то,  
но и сам Пастернак не посмел  
отделить реполова и кочета  
от малиновок и филомел.

### Жизнь

Теснее, и проще, и строже  
мужчины общаются с ней.  
Как с женщиной, Господи Боже!  
А я не желаю тесней.

Мне кажется, тесно и строго  
и так уже в доме моем,  
как будто под Господа Бога  
часть зданья сдается внаем.

И жизнь для меня — прихожанка,  
Мария, что в прошлом грешна,  
а ныне — твердыня, жестянка,  
гражданка, чужая жена.

\* \*  
\*

если прожил я в полусне  
и пути мои занесло  
и стихи мои в том числе  
заплутали на полусло

если улицы и дома  
сговорившись с ума свести —  
самых склонных свели с ума  
в том числе и мои стихи

если ты поправляя прядь  
так и вспыхнешь читая их  
будто это не просто ядь  
а к невесте писал жених

\* \*  
\*

еще моя молитва  
не произнесена  
еще на грунт палитра  
не перенесена  
она на самом деле не так уж и бедна  
но краски оскудели и вся земля видна



---

---

## РОМАН СЕНЧИН



# АЛЕКСЕЕВ — СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

*Рассказ*

— Раз, два, три, ч-четыре. Раз, два, три, ч-четыре...

Илья Павлович Алексеев положил гантели на край коврика, помахал руками, глубоко выдохнул. Смачно потянулся, похрустел суставами. Затем стал приседать, сомкнув кисти рук на затылке.

— Раз, два, три, ч-четыре. Раз, два, три, ч-четыре...

В окно смотрит свежее, слепящее солнце, на кухне готовит завтрак жена. Проигрыватель крутит пластинку «Спейс», под музыку которой Илья Павлович каждое утро делает зарядку, набирается бодрости. Но немного и грустновато, как обычно бывает осенью. Вот скоро солнца не будет в окне — с каждым днем оно все ленивее выползает на небо, все короче его путь с востока на запад. Впереди долгая и неживая зима, но потом, после нее, как всегда, вернется весна, снова зацветет земля яркой зеленью, загомонят воробьи на тополях во дворе.

— Ребятки, — позвала жена, — почти готово!

— Да-да! — Илья Павлович поднялся с коврика.

Он еще немного попрыгал, помахивая руками, расслабляя и собирая тело, чувствуя, как налились силой мышцы. Наконец шумно дыхнул и успокоился. Снял с проигрывателя пластинку, спрятал в конверт. Гантели закатил под диван, свернул и убрал в шифоньер коврика. Взглянул на часы: без пятнадцати восемь.

Наскоро сполоснулся под душем холодной водой, растер спину и грудь полотенцем. Побрился, прыснул на лицо одеколона. Оделся в отутюженный, свежий костюм.

Жена и сын уже завтракали. Кухонное радио-коптилка невнятно бубнило о чем-то, создавало атмосферу уюта.

— Садись, я тебе вот положила, чтоб остывали. Да уж, наверно, холодные совсем...

— Спасибо. — Илья Павлович опустил на табурет напротив жены, положил на колени чистую салфетку. — У, пельмешки! Когда ты успела?

Ели основательно, чтоб голод не мучил в течение дня. Сын, сегодня вялый и молчаливый, отодвинул наполовину полную тарелку, в несколько глотков выпил чай со сливками, встал из-за стола.

— Спасибо...

— Ты чего такой? — удивился Илья Павлович. — Случилось что?

— Да нет, — замылся сын Виктор, потом сказал: — Это, у Ирки Чепурновой день рожденья сегодня. Собирают на подарок...

— Сколько?

— По пятьдесят.

---

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле. Учится в Литературном институте им. А. М. Горького. Живет в Москве. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Литературная учеба». В «Новом мире» публикуется впервые.

— Гм... — Илья Павлович вытер салфеткой губы. — Это что за подарок такой? «Вольву» ей купить собираетесь?

— Ну, что-нибудь, я не знаю... Торты еще, чаепитие...

Алексеев посмотрел на жену.

— Как, мама Таня, выделим?

Решили выделить. Виктор повеселел, сел обратно за стол, торопливо доел пельмени.

— Не опоздай, сынок, уже восемь, — сказала мать. — После уроков сразу домой, я талон взяла к стоматологу на три часа. Сходим проверим твои зубы.

— У меня же не болит.

— Все равно надо, чтоб посмотрели. Ты можешь не замечать, а потом поздно будет — зуба лишишься.

— Да ну... — поморщился Виктор.

Илья Павлович осадил сына:

— Хорош, хорош. Предупредить всегда легче, чем лечить. — И уже мягче, жене: — Н-ну, спасибо, Танюша! — Встал, поцеловал ее в щеку. — Надо бежать.

— Я сегодня дома останусь, здесь почитаю спокойно. Договорилась, в редакцию не пойду.

— Хорошо. Я тебе звякну, если что...

Улица кипела спешащими людьми, беспокойными колоннами автомобилей. Общая суета подхватила Илью Павловича, и он, все убыстряя шаг, направился к троллейбусной остановке. Приятное, погожее осеннее утро, солнце на чистом небе лишь в первый момент, как вышел из подъезда, отозвались в его сердце тихой волной радости, и тут же ее заслонили дела предстоящего дня, лица озабоченных пешеходов... Илья Павлович втиснулся в плотную стенку из спин, надавил.

— Уплотнимся, товарищи. Так-так!.. Спасибо.

Дверцы с шипеньем сомкнулись, троллейбус тронулся. Пассажиры были молчаливы и напряжены, смотрели в окна, на одежду соседей, избегая встречаться глазами.

По салону, бойко работая локтями, словно веслами, пробиралась кондукторша. Покряхтывала от напряжения, объявляла:

— За проезд рассчитываемся, пожалуйста! Рассчитываемся...

— У меня проездной, — сказал Илья Павлович, когда кондукторша добралась до него.

— Покажите.

Ему пришлось кое-как вытаскивать из внутреннего кармана куртки проездной в жесткой пластиковой оправе.

До места работы семь остановок. Троллейбус то пустел наполовину, то опять набивался до отказа. Илья Павлович заранее стал протискиваться к выходу. Его остановила у дверей кондукторша:

— Вы рассчитались, молодой человек?

— Я уже показывал вам проездной.

— Да? Ну ладно...

Алексеев сошел с троллейбуса, оправился. Перед ним двенадцатиэтажное здание областного телецентра. Здесь он и работает кинооператором.

— Здравствуйте, — кивнул вахтеру, в нижнем фойе мельком показал пропуск.

Взбежал по лестнице на четвертый этаж. Там сидел другой вахтер. Ему пропуск не нужен, он знает сотрудников в лицо.

— Из наших кто есть? — спросил Илья Павлович.

— Еще нету. — Вахтер подал ключ.

В кандейке операторов пусто. Застоявшийся запах сигаретного дыма. Илья Павлович снял куртку, кепку, причесался. Приоткрыл форточку. Включил телевизор, сел в кресло.

Вскоре стали подтягиваться остальные. Здоровались, вяло переговаривались, курили. Потом принялись доставать из шкафов камеры, осматривали их, проверяли батареи. Потом секретарь принесла план работы на день. Илье Павловичу сегодня досталось быть дежурным. Значит, сидеть здесь, по срочному сообщению выезжать на съемку. У других — командировки по области, освещение заседания городского совета, открытие математической олимпиады в Педагогическом университете...

— Повезло, Илья, — завистливо сказал один из операторов, Петренин, — а мне весь день парься, депутатов с их речами снимаю.

— Завтра меня к ним отправят, — пообещал Илья Павлович.

Петренин хмыкнул:

— Тоже верно.

В кандейке происходили сборы:

— Ребята, кому я вчера микрофон давал?

— А село Соловьево, это где?

— О-о, парнишка, за полями оно, за лесами. Далеко-далеко...

— Что, серьезно?

— Да брешет он. Километров сорок, не больше.

— Черт, да где ж микрофон-то?!

Постепенно расходились, сопровождаемые оруженосцами-осветителями.

Оставшись один, Илья Павлович занялся просмотром старых репортажей, предназначенных для затирки новыми. Ничего интересного, что можно пощадить. Отрывки с очередного премьерного спектакля в драматическом театре, интервью с главным режиссером, актерами, зрителями; рядовой гаишный рейд на дорогах; съемки на птицеводческой ферме, которой исполнилась круглая дата... В конце концов Алексеев выключил видеоманитофон и телевизор, вышел, замкнул кандейку. Отдал ключ вахтеру, предупредил, что он в буфете.

В просторном, уютно отделанном зале одиноко сидел журналист Давыдин, читал и правил какую-то рукопись, изредка отпивал из чашки. Илья Павлович купил себе кофе, подсел к Давыдину.

— Над чем кумекаешь?

— Да вот, — Давыдин оторвался от бумаг, взялся за чашку, — решил фильмец короткометражный заснять.

— У-у... — спокойно удивился Илья Павлович. — И о чем?

— Это... это по Федору Сологубу, — заторопился Давыдин. — За основу взят рассказ «Свет и тени». Не читал? Ну и из других рассказов отдельные сценки. Фильм минут на двадцать пять — тридцать. — И журналист добавил заверительно: — И малобюджетный!

Илья Павлович пожевал губами:

— Гм... Дело непростое.

— Непростое. Но выполнимое... Там сюжет такой. Рассказать? Живет, в общем, мальчик, хороший, прилежный мальчик Володя. У него мама, они друг друга любят, то есть дружеские такие отношения. Все хорошо. И мальчик вдруг находит журнал, где есть картинки теней. Ну, руками делают такие, — Давыдин что-то попытался изобразить, сплетя пальцы, — и на стене силуэты всякие. Ну, понимаешь, надеюсь, да?

Илья Павлович кивнул, но ему стало уже скучно и неприятно слушать, к тому же он догадывался, куда клонит Давыдин.

— ...И вот заражается наш Володя тенями. Тайком вместо того, чтоб делать уроки, все пытается копировать из книжки тени. Мама застает его за этим раз, другой... — Журналист рассказывал все быстрее, увлекаясь,

захлебываясь, даже про кофе забыл. — Она замечает, что с сыном что-то не то, какой-то он стал странный. Ведет его к врачу...

Буфетчица, наскучив бездельем, вышла в зал, принялась протирать и без того чистые столы, проверять солонки, горчичницы хорошо ли заправлены; салфетки в вазочках даже, кажется, пересчитывала.

— ...А действие происходит в конце прошлого века, и такие есть сценки... мистика, виртуальность самая настоящая! Как тени живут своей жизнью, следят за людьми, готовятся их поглотить... У Володи видения...

Слушать тараторенье Давыдина стало совсем невмочь. Илья Павлович ругал себя, что дал ему повод разговориться. Наконец не выдержал, перебил:

— Заманчиво, конечно, но дело все-таки непростое. В наших условиях...

Давыдина он и раньше считал чудачком — вечно тот носился с какими-то оригинальными проектами, пытался найти единомышленников среди сослуживцев, но такое — чтобы снять художественный фильм... Это уж просто ни в какие рамки, как говорится.

— Да можно, Павлыч, можно! — не согласился Давыдин. — Во-первых, сценарий готов, все выверено, просчитано. Время, раскадровка, декорации... Во-вторых, я договорился уже с актерами из театра, с Согоновской — она мать будет играть — и еще там с несколькими на другие роли. Все согласны, бесплатно, причем еще и рады попробовать. Детей подобрал в Доме творчества юных. На роль Володи парнишка есть гениальный просто! Это насчет актеров. Теперь — костюмы...

— Ну, это все ладно. А сами съемки? На что хотя бы снимать собираешься?

— Да хоть на бэтакам! Сейчас масса фильмов, особенно эти сериалы, они все на бэтакам идут. Качество приличное. И монтировать на нашей аппаратуре запросто можно, озвучить... — Давыдин шумно вздохнул, а потом, не меняя тона, такой же увлеченной скороговоркой выпалил: — Давай, Илья Павлович, подключайся! А? Ты оператор отличнейший, лучший у нас. Давай, Павлыч!

Алексеев усмехнулся:

— Интер-ресно, конечно... А начальнички наши как?

— Что... начальники... — Журналист поморщился, на секунду как будто поблек и подостыл, а потом продолжил по-прежнему быстро, возбужденно: — Какое им дело и нам до них?! Сами все сделаем... С ними переговоры вести — начнется. «Да вы что!.. А это как? Вряд ли получится... Лучше не надо...» Сами снимем. А если, — Давыдин понизил голос, глаза его округлились, — а если получится! Представь, Павлыч! Можно же так развернуть это дело! Ух... Можно свою студию открыть, в фестивалях участвовать...

— Мда... — Илья Павлович допил кофе, поднялся. — Заманчиво.

— Действительно? Ну как ты, подключаешься?

— Можно, конечно, — раздумчиво-уклончиво протянул Алексеев. — Взвесить все надо, подготовить...

— Да уже звешено! — И словно в подтверждение Давыдин схватил и покачал пачкой бумаг. — Вот сценарий, все-все готово... Даже парты старинные в тридцать первой школе на складе нашел!.. Все, теперь только осталось отснять... Почитай, Павлыч, а?

Алексеев замялся, потом принял исчерканную, потасканную рукопись.

— Почитаю, завтра верну.

— Да-да, — кивал Давыдин, с надеждой глядя на оператора.

Маша Скворцова из молодежной редакции, ведущая программы «Рост», была единственным человеком, по-настоящему доставляющим Илье Павловичу неприятности. Точнее — проблемы. Вот уже больше чем

полгода Скворцова преследовала его. Началось с восьмого марта, на банкетике, посвященном Женскому дню. Илья Павлович, видя, как Маша одинока, грустна, решил сделать ей приятное, поухаживать. Танцевал с ней, наливал ей вино, следил за ее тарелкой. И надо ж было, чтобы Маша приняла это всерьез...

Нельзя сказать, что она совсем несимпатична, непривлекательна. Стройная, довольно высокая, молодая, но почему-то не пользующаяся вниманием у мужчин. Что-то есть в ней неуловимое, необъяснимое, что отталкивает от нее людей. Не во внешности, не в характере, не в поведении, но в то же время, кажется, и в том, и в другом, и в третьем...

— Здравствуйте, Илья Павлович, — сказала Маша и остановилась.

Илье Павловичу тоже пришлось остановиться.

— Здравствуй, Мария Скворцова, — шутливым тоном постарался ответить он. — Как творческие и личные успехи?

Они стояли в узком полутемном коридоре. Справа и слева в стенах — двери различных отделов, комнат редакторов, корректоров. А дальше по коридору открывается светлый холл с теплолюбивыми растениями в кадках, большим, от потолка до пола, окном. Удобные кресла, урна для окурков, столик с журналами. Там как раз собирался посидеть Алексеев, отдохнуть после разговора с Давыдиным.

— Хорошо, Илья Павлович, спасибо... Все, в общем-то, хорошо, — скрыто-нервным голосом отвечала Маша. — Вот сегодня с утра смонтировали передачу. Все идет. А у вас как?

— Так, — пожал плечами Илья Павлович, — болтаюсь без дела. Дежурным сегодня.

— А что это у вас? — чтобы продолжить разговор, кивнула Маша на свернутую в трубочку рукопись у него в руке.

— Да Давыдин дал почитать. Сценарий. Хм... Задумал он снимать, понимаешь, фильм художественный. — Бессознательно в голосе Алексеева появилась ирония. — Меня подбивает оператором быть у него.

— Угу-угу, слышала что-то про эту идею, — сказала Маша. — Интересно, что получится.

— Как сказать... вряд ли... Ну ладно, Мария Скворцова. Пойду почи-таю! — Алексеев улыбнулся на прощанье, хотел было идти дальше, но Маша тихо и жалобно попросила:

— Мне надо... надо очень поговорить с вами, Илья Павлович. Можно? Пожалуйста...

— О чем? — испугался он. В голове мелькнуло: «Вот, черт, одно за другим. Остался на свою голову в родном телецентре!»

Маша как-то по-воровски глянула налево, направо, кивнула в сторону холла:

— Давайте туда, там сядем спокойно.

Илья Павлович первым пошел по коридору. Настроение испортилось окончательно. На плечи надавило что-то тяжелое, гнуло его, мяло. Стучащие по паркету каблуки Машиных туфелек иглами кололи уши... Сначала идиот Давыдин, теперь вот эта проходка не дает...

Опустились в мягкие большие кресла, в которых невозможно сидеть иначе как развалившись, откинувшись на спинку. Маша достала тонкую сигарету, закурила, уставилась на стенд с расписанием эфира на текущий месяц.

— Гм, — кашлянул Илья Павлович. — И о чем же...

Маша как будто только ждала его слов, сразу быстро начала:

— Мне надо сказать вам. Я давно собиралась, но все не могла решиться. Это тяжело, вы понимаете... Я пыталась бороться, я даже себе боялась признаться, да и сейчас... Сейчас тем более. — Она несколько раз подряд затянулась, не успевая выпускать дым, бросила сигарету с искусанным фильтром в урну. — Илья Павлович, пожалуйста, скажите мне, скажите

грубость какую-нибудь, что-нибудь плохое скажите. Пожалуйста! Я вас... нет, это нельзя, нет...

И так же резко, как начала, замолчала, по-прежнему пристально, но слепо глядела на стенд.

«Вот так вот», — крикнул про себя Илья Павлович и поднялся.

— Куда вы? — умоляюще всхлипнула Маша.

— Извините, дела.

— Что мне делать, Илья Павлович?

— Н-не знаю. Я ни в чем не виноват. У меня... у меня семья, растет сын. — Ему стало стыдно за эти слова, за саму ситуацию, и уже зло он закончил: — Прошу вас оставить меня в покое. Ясно?

— Спасибо, — снова всхлипнула Маша, теперь благодарно.

Алексеев торопливо дошел до вахты, забрал ключ, укрылся в кандейке. До конца рабочего дня еще четыре с лишним часа... Если она явится сюда — действительно, отматерить, чтоб волосы дыбом встали. Что это еще за дела? Дикость какая-то!.. Илья Павлович ходил из угла в угол по тесной кандейке, возмущенно сопел, прислушивался к шагам по коридору... Девчонка, дура... Нашла к кому клеиться... Он посмотрел в зеркало на стене, инстинктивно поправил чуть сбившийся галстук, пригладил волосы. Хм... Да, и не скажешь, что сорок пять почти. Моложавый, опрятный. Мужчина, как говорится, в расцвете лет.

В кандейку ввалился Петренин, за ним осветитель Саша Германов.

— Ох, и не чаяли выбраться из муляжника этого, — снимая с плеча футляр камеры, выдохнул Петренин.

— Закончилось? — отозвался Илья Павлович. — Рановато сегодня.

— И слава богу, слава богу... — Оператор бухнулся на диван, достал сигареты. — А у тебя как? Выездов не было?

— Нет, жду вот.

Саша Германов, длинноволосый сухощавый парень в металлистском балахоне, укладывал штативы в кабинку; спросил Алексеева, который как раз занялся просматриванием сценария:

— Чего читаете?

— Да Давыдин дал вот... Фильм снимать...

Германов оживленно перебил:

— Идея классная! Я уже читал... как его... «Свет и тени». Подписался участвовать.

— А что такое? — заинтересовался Петренин. — Какой еще фильм?

— Леха Давыдин написал сценарий, короче, — стал рассказывать осветитель, — по какому-то классику прошлого века. Отличный, кстати, сценарий. И вот думает фильм теперь попробовать снять.

— Глупости, — буркнул Илья Павлович.

Германов чуть обиделся:

— Почему же глупости?

— А кто финансирует? — задал уместный вопрос Петренин.

— Да там и затрат, по существу...

— Это на первый взгляд всегда так, — раздражаясь, сказал Илья Павлович, убрал сценарий в свою сумку. — А потом глядь — откуда они и берутся, затраты...

По коридору тяжелые шаги и зычный, взволнованный женский голос: «Где Алексеев? У себя? Илья-а!..»

— Что там такое! — Илья Павлович вскочил, побледнел моментом. — «Неужели Машка что...» — стукнуло в голову.

Вбежала Марина Олеговна Семак, пожилая, полная, но бойкая журналистка, специализирующаяся на из ряда вон выходящих событиях.

— Илья Павлыч, собирайся! Готов? Батарей побольше бери.

Алексеев поморщился:

— Зачем так кричать... — Стал укладывать камеру в футляр.



— Куда едете? — спросил Саша Германов возбужденно, еще не успев остыть от начавшегося спора о фильме.

— На перчаточную. Опять беспорядки. Рабочие трассу перекрыли, директора держат, — скороговоркой отвечала Марина Олеговна, наблюдая за собиравшимся Алексеевым.

— А можно мне с вами? Может, подсветить там...

— Давай, Саша, конечно.

Втроем они быстро спустились во двор телецентра, влезли в гудящий «уазик».

— Давай, Гена, гони к перчаточной! — велела Семак водителю.

Перчаточная фабрика находится на окраине города. И путь бригаде предстоял неблизкий — минут двадцать, да и то опытный Гена старался миновать оживленные улицы с их неизбежными светофорами, пробками. Марина Олеговна все же подгоняла:

— Ген, прибавь газку, не дай бог не успеем. Сорвется сюжет.

«Уазик» от быстрой езды потряхивало, мотор ревел, в салоне пахло сгоревшим бензином. И в такой обстановке совсем уж раздражающе-глупа была реплика осветителя.

— Все-таки, Илья Павлович, зря вы так скептически настроены по поводу фильма, — громко, почти в лицо Алексееву сказал он. — Парень Давыдин пробивной, с головой...

— Саша, здесь не место об этом рассуждать, — перебил Илья Павлович и стал смотреть в окно.

Ехали по узким укронным улочкам. Чем дальше от центра, тем все ниже и грязнее здания; вот пошли и бесконечные кварталы одноэтажных домишек, обнесенных черными глухими заборами. Город в этом направлении последние десятилетия не развивался. Так получилось, что почти все промышленные предприятия, еще с давних пор, строились здесь, одно вблизи другого. Кожевенный, деревообрабатывающий заводы, мебельная и перчаточная фабрики, ЖБИ, нефтебаза, элеватор, ТЭС... Вокруг предприятий выросли жилые постройки — тоже серые и скучные, как здания заводских корпусов, — ветхие избышки, двухэтажные бараки, возле которых жались худосочные огородики. Район этот называли в народе Рабочей слободкой, а официально — Промзона. Телевизионщики в последнее время бывали здесь частыми гостями: то забастовка, то поход рабочих к городской администрации, то различный криминал, чаще на бытовой почве, то проблемы чисто производственные — авария на ТЭС, взрыв зерна на элеваторе, угрожающее скопление древесины на маломощном деревообрабатывающем заводе... Сейчас вот опять ехали туда за горяченьким, да и почти сенсационным материалом: рабочие перекрыли движение по автотрассе федерального значения. Семак лихорадочно торопила водителя и еще заранее предупредила оператора:

— Илья, камеру приготовь, чтоб там сразу начать работать. Снимай все подряд, потом разберемся. — Нахмурилась, вспоминая: — Да, что вы там про Давыдина говорили?

Илья Павлович отмахнулся:

— А-а, пустое, так...

— Он фильм задумал снимать. Короткометражку, — заговорил Германов бойко, как очень заинтересованный человек. — Идея замечательная у фильма, никакого насилия, этой дешевой зрелищности. По рассказу какого-то писателя... забыл, как зовут...

— М-да, — усмехнулась Марина Олеговна. — Этот Давыдин... Вечно у него... А о конкретной работе, за что ему деньги платят, вконец забыл. Что он сделал за последнее время? — Обернувшись со своего переднего сиденья, она выжидающе смотрела на Германова, на Илью Павловича. Сама и ответила: — Ничего, кажется. Ничего, что заслуживает мало-мальского ин-

тереса. А вот фильм, это, конечно, — она снова усмехнулась, — это по его одаренности, его масштабы.

— А и неплохо бы, — подал голос водитель Гена. — Может, когда-нибудь и «Мосфильм» обгоним, глядишь.

Семак, явно начиная злиться, подытожила:

— Давайте, господа, своими обязанностями заниматься!

«Вот-вот», — в душе согласился Илья Павлович.

Саша Германов всем своим видом показывал, что не согласен, но спорить с нахрапистой и вспльчивой Мариной Олеговной не решился.

Возле ворот проходной толпились люди, человек больше ста, в основном женщины. «Уазик» остановился на площадке для служебных автобусов, привозящих на фабрику и развозящих по домам рабочих. Ничего воинственного в поведении людей заметно не было, казалось, они просто ждут автобус после смены.

Марина Олеговна, открывая дверцу, скомандовала:

— Ну, вперед! Илья, ты в гущу лезть не спеши, я разберусь сначала, выясню, что там... Снимай пока общий план.

Она пошла к людям. Алексеев остался около машины, открыл объектив, поставил камеру на плечо, микрофон держал в руке.

— Что-то на беспорядки-то не похоже, — сказал Германов, озираясь по сторонам.

Семак разговаривала с женщинами. И те быстро возбудились, окружили ее, голоса стали громкими и злыми; Марина Олеговна оглянулась на Илью Павловича, тот пошел к ней, на ходу снимая.

— ...Невозможно так больше! Терпим, терпим, а только хуже!.. Что мы, зверье, что ли, какое?! — наперебой выкрикивали работницы, все как на подбор немолодые, измотанные, некрасивые. — Как в какое-то средневековье снова свалились — и никому ничего!..

— Так, так! — кивала Семак, принимая у оператора микрофон; выкрики все нарастали, и она, подняв руку, приказала: — Давайте спокойно поговорим, по порядку!

— Да как тут спокойно?! Это вам можно спокойно!.. — заверещала маленькая, вертлявая полустаруха в бордовом, из искусственной шерсти берете и стареньком, купленном скорее всего в «Детском мире» пальтишке. — Лучше тогда закройте ее, эту фабрику чертову, чем так! За полтора года три раза кассу открывали. Сунут подачку какую-то — и снова работай за так. Это что ж такое?!

— Вот выволочут сейчас его, мы его на куски... — с холодной, закаменевшей злобой сказала другая женщина, сухая, высокая, некогда очень, наверно, симпатичная. — Разъелся, сволочь... Всё мы про него знаем.

— Китайцы вон все рынки позанимали, своими носками, перчатками торгуют сидят. А наше где?

Илья Павлович снимал женщин, беспомощную Марину Олеговну, тщетно старающуюся сделать приемлемый репортаж, с вопросами и ответами. Работницы снова загомонили все разом, не стесняясь камеры, сыпали матом, неразборчивыми восклицаниями... Кто-то крепко пихнул Алексеева в бок, так, что камера чуть не слетела с плеча. Забыв выключить, он ее опустил, опасаясь следующего толчка. Рядом с ним стояли трое мужчин. Передний, здоровенный, лобастый, тоже немолодой, с красной повязкой на правой руке, густым басом заговорил, обращаясь к женщинам:

— Чего вы с ними ля-ля заводите? — С ненавистью, исподлобья глянул на журналистов. — Они ж все по-своему переделают, чего б вы тут ни распинались. Вас дурами и покажут.

— Гнать их отсюда! — рявкнул другой мужчина.

Женщины тут же их поддержали:

— Смотрим мы ваши программы! Гады продажные!

— Жареного захотелось?!

— Спихнуть их машину в овраг, пускай, ха-ха, делом займутся!

— И-ишь! — Маленькая, в берете, дернула Илью Павловича за полу пиджака. — Гладенькие какие! Хорошо, видать, за помои ваши плотют!

Журналистов стали теснить к «уазуку». Алексеев попытался было снять, но ему не дали.

— Шас хрясну твою игрушку, тогда наснимаешь! — пригрозил обещающим басом лобастый.

Семак махнула рукой:

— Ладно, Илья, пошли отсюда.

Поехали к трассе. Марина Олеговна говорила в свой сотовый телефон:

— Да, настроены крайне агрессивны. Кое-что успели отснять, но мало совсем. Чуть было не прищучили нас. Да... Не понимаю, почему милиции нет до сих пор. Кажется, пытаются до директора добраться, угрожают, что, мол, на кусочки его разорвут. Что?.. Да. Высылайте машину к фабрике, а мы на трассу. Попытаемся там что-нибудь... Ну, все. Да... — Положила телефон в нагрудный карман куртки, глядя вперед, на открывающуюся степь за недостроенным когда-то, а теперь разрушающимся скелетом несостоявшегося завода, вздохнула: — Н-да, господа, веселенькое наклеывается дело...

В голосе ее за вздохом скрывалась радость, охватывающая журналиста в тяжелой ситуации. Чем опаснее и напряженнее обстановка, тем интереснее, значит, получится репортаж... И совсем по-боевому она отдавала приказы:

— Гена, ты сидишь в машине, мотор не глуши. Понял? Мало ли что. Ты, Саша, при Илье Палыче, телохранителем. Открути от штатива трубку. Так. У меня диктофон... — Марина Олеговна проверила висящий на ремне джинсов маленький диктофон, — в порядке.

«Уазик» выбрался с разбитой, ухабистой грунтовки на новенький асфальт широкой трассы.

— Вон, налево заворачивай, — кивнула Семак.

— Вижу я, вижу, — выворачивая руль, прорычал Гена.

Вдалеке разноцветие многих автомашин. Легковушки, высокие пульманы и фуры дальнобойщиков; среди них мельтешат люди.

— Ну, дай-то бог, чтоб все удачно, — бормотнула Марина Олеговна, нетерпеливо и нервно ерзая на сиденье.

Возвращались уже в сумерках. Молчали. Все, кроме некурящего Илья Павловича, тянули сигареты одну за одной. Уставший Гена не жалел «уазика», колеса то и дело находили выбоины, пассажиры подпрыгивали, чуть не доставали головами до тента.

Только когда въехали во двор телецентра, Марина Олеговна, словно не решаясь раньше, удовлетворенно выдохнула:

— Вот-с, господа, и готово. Сейчас обработаю, в десятичасовых новостях запустим... Спасибо за службу, орлы!

— Уху, — обиженно хмыкнул осветитель Саша, потирая ушибленное плечо, — а мне за штатив отвечать. Черт меня дернул с вами...

— Ничего, спишем как боевую потерю, — успокоила Семак.

Илья Павлович был в плохом настроении. Еще со съемок позвонил домой сообщить, чтоб не волновались, он задерживается, жена расстроенным голосом ответила: сына нет и нет, в поликлинику они не попали. «Вечером разберемся», — торопливо пообещал Илья Павлович, поймав взгляд Марины Олеговны, недовольной, что он так долго говорит по дорогостоящему средству связи... Теперь вот предстояло отчитывать сына, а это Алексееву всегда было как-то неловко.

Тяжело поднялся по черной лестнице, избегая разговоров со встречающимися, закрыл камеру в шкаф, сдал ключ на вахту и, не прощаясь с Мариной Олеговной, отправился домой.

Троллейбус почти пустой, много свободных мест. Основной поток возвращающихся с работы давно миновал. Илья Павлович сел, положил сумку на колени. Снял кепку, вытер платком лоб.

— За проезд рассчитываемся, — остановилась над ним кондукторша.

Илья Павлович пошарил в кармане, показал проездной.

Кондукторша недовольно кивнула, опустилась на ближайшее свободное сиденье, принялась сортировать деньги. Илья Павлович смотрел, как мелькают в ее руках синие, зеленые, розовые бумажки, мятые и свеженькие; почему-то не мог оторваться. Ему захотелось спросить, сколько получают кондукторы и какой у них в среднем сбор за смену, какой график работы. Одумался, не спросил. Дернул головой, уставился в окно, за которым светится тысячами разноцветных огней вечерний город.

Еще завтра, послезавтра — и суббота. Два совсем свободных дня. Может быть, выберутся семьей на дачу. Там много бы еще надо сделать до снега. Пора и яблоньки, вишни, викторию укрыть, ботву и мусор сжечь, развинтить поливные трубы... Да, обязательно надо съездить. Погода как раз самое то. А через неделю, глядишь, уже и зима навалится...

На качелях на детской площадке сидит человек. Слегка отталкивается ногами от земли, покачивается, и по двору, в прохладном, мертвеем воздухе, плывет ленивый, наводящий тоску и беспокойство скрип заржавевших подшипников.

Алексееву до своего подъезда остается десятка два шагов. С качелей окликнули: «Илья! Илья, погоди». Илья Павлович узнал этот голос. Поморщился, остановился.

К нему шел Максим Петров. В старом плаще, патлатый, щетинистый, заметно постаревший за те несколько месяцев, что они не встречались.

— Здравствуй, Илья, — тревожным, опасливо-заискивающим голосом поздоровался Максим, протянул руку.

— Здравствуй.

— Как живешь? М-м... Как семья?

— Да так же. — Алексеев пожал плечами. — Все так же.

От Максима попахивало свежей водкой, но пьяным он не казался — скорее растерянным и расстроенным.

— Слушай, я тебя тут жду... часа два просидел. Как знал, что ты пойдешь. Все порывался уходить, поздно ведь, а что-то не пускало — ждал. Дождался вот.

— Н-да, — кивнул Илья Павлович. — И что? — Он стал раздражаться и злиться. — Денег занять?

— Нет-нет, — не слыша его раздражения, отмахнулся Максим, — денег не надо. Надо поговорить. А?

— Нет, Максим. Я спешу домой.

— Пятнадцать минут. Ни секунды больше. Можешь ты уделить старому университетскому товарищу пятнадцать минут раз в полгода?

— Сегодня не могу, — твердо ответил Илья Павлович.

Максим жалобно смотрел на него. Потом почти шепотом, вкрадчиво сообщил:

— А завтра может и не быть. В курсе?

— Кончай, Максим, — снова поморщился Алексеев, нетерпеливо переступил с ноги на ногу. — Заходи как-нибудь, поговорим. Сейчас у меня действительно нет ни сил, ни времени.

— Кху... Ты же знаешь, что к вам я не пойду, зачем и приглашать...

— Почему?

— А тебе жена ничего не говорила? — удивился Максим.

— О чем?

— М-м, странно... Я, короче говоря, принес стихи... ей... Отвергли.

— И что, из-за этого?..

— А этого мало?! — В голосе Максима послышались слезы. И он снова попросил: — Пойдем, Илья, поговорим пятнадцать минут. И разбежимся.

— Пойдем, — вздохнул Илья Павлович.

В ближайшем кафе они заняли столик. Максим заказал две водки по сто граммов и два бутерброда.

— Я не буду, — сказал Алексеев, отодвигая стаканчик.

— Ну, глоток!..

— Слушай, Максим...

— Все-все. Как хочешь.

С минуту сидели молча. Петров глядел в стол, Илья Павлович на него. В Максиме появилось пугающее, кажется, никогда его не отпускающее теперь напряжение, какое бывает у сходящих с ума, покоренных одной громоздкой мыслью людей; они обсасывают ее, ощупывают со всех сторон, не могут от нее отвязаться. И, глядя на своего прежнего друга, на его полуприкрытые красноватыми опухшими веками глаза, на тонкие губы, по привычке беззвучно шевелящиеся, Илье Павловичу стало жаль Петрова, захотелось сказать ему что-нибудь искреннее, хорошее. Но таких слов не находилось.

Максим усмехнулся, отпил из стаканчика половину, откусил бутерброд. Прожевав, начал нехорошим, с издевкой тоном:

— Счастливый ты человек, Илюха. Завидно даже... Это вот как у всех лихорадка, жар, а ты — здоровый. Ничего тебя не колеблет. Редкий человек... С таким образованием и... Ну, например, почему ты до сих пор простой оператор? Ты ведь и сейчас просто оператор, так?

— Да. И что?

— Неужели не предлагали чего побольше?

— Предлагали. А зачем?

— Ну, и оклад, и... гм... престиж. Должен же человек к чему-нибудь стремиться там... Или стихи писать все лучше и лучше, или по службе все выше и выше... Так ведь?

— Мне и так нормально. Ты об этом хотел поговорить?

Максим опустил глаза, сморщился:

— Да ни о чем я не хотел говорить... Посидеть просто хотел с товарищем, выпить по капле... Стихи, может, почитать. Твоя жена вот...

— С-слушай, — стиснув зубы от разом подступившего бешенства, прошипел Алексеев, — ты же знаешь, как ее зовут!..

Было время, они с Максимом довольно близко общались, жены их были в хороших отношениях. Дети дружили. Потом Максим вдруг возомнил себя поэтом, запил, развелся с женой...

— А ты, а ты... — тоже сдерживаясь, чтоб не кричать, ответил Петров, — ты знаешь, как она со мной... когда я стихи ей принес? Так, словно я мразь последняя, даже сесть не предложила... И вернула так... как собаке поганую кость...

Он опрокинул в рот остатки водки, не закусывая, не переводя дыхания, продолжал:

— Я пять лет — пять лет! — над этим сборником работал, им жил только. Все вложил в него! Понимаешь?.. И что теперь? Как мне теперь, у?! И ведь понятно, не из-за стихов она... не стихи тут, а сам я — в главной роли. Ей Ленка напела, что я, скотина, бросил ее, Сережку, и она ко мне так теперь. Разве правильно это? Тут же, получается, не о творчестве речь... Скажи, правильно так?

— Я узнаю, — устало и холодно произнес Алексеев. — Но я уверен, что Татьяна вернула стихи чисто из-за их... гм...

— Бездарь я, так? — потянулся к нему Максим больным и страшным лицом.

— Я их не читал... В стихах я не разбираюсь.

— Не надо. Не надо, как говорится, триндеть. Помню, как ты в универе не разбирался...

Илья Павлович встал из-за столика.

— Мне нужно идти.

— Иди, — равнодушно сказал Максим.

— Я узнаю у Татьяны...

— Не надо, не утруждайся...

...Ехал в лифте вместе с соседом.

— Как, Илья Павлыч, в субботу придешь играть? — спросил сосед, светясь после пробежки по скверу здоровым румянцем.

— Естественно, — не особо бодро ответил Алексеев, — приду.

— У них, говорят, Кудряшов выйдет, поправился.

— Да? Интересно...

— Да-а, — поддержал сосед, — он-то забивать умеет. Приходи, не подведи.

— Приду обязательно. Только нужно, чтобы без задержки сыграть. В девять начать, как установили. А то будут стягиваться полдня... Хочу на дачу выбраться...

Сосед согласно кивал, машинально застегивал и расстегивал молнию на своей ветровке.

— Я обзвоню ребят, предупрежу. Ну, до встречи!

— Пока!

Каждую субботу мужчины окрестных домов собирались на футбольном поле ближайшей школы. С давних пор разбились на две команды, человек по двадцать, играли по всем правилам — с заменами, судьями. Бывали болельщики; один старичок даже вел протоколы матчей...

В квартире тихо, темно. Провинившийся Виктор сидел в своей комнате за уроками, жена читала рукописи.

— Наконец-то! — обрадовалась она, появляясь в прихожей. — Долгонько ты нынче.

— Выезжали на перчаточную... Надо десятичасовые новости глянуть, там репортаж должен быть.

— Виктор, помоги мне в зале накрыть! — позвала Татьяна и пошла на кухню.

Ели тефтели с картофельным пюре. Илья Павлович выпил три рюмки водки, сразу почувствовал облегчение от груза не очень-то приятного дня.

На экране телевизора сначала была Маша Скворцова с анонсом своей программы «Рост» — она, оказывается, будет о новом ночном клубе и фестивале молодых скрипачей. Затем пожилой, отечный диктор, ветеран областного телевидения Кандинкин, стал читать новости. А вот и репортаж о событиях на перчаточной фабрике и трассе федерального значения. Женщины у проходной; мельтешащая съемка Ильи Павловича, когда его пихнули, придала репортажу еще больше напряжения; десятки автомашин на дороге и рабочие, перекрывшие проезд автобусами; омоновцы, растаскивающие рабочих; снова у проходной: выезжает «Волга» директора, цепи милиционеров, устроивших для нее коридор. И все это под сопровождение торопливого, нервно сбивающегося голоса Марины Олеговны Семак.

— О-хо-хох, — качала головой жена, — когда ж это кончится? Каждый месяц обязательно что-нибудь такое. Доводят людей...

— Сами они виноваты, — буркнул Виктор, взглянув на экран.

— Почему это? — Илья Павлович удивился.

— Да так... Нормальные люди там давно не работают.

— Н-ну, не всем же на рынках торговать, — усмехнулся Алексеев и перевел разговор: — Кстати, я Петрова Максима встретил сейчас, — обратился было к жене, но тут же остановился: — Ладно, потом...

— А что такое?

— Так, ладно, — отмахнулся он. Строго спросил сына: — Ну и что, Виктор, случилось?

— У? — Тот сделал вид, что не понял.

— Договорились идти к зубному, мать тебя прождала, изнервничалась... Ты ее подвел, получается. В чем дело?

— У Ирки же Чепурновой день рождения был... Чаепитие.

— Как раз сегодня?

— Уху.

— Перестань ухукать! — не выдержав, повысил голос глава семьи. — И что, ты не мог сообщить, что так и так, позвонить, чтобы мать не волновалась?

Виктор молчал, водил вилкой по пюре, оставляя на нем бороздки.

— Нехорошо, сын, подло, прямо надо сказать, ты поступил, — стал заканчивать Илья Павлович; от выпитой водки хотелось в кресло — посидеть, расслабиться. — Доедай и иди учи уроки, никаких гуляний до конца недели. Понятно?

— У... — хотел было сказать «уху» Виктор, но вовремя поправился: — Да.

— И думай, прежде чем совершать что-либо. Заранее сказать можно было, позвонить, как-то решить...

Жена принесла чай, возобновила этот уже утомивший и отца и сына разговор:

— Весь день практически получился насмарку. Работу взяла на дом, а с половины третьего места себе найти не могла. Нет и нет его. Вот в восьмом часу только пришел.

— А где ж ты был так долго?

— Ну, уроки кончились, — загундел виновато сын, — пошли подарок покупать, торты. Потом чаепитие в классе было... музыка... Кончилось — и домой сразу пошел. У Натальи Сергеевны узнайте, если не верите.

— Ладно, поверим, хотя... Ты взрослый человек, Виктор, нужно следить за своими поступками.

Илья Павлович сидел на диване, пытался читать сценарий. Тихонько, не мешая, работал телевизор. Жена корпела над рукописями, изредка что-то помечала в них карандашом.

— Такое приносят... Фуф, просто диву даешься!

Илья Павлович пошутил:

— Гениальное?

— Да уж, — вздохнула жена уныло, — гениальное — дальше некуда.

— Вот хорошо, что напомнила! Тут Петрова встретил, точнее, он меня возле подъезда ждал. И... и стал жаловаться, что, дескать, ты его стихи читала, он тебе приносил, и как-то плохо с ним обошлась, вернула как-то...

— Петров? Мне стихи? — искренне изумилась жена.

— А что, Тань?

— Да ничего он не приносил... Может, кому другому, но мне — нет.

— Действительно?

— И что он говорил?

— Н-ну, страшно обижен, принес, говорит, сборник, работал над ним несколько лет, а ты, мол, вернула, не сказав ничего... Он считает, что из-за того так, что он Елену бросил, сына... Ну и прочее в том же роде...

— Забавно! — Жена разволновалась, отложила карандаш, поднялась. — Нет, ничего он мне никогда не давал читать. Ни строчки. — Прошлась по комнате. — Может, Вере позвонить? Ей, может, давал?

— Да ладно, не стоит. Завтра узнаешь.

— А он трезвый был, Максим?

— Не особенно, но вроде и не пьяный. Ладно, Тань, успокойся. Черт с ним, с этим Петровым.

Илья Павлович взялся было опять за сценарий Давыдина, но больше читать не мог.

— Пойду сполоснусь. Спать, наверно, давай.

— Пора уж, начало двенадцатого. — Жена наводила на столе порядок, завязывала папку с рукописями. — Завтра у нас совещание, план на четвертый квартал утверждаем. И ничего стоящего почти...

— М-да, — сочувственно вздохнул Илья Павлович и пошел в ванную.

Решал, принимая душ, рассказать ли жене о сегодняшнем инциденте с Машей Скворцовой или же умолчать. Если бы не Виктор, не его этот проступок, и не Петров, то наверняка бы рассказал, а так... «Опять расстроится из-за пустяка... Да и ничего, в общем-то, не было. И не будет!»

Как следует обтерся махровым полотенцем, смазал бальзамом Каравева давно намечающуюся лысину надо лбом.

— Слушай, Тань, может быть, мне о повышеньице покумекать? — спросил жену, когда улеглись, выключили торшер. — Как ты на это смотришь?

— Что-то случилось?

— Да нет, просто... Тебе, наверно, неудобно, что муж твой просто оператор. Ты вот без пяти минут заотделом, и мне, может, подсуетиться?..

— Надоело мотаться с камерой? — улыбнулась Татьяна.

— Наоборот. Но...

— Зачем тогда?

— Ну ладно. — Алексеев поцеловал жену в щеку. — Спи, любимая. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

...Будильник хороший. Он не звенит раздражающе, не плачет, не трещит как оглашенный, а играет нежную мелодию и приятным женским голосом объявляет: «Семь часов ровно. Пора вставать!.. — И после нескольких нот мелодии снова: — Семь часов ровно...»

Первой поднимается Татьяна, натягивает халат и идет в туалет, ванную. Затем встает Илья Павлович, будит сына.

Жена суетится на кухне, готовит завтрак. Виктор собирается в школу, доделывает домашние задания.

Илья Павлович раздвигает шторы, заправляет кровать, на полу расстилает коврик. Включает пластинку «Спейс», достает гантели.

— Раз, два, три, ч-четыре. Раз, два, три, ч-четыре, — расправляет он затекшие за ночь мышцы, смотрит в окно на тускнеющее с каждым днем, но пока еще живительное солнце.





---

---

ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ

\*

## ОТДЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

### Дорожное происшествие

Ночью на темных улицах мчащиеся сквозь непроглядь  
запоздавшие водители  
на всякое могут напороться:  
и выскочившие на проезжую часть хулиганы, и грабители.  
Но самое страшное — открытые люки колодцев.

Говорят, вскормленные химией и радиацией огромные крысы,  
гонимые голодом,  
сдвигают тяжеленные литые крышки.  
И выходят охотиться в город.

Не отсюда ли так много тревожных объявлений,  
не слыханных в прошлые времена:  
ушли из дома и не вернулись —  
точно по-живому рашпилем.  
А потом в подземных лабиринтах находят  
то башмак, то пряжку от ремня,  
вроде принадлежавшие пропавшим.

Все это, разумеется, страшилки —  
опасное отверстие забыли захлопнуть  
ремонтные работяги спьяна.  
А может, неподъемную чугунину вышиб  
прущий на тех же парах грузовик.

Но есть версия дикая:  
обездоленные приватизацией мстители в виде капкана  
устраивают ловушку для разжиревших на народной крови.

...Я стою у разверзнутого колодца  
и благодарю Бога —  
отделался искореженным колесом  
и легкой травмой.

Повиделось жуткое: беспросветная дорога  
и мы все несемся в оставленную расхлябанностью и злобой яму.

---

Карасев Евгений Кириллович родился в 1937 году в Твери. Первая публикация стихов — в «Новом мире» (1995, № 5), с тех пор Карасев — постоянный автор нашего журнала, лауреат премии «Нового мира» за 1996 год. Автор двух поэтических книг и книги прозы, изданных в родном городе, — среди них книга стихов «Бремя безверия» (1998). Живет в Твери.

**В коммерческом магазине**

В коммерческом магазине ражие парни,  
 огни и медные трубы прошедшие,  
 с разбитными девушками кавалерам в пару  
 покупают коньяк по цене сумасшедшей.  
 Веселые, шумные,  
 не смущаясь убытком,  
 запросто рассовывают по красивым сумкам  
 драгоценный напиток.  
 Пугаясь бедовой компании,  
 какая-то бабуся, притулясь у стенки,  
 вслух подсчитывает, сколько каналы  
 могли хорошего сотворить на эти деньги...  
 Одеть, обуть ребятенков ораву,  
 купить школьные книжки, ранцы.  
 Вернуть глаза слепой Клаве,  
 оплатив необходимую операцию...  
 Я молча кивком поддакиваю  
 сердобольной старушке:  
 выдули диковинное спиртное —  
 и столько добрых дел похерили.  
 И вдруг словно голый  
 под ледяным оказываюсь душем:  
 а я ведь тоже в жизни не обременял себя  
 людской бухгалтерией.

**Один дома**

Устав на экран глаза пялить,  
 я ложусь на выдавшую виды кушетку  
 и отворачиваюсь к стене.  
 Но пуше телевизора меня угнетает память —  
 нелегко с ней оставаться наедине.  
 Накатывает не сплошной поток —  
 отдельные фотографии,  
 замутненные дымкой, как улица смогом.  
 Кому не угодил я, не потрафил —  
 черту или Богу?  
 Во Всевышнего я слабо верил,  
 нечистого считал силой реальной:  
 он одерживал победы и на скачках, и на ралли.  
 И всюду пользовались его единицами веса и меры.  
 С отчетом к князю тьмы тянулась  
 нескончаемая очередь,  
 я сам торчал в том длиннущем хвосте.  
 ... Чу! Снимок: как ни в чем не бывало  
 я прошел мимо человека, лишённого мочи.  
 А вот кадр: подбросил в огонь хворостину,  
 что и пресловутая старушка в своей простоте.  
 ... Я кручусь на дряхлом лежаке,  
 пружинами скрипящем,  
 как на нарах после тягостного допроса.  
 И вновь со злостью врубаю телеящик —  
 утешительней, чем всматриваться в прошлое.

### Посещение старинной усадьбы

Уцелевший барский дом с примыкающим к нему  
 с высоты птичьего полета, наверное, похож на браслет,  
 полуциркулем колонн  
 затерянный среди волнующихся листьев.  
 Но вблизи все сыплется, рушится. Как к останкам на поклон,  
 сюда возят безучастливых туристов.  
 В этот уголок я приехал со своими новыми друзьями,  
 воспитанными, образованными.  
 Они беседуют об истории, архитектурных стилях.  
 А мои университеты — следственные изоляторы,  
 пересыльные тюрьмы, зоны.  
 И мне рядом с ними чуточку стыдно.  
 Я слушаю их умные речи, чужая, как обесцениваются  
 оставленные про запас фишки.  
 И мысленно противопоставляю им бывших корешей,  
 ныне активно вторгшихся в экономику,  
 в банковскую сферу,  
 для которых эти эрудированные ребята —  
 всего лишь фраеришки  
 со всеми заковырыстыми знаниями и манерами.  
 Братва достигла успеха, не различая ионический и дорический ордер,  
 не владея ученой магией.  
 Один из спутников, видимо, прочел о моих смятениях  
 по кислой морде.  
 И, вежливо улыбнувшись, тихо сказал:  
 — Не обольщайтесь. Они построят только лагерь.

\* \*  
 \*

Нынче в моде золотые цепи, перстни,  
 особенно среди «новых русских»,  
 путан.  
 А я открываю Песнь песней —  
 жалок драгоценный металл.

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА

### Предисловие

В лагерной одиночке, расположенной в обособленном строении,  
 ни покурить, ни выбраться.  
 В надежде на поддержку я, как спирт, вызываю  
 царя Соломона —  
 может, пособит выбраться.  
 Почему Соломона? Во-первых, мудрейший  
 из мудрых,  
 а тут покумекать надо: спецкорпус, БУР<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> БУР — барак усиленного режима.

Во вторых, по отцовской линии мои предки росистым утром покинули когда-то многоплеменный и горластый Ур.

Ни стола, ни блюда, способствующих приглашению духов, в камере не водится.

И я, пугаясь привлечь соглядатаев подозрительным звуком, вращаю в кружке обыкновенную воду.

И тем не менее достославный государь является.

Не молод уже, удручен —

измена, потеря Дамаска.

Его пришествие — материализовавшийся сон!

Ожившая восточная сказка!

Библейский герой явно смущен

прикованной цепью к стене

огромной парашей.

Интересуется:

— Ты не шпион? —

Я уверяю: сижу за кражу!

Мы беседуем с ним о превратностях судьбы —

изгой и Божий помазанник.

Ближе к поверке таинственный гость вдруг исчезает,

превратившись в истаивающие дымные столбы.

А я хватаю огрызок карандаша и втихую

царапаю все им рассказанное.

Так длилось с неделю. И в ходе нежданного шмона —

силы служивые не зря тратили —

записки о посиделках с царем Соломоном

попали в улов надзирателей.

Окосевшие разлепив zenки,

они отложили в сторону простукивающие молотки,

щупы и прочие шуровки.

Это были первые литрецензенты,

сделавшие заключение: шифровка.

Я угодил к оперу, от него — на психиатрическую экспертизу

по этапу срочному,

где прошел интенсивную терапию и новейшие тесты.

И уже не вернулся в стильную одиночку —

выручили Соломоновы тексты.

Спустя несколько лет, тюремный никотин отхаркав

и посчитав, что творчески вырос,

я принялся восстанавливать изъятый захмелевшими архаровцами

тот странный папирус.

Я корпел над словом, как над лотком старатель;

шел по тропке неимоверно узкой.

И вот, дорогой читатель,

представляю услышанное из первых уст

в тошнотной лагерной кутузке.

1

Пропитанные балованным маслом светильники

коптили, как подоженные хламиды,

удлиняя тени стражей.

Старейшины и начальники колен,

сгрудившись у трона сына Давидова,

нашептывали о приближении Суда страшного.

Соломон не приклонял уха к карканью  
 перепуганных вельмож — вслушивался в гул площади,  
 возмущенной его указами, оглашенными  
 с высочайшего листа.

Царь думал: «Чернь пошлая  
 не признает советчика, кроме своего живота».  
 Он увеличил иго на одну ефу с каждого хомера пшеницы  
 и на один бат с каждого хомера ячменя  
 на содержание войска, воздвигнутого на пути  
 честолубивых помыслов вавилонского тирана.  
 Иначе Израиль, как овна, расчленят,  
 и его не спасут священные тирады.  
 Но смутьяны распустили слух, что государь  
 ради многих жен-чужестранок  
 тратит деньги на построение мерзостных языческих капищ:  
 Хамосу, богу Моавитскому,  
 Молоху, богу Аммонитскому,  
 Астарте, божеству Сидонскому.  
 Эти толки, как капли,  
 подтачивали умы верноподданных, воспитанных на страхе.  
 Они хотя бы напрягли память: это он, Соломон,  
 возвел в Иерусалиме Храм  
 и перенес в него из Сиона ковчег завета Господа.

Но разве помнит добро раб,  
 мечтающий, как собака, о кости?..  
 В раздумьях о царском жребии Соломон  
 мысленно обратился к скрученной в упругую трубку  
 истории фараонов.  
 Из смуты столетий, рукой придерживая складки хитона,  
 перед ним прошли и могущественный Тутмос Третий,  
 и мятежник, угодный Атону.  
 В минуты сомнений царь нередко взывал  
 к великим египетским владыкам, ушедшим  
 в страну мертвых. И это была не праздная утеха:  
 отвалив в воображении с забытых надгробий  
 зализанные песками глыбы, он искал  
 у повелителей мира не причины успеха —  
 ошибок. Знающий прошлое — видит,  
 незнающий — гадает.

И Соломон разворачивал пружинистый свиток,  
 постигал годами.  
 Он достигнул до истины, сродни добытой пыточной плетью:  
 о силе государя свидетельствуют не пирамиды,  
 подпирающие выси, —  
 дружелюбие соседей.  
 И вот уже четыре десятка лет его страна не ведает войн,  
 ему завидуют и враг, и друг.  
 Но посочувствовать может только вол,  
 тянувший тяжелый плуг.

...А гул между тем за стенами дворца нарастал  
 и походил на отзвук рухнувшей в горах каменоломни,  
 похоронившей заживо тысячи каменосеков, тесавших  
 соленые от пота камни для дома Господня.

Вошел градоправитель, старый лис,  
освоивший и придворное лукавство, и базарное  
шельмовство.

Пал лицом на землю и спросил:  
— Господин мой царь, как распознать пагубную мысль? —  
Соломон кивнул в сторону гудящей площади:  
— Если ее разделяет большинство. —  
Одно утешало царя: пророк Нафан предрекал ему  
счастливое царствование, а чутье у ясновидца отменное, зоркость остра,  
и мать Соломона, Вирсавия, не раз говорила,  
что он родился в рубашке.  
Но отчего так беспокойно пламя светильников,  
будто языки костра

в ночь тревоги на сторожевой башне?  
А может, это его раб Иеровоам, сын Наватов,  
бежавший от царского гнева на Нил,  
возвратился и мутит воду, подбивая  
несмышленный народ супротив законного государя?  
Или подстрекатели Адера Идумеянина?  
Подговорщики коварного Разона?..  
Соломон вспомнил привидевшийся ему накануне сон:  
с его корабля, построенного в Ецион-Гавере,  
что при Елафе на берегу Чермного моря, бегут крысы;  
гонимые неизъяснимым ужасом стаи крыс  
с хищными, вздетыми вверх мордочками,  
как во время потопа,

заполонили сходы, противно стучая  
торопливыми лапами по шатким доскам, точно копытами;  
лягали теснящихся сородичей, впивались в их бока;  
под дикий визг скопом  
пожирали ослабевших; и были пожираемы  
с еще застрявшим в зубах кровавым куском.  
Тогда по пробуждении этот кошмар — особенно  
стук лап по доскам и крысиный визг —  
вызвал у царя легкое содрогание, как от царапанья ногтями по железу,  
но и теперь, при воспоминании о том сновидении,  
Соломон пережил нервное подергивание.  
Откуда-то потянуло сквозняком,  
стало холодно ногам.  
Неприятное, зябкое ощущение поднималось  
по телу все выше и выше,  
словно он все глубже и глубже входил в ледяную воду.  
Выплыло из забвения: перед смертью его отец, царь Давид,  
постоянно стыл, и его укрывали одеждami.  
Потом решили для обогрева умирающего  
положить ему в постель молодую девицу.  
И искали по всей земле; и нашли;  
и не было ей равной по красоте

во всех пределах Израилевых.

И ходила она за царем, и прислуживала ему,  
но царь не касался ее — грелся душой, а не телом.  
Звали благолепную юницу Ависага Суманитянка.  
И вряд ли кто догадывался во дворце,  
что ее настоящее имя Суламита и что она  
несказанная любовь Соломона,

встреченная им однажды в Енгедских виноградниках,  
где девушка стерегла солнечную ягоду  
от лисиц и лисенят.

После смерти Давида престол по его повелению  
перешел не к старшему сыну Адонию, а к Соломону.  
Смирившийся вроде с этим Адония неожиданно  
попросил у новоиспеченного венценосца, казалось, немногого:  
отдать ему в наложницы Ависагу Суманитянку.  
Соломон вздрогнул нутром, но волнения своего не выдал,  
улыбнулся, обнял обойденного короной примирительно;  
а затем послал Ванею, сына Иодаева, убить брата:  
сегодня уступишь прекраснейшую из женщин,  
завтра — царство.

## 3

...Все глубже, глубже уходит Соломон в ледяную воду.

А в ушах не стихает грохот горного обвала,  
громоподобный, будто усиленный сводами  
построенного им Храма.

И крик погребенных в карьере рабов,  
мстительно-живой, стучающий в перепонки;  
их ругань, проклятья.

И вдруг в этом гудящем, враждебном хаосе  
он начинает различать знакомую песню:

«Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины,  
поглядеть, распустилась ли виноградная лоза,  
расцвели ли гранатовые яблоки?»

Песня ширится, растет, она побивает

как аромат мирра — запах постоянного двора.

Соломон слушает милый сердцу серебряный

голос,

и ему кажется: сквозь висящую над садом

пыльцу цветущей смоквы

он узнает лицо поющей.

Ее губы — как алая лента.

Ее волосы — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской.

Это она! Она! Суламита!

А холодная вода уже у шеи; не слушаются пальцы ног, рук.

«Иди ко мне, возлюбленный мой, — звучит и звучит  
манящий голос. — Большие воды не могут потушить любви,  
и реки не зальют ее...»

Как последний камень, случившийся под ступней

при сползании в бездну,

твердь уходит из-под пят зачарованного слушателя,

шурша осыпью дружного щебня.

Течение подхватывает сорвавшегося царя и несет, несет

в противоположную почему-то сторону от чудного зова.

«Дай мне руку! Дай руку!» —

тянется он из потока к волшебному видению.

И вместо дорогих черт распознает

язвительную усмешку загубленного им брата Адонии,

но ход стремнины уже неодолим.

...Соломон умер. Это произошло в Иерусалиме в двести шестьдесят девятом году по исшествии евреев из Египта, в месяц Зиф, десятого дня; глубокой ночью, когда водяные часы накапали семь неполных часов.

Мы не ходили от зари до зари с тяжким плугом и не можем, как вол, разделить царской ноши, а потому скажем: царствовал он на зависть счастливо. Истину рек пророк Нафан.

1996.





---

---

МИХАИЛ АРДОВ (протоиерей)



## ВОКРУГ ОРДЫНКИ

*Портреты*

### I

**М**ой отец Виктор Ефимович Ардов родился в Воронеже 8/21 октября 1900 года. Дед мой был инженером, но сведений о нем у меня почти нет. Отец крайне неохотно вспоминал о своем родителе. В зрелом возрасте, уже после смерти Сталина, я узнал, что во время Гражданской войны мой дед был расстрелян по прямому приказу Троцкого. Отец данный факт почти всю свою жизнь вынужден был скрывать, и именно этим объясняется его нарочитое молчание.

Вот то немногое, что я знаю о своем деду с отцовской стороны: он окончил Харьковский технологический институт, затем служил на железной дороге, а перед революцией перешел в какую-то частную фирму. Отец иногда цитировал такие его слова:

— Если долго проживешь с женой, не праздную серебряную свадьбу — отмечай тридцатилетнюю войну.

Гораздо охотнее и чаще мой отец вспоминал семейство моего прадеда — его деда со стороны матери. Фамилия его была Вольпьян, он жил в Воронеже и владел там аптекарским магазином. Надобно заметить, что у моего отца был врожденный порок сердца и он рос весьма болезненным ребенком. Родители его очень берегли и держали в строгости, а дедушка с бабушкой, наоборот, баловали. Ардов вспоминал такой эпизод. В возрасте семи лет он пришел в гости к деду, и там его угостили арбузом. Он ел, ел, ел, и никто его не останавливал. В результате он съел столько, что, когда шел домой, мелкие кусочки арбуза выходили у него через нос...

В те годы болезнь сердца угрожала самой жизни моего отца. Это подтверждается таким семейным преданием: однажды его мать встретила врача, который когда-то лечил ее детей (у отца был младший брат Марк). Так вот этот доктор стал расспрашивать ее о младшем сыне.

— Почему вы говорите о Марке? — спросила она. — Ведь вы гораздо больше занимались здоровьем Виктора.

— Как? — удивился врач. — А разве ваш Виктор жив?

И еще воронежские воспоминания отца, они относятся к четырнадцатому году. Как известно, с началом войны царское правительство запретило производство и продажу водки. Но парфюмерные фабрики немедленно стали

---

Ардов Михаил Викторович родился в 1937 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио. В 1980 году принял священный сан в Ярославской епархии. В 1993 году ушел из Московской Патриархии в другую юрисдикцию. Ныне — настоятель храма во имя Царя Мученика Николая II, что на Головинском кладбище в Москве. Автор нескольких книг. В «Новом мире» публиковалась его мемуарная проза «Легендарная Ордынка» (1994, № 4 — 5), «Возвращение на Ордынку» (1998, № 1).

Редакция журнала «Новый мир» считает необходимым принести извинения всем, кому портреты, вышедшие из-под пера талантливого мемуариста, покажутся необъективными, а ситуации — недостоверными, и выражает готовность напечатать — по мере возможности — фактические уточнения и комментарии заинтересованных лиц.

выпускать одеколоны, вполне пригодные для питья, и назывались они «Апельсинный», «Лимонный» и проч. Аптекарский магазин моего прадеда стоял возле самого базара, а потому там происходили такие сценки: к прилавку подходит деревенский мужик, покупает флакон одеколону, тут же у окна открывает пузырек и выпивает содержимое прямо из горлышка.

С началом войны семейство моего прадеда перебралось в Москву. Тут они наняли квартиру в Филипповском переулке, в доме, который принадлежал Иерусалимскому подворью. (Это здание и сейчас благополучно стоит на своем месте.) Ардов вспоминал тучных и важных греческих монахов — ближайших соседей.

Осенью четырнадцатого года мой отец поступил в расположенную неподалеку московскую Первую мужскую гимназию, которая только что отпраздновала свой 125-летний юбилей. В те годы у Ардова уже вполне проявилась любовь к юмору, он был усердным читателем аверченковского «Нового Сатирикона». Мало того, он сам рисовал карикатуры и даже издавал рукописный журнал.

Ко времени революции, в свои семнадцать лет, Ардов был уже сложившимся человеком и вполне сознательно разделял программу кадетской партии. Мне вспоминается забавный эпизод, происходивший в начале шестидесятых годов. Некий художник, которого отец каким-то образом облагодетельствовал, пришел на Ордынку и выражал свою признательность такими словами:

— Спасибо тебе, Виктор, за то, что выручил меня... Ты — настоящий большевик-ленинец...

— Дурак ты! — отвечал ему Ардов. — Какой я тебе ленинец? Я всю жизнь был либералом! Я — сторонник буржуазной демократии...

Но возвращаюсь к ранним годам отца. Весной 1918 года он перешел в восьмой — последний — класс гимназии. Было известно, что большевики уже вознамерились кардинально изменить программу средней школы... И тогда группа учителей предложила ученикам в течение лета пройти предметы, которые преподавались в восьмом классе. Среди тех, кто таким образом завершил гимназический курс, был и мой отец.

В девятнадцатом и двадцатом годах ему довелось служить в каких-то советских учреждениях, но у него возникло желание учиться в институте. Однако же было препятствие для поступления в советский вуз, а именно происхождение — «из служащих» или даже «из мещан». В то время уже существовал рабфак, а в институты набирали главным образом «пролетариев» и «крестьян».

Но тут Ардову помогла протекция: на одной из его теток был женат историк-марксист, впоследствии академик В. П. Волгин. Он-то и помог отцу поступить в Экономический институт, тот самый, который теперь носит имя Плеханова. Об этом заведении отец рассказывал не много, но я с его слов кое-что запомнил.

Шел экзамен по какой-то дисциплине, кажется по юриспруденции. Советские студенты, почти поголовно «рабфаковцы», отвечали старому, благообразному профессору... От их косноязычия и безграмотности у экзаменатора разболелась голова, и он слушал молодых людей с закрытыми глазами. Настала очередь Ардова, который в самом начале своего ответа произнес латинскую цитату. На лице профессора появилась блаженная улыбка, он приоткрыл глаза, взглянул на моего отца и спросил:

— Вы — гимназист?

— Да, — отвечал Ардов.

— «Отлично», — сказал экзаменатор, — идите, идите... — И снова опустил веки, чтобы слушать очередного «рабфаковца».

Ардов со своим гимназическим образованием и «буржуазным происхождением» был в институте белой вороной, и перед самым окончанием у него произошел конфликт с тамошними комсомольцами. Хотя мой отец не состоял членом их организации, его вызвали для разговора. Надобно заметить, что к этому времени Ардов был уже вполне сложившимся литератором, автором многочисленных театральных рецензий и газетных фельетонов.

В комитете комсомола ему заявили:

— Вы, как состоятельный студент, должны внести нам определенную сумму денег на общественные нужды.

Возмущенный этим вымогательством, отец отвечал:

— Ничего я вам не должен и ничего я вам не внесу.

— В таком случае вы не получите на руки диплом об окончании!

— Можете потеряться моим дипломом! — сказал им Ардов и навсегда покинул здание института.

В те годы интерес к театру в интеллигентской среде был, как известно, всеобъемлющим, и Ардов в юности отдал дань этой моде. В девятнадцатом году он был членом драматического кружка при Студенческом клубе, который помещался в Охотном ряду. Именно там он познакомился с будущими театральными знаменитостями — О. Абдуловым, М. Астанговым, Р. Симоновым, И. Ильинским...

С течением лет его увлеченность театром уменьшалась. В пятидесятых и шестидесятых годах, уже на моей памяти, он посещал спектакли крайне редко. В конце жизни ему была свойственна любовь к самим актерам — за их инфантилизм, готовность к розыгрышам, шуткам...

Но так или иначе свою литературную карьеру мой отец начал в качестве театрального рецензента. Однако же природная склонность к юмору, умение шутить и смешить людей взяли свое, и Ардов принялся за написание газетных фельетонов и юмористических рассказов...

Существенную роль в его судьбе сыграли знакомство и дружба с Львом Никулиным, который был старше на девять лет и в начале двадцатых годов уже являлся довольно известным писателем. Ардов привлек его своей живостью и остроумием, они стали соавторами и вместе сочинили несколько комедий. Я помню только два названия — «Статья 114» и «Таракановщина».

Еще мне запомнился краткий диалог, который звучал за сценой в какой-то из этих пьес:

«— Извозчик! На улицу Проклятия убийцам Розы Люксембург и Карла Либкнехта!

— А! На Проклятую?.. Полтинничек положим, барин».

Комедии эти имели успех, и тому свидетельством юмористическое стихотворение, которое написал в свое время Михаил Пустынин:

Кто, рьяно вдвоем собирая монету,  
Четой мейстерзингеров бродят по свету?  
Иль — в роли советских лирических бардов?  
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Кто, зная новейшим художествам цену,  
Агиткам на смену выводят на сцену  
Родных Тартаренов, советских Личардов?  
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Кто устали в деле авансов не знали,  
Кто жадно в театре, кино и журнале  
Аванс вырывает рывком леопардов?  
— Никулин и Ардов! Никулин и Ардов!

Осенью 1927 года мой отец на несколько месяцев переехал в Ленинград — принял приглашение стать заведующим литературной частью тамошнего Театра сатиры. Жил он на углу Симеоновской улицы и Литейного проспекта. В этой же квартире снимали комнаты главный режиссер театра Давид Гутман и эстрадный актер Николай Смирнов-Сокольский. Там они все вместе принимали некоторых почетных гостей, например, Маяковского и Зощенку. Очень часто бывал на этой квартире и Леонид Утесов.

Почти каждый вечер вся их компания отправлялась ужинать в какой-нибудь из ресторанов. И вот однажды Смирнов-Сокольский запротестовал:

— Ну почему мы каждый вечер идем или в «Асторию», или в «Европейскую»?.. Мне это уже надоело. Вот, говорят, в здешнем порту открылся роскошный новый ресторан... Не поехать ли нам для разнообразия туда?

Сказано — сделано. Друзья наняли два автомобиля и отправились в порт. Долго ехали по пустынным улицам Васильевского острова и наконец приблизились к какому-то слабо освещенному зданию.

Расплатились с водителями и вошли в вестибюль. Сквозь стеклянные двери они увидели, что в ресторанном зале идет драка, в которой участвуют не менее пятидесяти человек... В этот момент один из дерущихся высоко поднял стул и ударил другого по голове. Тот ухватился рукою за лоб и буквально залился кровью... После этого раненый, расталкивая дерущихся, поспешил к выходу, беспрестанно повторяя короткую фразу:

— В приемный покой!.. В приемный покой!..

Когда он таким образом проследовал через вестибюль, Давид Гутман посмотрел ему вслед и сказал:

— Красавец ресторан!

После этого артистическая компания предпочла вновь погрузиться в автомобили и поехала ужинать в «Асторию».

Карьера театрального драматурга продолжалась у Ардова и в тридцатые годы, но истинным его призванием была все же чистая юмористика. Покойный друг моих родителей, необычайно умный и талантливый М. Д. Вольпин называл отца «автором двадцати рассказов». Михаил Давыдович говорил:

— Среди огромного множества вещей посредственных и не очень хороших, которые написаны Виктором, у него есть два десятка превосходнейших новелл. И таких смешных, что даже Ильфу и Петрову за ним не угнаться...

Кстати сказать, Ардов был дружен с авторами «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», написал теплые воспоминания о знаменитом литературном дуэте. Мой отец весьма высоко ценил их дарование, но пальму первенства в своем жанре он всегда отдавал Михаилу Зощенке.

Отец свидетельствовал, что Ильф и Петров ревниво относились к необычайной славе и популярности Зощенки.

Как-то раз Ардов был в гостях у Евгения Петрова, там же присутствовали Ильф и Зощенко. Раздался телефонный звонок, и некий администратор предложил юмористам выступить с чтением своих рассказов. Притом приглашение распространялось лишь на троих — Ардова на этот раз не позвали. Тогда Зощенко сказал:

— Давайте поедем все вместе, и вы, Витя, тоже...

Эта реплика явно расстроила Ильфа и Петрова, ибо, по их мнению, Зощенко был им равней, а Ардов рангом ниже. А тут Михаил Михайлович приравнял их к моему отцу...

Отец иногда рассказывал о таких совместных выступлениях. Он говорил:

— Ильф никогда и ничего с эстрады не читал. Выступал всегда только Петров. Вот он читает, а Ильф сидит в президиуме, волнуется, пьет воду и все время кашляет... Будто не у Петрова, а у него от чтения пересыхает в горле...

Ардов вспоминал, что Зощенко читал свои рассказы мрачно, без тени улыбки... А зал в это время буквально корчился от смеха. Вот речь отца, записанная мною дословно:

— Как-то я спросил Михаила Михайловича, отчего он так мрачно читает. На это он мне сказал: «Когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валю от смеха на диван. Но раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь». Но вот однажды я заметил, что во время чтения какого-то рассказа Зощенко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его: «Почему вы улыбнулись?» Он отвечал: «Просто я забыл это место».

И сам Ардов великолепно читал свои рассказы и даже очень это дело любил. В ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» он в свое время писал:

«Только тот, кто испытал хотя бы раз счастье дарить людям смех, сумеет понять, насколько пленительна наша профессия — профессия сатирика. Когда мне удастся рассмешить аудиторию — рассказом, рисунком, публичным ис-

полнением моего произведения, — я испытываю ни с чем не сравнимую радость» (1967, № 10).

Среди поклонников ардовского дарования были люди самые неожиданные. Я, например, узнал от своего друга Максима Шостаковича, что его отец, Дмитрий Дмитриевич, частенько цитировал рассказ Ардова. Если великий композитор слышал какой-нибудь громкий звук, доносившийся из кухни, то всякий раз выкрикивал такое двустушище:

— Граждане! На кухонном фронте  
Горящий примус не уроньте!

Это — из ардовского рассказа «Лозунгофикация», он написан в 1926 году. Я знал нескольких людей, которые цитировали забавные двустушища из той же новеллы. Ну, например, такие:

Контрреволюция в том зарыта,  
Кто марает чужое корыто!

Прикройте дверь — и она не дует  
Под прикрывшего сознательного индивиду!

Одернут немедленно должен быть всякий,  
Кто кусает прохожих посредством собаки!

Вхождению без доклада  
Мировая буржуазия только рада!

Мой отец был женат два раза. Первой его женой была умная и обаятельная женщина Ирина Константиновна Иванова. (Один старый москвич рассказывал у нас на Ордынке, что во времена предреволюционные Ира Иванова считалась одной из самых красивых гимназисток во всей Москве.)

В двадцатые годы за ней некоторое время ухаживал Осип Максимович Брик. Ардов передавал такой эпизод: они были в какой-то многолюдной компании, где присутствовали и Брик, и Маяковский. Осип Максимович разговаривал с Ириной Константиновной, и тут к ним подошел Маяковский. Он сказал:

— Ося, я звонил домой. От Лилечки уже ушли. Она говорит, что ей страшно находиться в квартире одной. Кому-нибудь из нас надо ехать...

— Вот ты и поезжай, Володенька, — сказал Брик не без некоторого злодства.

Брак Ардова с Ириной Ивановой был недолгим, они вскоре разошлись, но до конца жизни сохранили самые добрые отношения. Ирина Константиновна была превосходной машинисткой, и отец постоянно пользовался ее услугами. С этим связаны мои первые самостоятельные поездки в московском метро. В возрасте семи лет я возил рукописи отца в Сокольники, в двухэтажный деревянный дом, где Ирина Константиновна жила с мужем и дочкой Наташей.

Со своей второй женой, моей матерью, Ниной Антоновной Ольшевской, Ардов познакомился при следующих обстоятельствах. Году в тридцатом состоялась гастрольная поездка молодых артистов Художественного театра по провинциальным городам. Мой отец сопровождал эту группу с тем, чтобы писать для них репертуар на злобу дня. Во время путешествия будущие мои родители оказались в одном купе. Ардов в какой-то момент стал есть соленые маслины, а мама, которая их никогда до той поры не видела, поинтересовалась:

— Что это такое?

— Хотите попробовать? — спросил отец и угостил ее.

— Какая гадость! — вскричала мама и выплюнула маслину.

Так состоялось знакомство. Надобно тут добавить, что впоследствии она оценила маслины и ела их с удовольствием.

Когда мои родители поженились, моему старшему единоутробному брату Алексею Баталову было года три. Это был очень занятный курносый мальчик, и Ардов сразу привязался к нему. Их взаимная любовь никогда и ничем не

омрачалась в течение всех последующих десятилетий. Уже в старости Ардов рассказывал, что слегка опасался Алешиной устремленности в актерство, которая проявлялась у того с самого детства. Отец говорил:

— Я боялся, что этот милый ребенок вырастет и станет артистом. По вечерам он будет сидеть в ресторане при Доме актера, пить водку и говорить своим собутыльникам: «Выхожу я на сцену — публика: „Ря-а-а“...»

Но опасения Ардова оказались совершенно напрасными: Алексей Баталов далек от актерской богемы и притом почти ничего не пьет.

В первое время после женитьбы наши родители ютились в крошечной комнате, в коммунальной квартире на улице под названием Садовники. Но в 1934 году Ардову удалось приобрести квартиру в писательском кооперативном доме (Нашокинский переулок, д. 5).

За новое жилище надо было внести довольно большую сумму, и деньги эти достались моим родителям самым неожиданным образом. В те годы среди писательской и актерской братии были весьма распространены карточные игры, и ставки бывали довольно высокие. Так вот, незадолго до того, как надо было вносить пай за квартиру в Нашокинском, моя мать играла в карты, если не ошибаюсь, в покер. Ей очень везло, а тем партнером, который все время проигрывал, был не кто иной, как сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Так что та квартира была куплена, так сказать, на деньги Шостаковича.

В Нашокинском переулке мои родители прожили всего года три, потом отцу удалось получить более удобную квартиру — в Лаврушинском переулке. Но о своей жизни возле Пречистенских ворот и мать и отец часто вспоминали и довольно много рассказывали.

Ардов там подружился с легендарным Мате Залкой, они оба входили в правление кооператива. Отец занятно изображал венгерский акцент своего приятеля и помнил рассказанные им истории. Так, по словам Мате Залки, в первые годы советской власти Ленин помогал Кемалю Ататюрку в войне с Антантой. В Анкару послом был назначен М. В. Фрунзе, который на самом деле командовал турецкой армией, а сам Залка был одним из его главных помощников.

— Виктор, — говорил он отцу, — я никогда так хорошо не жил, как в то время, когда был турецким генералом...

Еще одним соседом, с которым Ардов сблизился в Нашокинском, был М. А. Булгаков. Отец очень высоко ценил дарование Михаила Афанасьевича, но не был поклонником «Мастера и Маргариты». Гораздо больше ему нравились «Собачье сердце», «Дьяволиада», «Роковые яйца»...

Сатирический и юмористический талант Булгакова приводил моего отца в совершенное восхищение. Он знал и ценил не только большие вещи Мастера, он помнил его юмористические новеллы и фельетоны, которые Булгаков в свое время публиковал в газете «Гудок». Все это писалось с резвостью необыкновенной. Ардов вспоминал, например, такую деталь: в одном из своих газетных опусов Михаил Афанасьевич повествовал о женщине, муж которой был инвалидом — у него не было ни рук, ни ног. Булгаков, между прочим, сообщал читателю, что когда она приводила в порядок кровать, то брала оттуда своего жозителя и «ставила его на подоконник, как бюст».

Я хочу привести здесь небольшой отрывок из воспоминаний отца:

«Когда пьеса „Дни Турбиных“ с огромным успехом шла в Художественном театре, целый легион попрошайек, „стрелков“ — так назывался этот род аферистов — одолевал Михаила Афанасьевича, считая, что он стал богачом и что ему ничего не стоит выбросить даже сотни рублей на подачки. „Стрелки“ и писали Булгакову, и навещали его на квартире, и ловили на улице. А один такой тип позвонил по телефону в пять утра. Именно время поразило Михаила Афанасьевича. Днем-то звонили часто.

„А тут, — рассказывал Булгаков, — во время самого сладкого утреннего сна затрещал звонок. Я вскочил с постели, босиком добежал до аппарата, взял трубку. Хриплый мужской голос заговорил:

— Товарищ Булгаков, мы с вами не знакомы, но, надеюсь, это не помешает вам оказать услугу... Вообразите: только что, выходя из пивной, я разбил свои очки в золотой оправе! Я буквально ослеп! При моей близорукости... Думаю, для вас не составит большого урона дать мне сто рублей на новые окуляры?..

Я в ярости бросил трубку на рычаг, — продолжал Булгаков, — вернулся в постель, но еще не успел заснуть, как новый звонок. Вторично встаю, беру трубку. Тот же голос вопрошает:

— Ну, если не с золотой оправой, то на простые-то очки можете?»

В Нащокинском было еще одно соседство, которое имело для Ардова, да и для всей нашей семьи необычайно важное значение. У моих родителей была квартира на первом этаже, а на пятом, в том же подъезде, поселился Осип Эмильевич Мандельштам со своей женой Надеждой Яковлевной. Между моими родителями и этой четой установилось то, что теперь именуется «добрососедскими отношениями».

Как о том свидетельствуют современники, да и фотографические портреты, моя мать в молодости была очень привлекательной. Эмма Герштейн в своих мемуарах о Мандельштаме пишет:

«Иногда, ведя к себе домой кого-нибудь из встретившихся на улице знакомых, Осип Эмильевич по дороге звонил в квартиру Ардовых. Если дверь открывала Нина Антоновна, он представлял ее своему спутнику такими словами: „Здесь живет хорошенькая девушка“. После чего вежливо раскланивался, говорил улыбаясь: „До свидания“ — и вел своего гостя на пятый этаж».

Как известно, в Нащокинском у Мандельштамов иногда гостила Ахматова.

А вот еще отрывок из воспоминаний моего отца:

«В самом конце тридцать третьего года вместе с матерью приехал в Москву и Лева Гумилев. В квартире Мандельштама ему решительно не было места для ночевки. Мы с женой узнали о том и предложили Леве переночевать у нас... и не только переночевать, но и прожить все его пребывание в столице. Наша квартира была тоже невелика. Но свободное место в семиметровой комнате, которая носила высокое наименование моего кабинета, нашлось. Лева пожил у нас и доложил матери, что Ардовы — симпатичные люди. Анна Андреевна пришла к нам на обед вместе с сыном...

А вскоре, как известно, Осип Эмильевич был выслан из Москвы, и Анна Андреевна стала останавливаться у нас, спала на той же узенькой коечке, на которой доводилось ночевать и ее сыну».

По словам моих родителей, когда Ахматова впервые поселилась у них, они изнемогали от почтительности и смущения. Однако отцу, человеку живому и острому, такая атмосфера в доме явно не подходила. Однажды вечером хозяева куда-то отправлялись, Ахматова сказала, что посидит дома — хочет поработать. Уходя, от самой двери, едва ли не зажмурившись от страха, Ардов сказал:

— Словарь рифм — на полке слева.

Анна Андреевна громко рассмеялась в ответ.

С этой минуты лед отчужденности растаял и неловкость исчезла, с тем чтобы больше никогда не возникнуть.

К тем, «нащокинским», временам относится и еще одна история, которую иногда вспоминали на Ордынке. Брат Алексей рос довольно избалованным ребенком. Однажды нянька кормила его котлетами, а он капризничал, хныкал, отказывался их есть... Свидетельницей этой сцены была Ахматова. В какой-то момент она взглянула на мальчика и весьма вежливо осведомилась:

— Алеша, вы не любите котлеты?

Самый тон и обращение на «вы» произвели на брата такое сильное впечатление, что он тут же принялся есть. И впредь в присутствии Анны Андреевны уже никогда не капризничал.

В тридцатые годы литературные дела Ардова шли превосходно. У него выходили книги, в московском Театре сатиры с успехом шла его пьеса «Мелкие козыри», его скетчи исполнялись на эстраде, его смешные рассказы читали замечательные артисты, такие, как Игорь Ильинский и Владимир Хенкин...

В те времена Ардов был знаком с удивительным человеком, звали его Александр Морисович Данкман — он был создателем и руководителем ГОМЭЦа. (Если не ошибаюсь, это расшифровывалось так: Государственное объединение музыки, эстрады и цирков.)

Данкман никогда не состоял в большевицкой партии, а потому в тридцатых годах он не мог быть номинальным руководителем своего учреждения. Он принужден был довольствоваться должностью заместителя директора, а начальником числился коммунист. Сначала это был какой-то латыш. Делами своей конторы он вовсе не занимался, а поскольку тогда шла сталинская «коллективизация», то его все время отправляли в подмосковные деревни, где надо было организовывать колхозы. После каждой такой командировки он привозил протокол, который выглядел примерно так:

«Мы, нижеподписавшиеся крестьяне деревни Черная Грязь, на общем собрании постановили объединиться в колхоз имени Розы Люксембург и Карла Либкнехта».

По какой-то причине этот латыш проникся доверием и симпатией к своему заместителю и чувства эти выразил весьма своеобразно. Вернувшись из очередной командировки, он привез такой протокол:

«Мы, крестьяне деревни Ивановки, на общем собрании решили объединиться в колхоз имени тов. А. М. Данкмана».

Александр Морисович поблагодарил управляющего за оказанную ему честь, а копию протокола отослал в Московский комитет ВКП(б). На другой день наивного латыша сняли.

Дольше всех в должности управляющего ГОМЭЦа пробыл старый большевик по фамилии Ганецкий. У них с Данкманом была общая секретарша.

Вот появляется посетитель:

— Могу я видеть товарища Ганецкого?

Секретарша спрашивает:

— А вы по какому вопросу?

— Я — по делу.

— Ах по делу?.. Тогда, пожалуйста, в этот кабинет к Данкману...

В те годы по инициативе Данкмана в цирке снова стали проводиться «чемпионаты по борьбе». У публики это имело огромный успех. Но вот однажды Ганецкий призвал своего заместителя.

— Александр Морисович, — с возмущением заговорил управляющий, — я только что узнал, что наша цирковая борьба — сплошное жульничество!..

— То есть как — жульничество?

— Да так! Оказывается, это — не настоящие чемпионы. Там заранее известно, кто кого и на какой минуте положит на лопатки... И даже каким именно приемом!.. Это же обман!..

— Простите, — сказал Данкман, — вы когда-нибудь слушали оперу «Евгений Онегин»?

— Да, слушал...

— Так вот, когда вы идете в театр на эту оперу, вы прекрасно знаете, что там будет сцена дуэли и в определенный момент спектакля Онегин застрелит Ленского. И ведь это вас нисколько не возмущает!..

Данкман всегда чувствовал себя хозяином ГОМЭЦа, а потому был рачительным даже до скупости. Ардов вспоминал такую сценку. Они с Данкманом гуляли в фойе московского цирка и обсуждали какой-то договор — мой отец должен был написать либретто. Когда они проходили мимо буфетной стойки, Данкман взял с блюда пирожное и протянул собеседнику:

— Угощайтесь, пожалуйста.

Ардов пирожное не взял и сказал:

— Благодарю вас, не стоит. Я сейчас съем это пирожное, а потом буду вынужден уступить вам несколько сот рублей из моего гонорара...

— Ах, вы этот приемчик знаете, — отозвался Данкман и положил пирожное обратно на блюдо.



До войны Ардов пробовал свои силы и в кинематографе. Однако опыт этот был весьма неудачным: он написал сценарий под названием «Светлый путь», а режиссер Григорий Александров снял на этой основе свой бредовый фильм. Я картину никогда не видел, но родители говорили, что от ардовского сценария там осталась лишь одна шутка — вывеска с надписью «Гостиница Малый Гранд-отель». Мама вспоминала, как они с отцом сидели на первом просмотре этой ленты. Глядя на летающий в небе автомобиль и прочие в том же роде режиссерские находки, Ардов то и дело восклицал:

— Ух ты!.. Ух ты!..

Однако же рассориться с Александровым и убрать свою фамилию из титров мой родитель все же не решился... (А вот у Ильфа и Петрова решительности было достаточно, они в подобном случае пошли на конфликт, и фильм Григория Александрова «Цирк» вышел на экраны без указания имен сценаристов.)

Я родился в 1937 году, а через год после этого мои родители еще раз поменяли место жительства. На этот раз наша семья переехала из Лаврушинского переулка на Большую Ордынку, в ту самую квартиру, которая благодаря Ахматовой получила наименование «легендарная».

Со временем квартира была обжита и обставлена не без некоторой роскоши. В кабинете Ардова была мебель карельской березы, в столовой — красного дерева... На кухне жила домашняя работница по имени Оля, в детской комнате — нянька Мария Тимофеевна. А кроме того, у Ардова появилась секретарша — Наталья Николаевна.

Но все это благополучие было весьма зыбким: в стране господствовал террор, во Владимире были арестованы родители моей матери. Ардов рассказывал: — В тридцать седьмом году я встретил одну из дочерей знаменитого фотографа Наппельбаума. Спрашиваю: «Что подельывает отец?» Она отвечает: «Отец? Он бьет негативы...»

Тут требуется некоторое пояснение. Моисей Наппельбаум в течение многих лет фотографировал знаменитых людей — политиков, писателей, актеров, музыкантов... А в тридцать седьмом этих деятелей арестовывали в первую очередь, и ему всякий день приходилось разбивать стеклянные негативы с изображением очередных жертв террора.

В феврале сорокового года родился мой младший брат Борис.

Когда разразилась война, Ардова на фронт не призвали, у него был так называемый «белый билет» — из-за порока сердца. Отец пошел в армию добровольно уже в сорок втором году. Нас он отправил в эвакуацию вместе с семьями других писателей, а сам остался в Москве.

В те дни в городе практиковались ночные дежурства, во время воздушных тревог люди поднимались на крыши домов, чтобы сбрасывать оттуда зажигательные бомбы... Отцу несколько ночей довелось дежурить в Союзе писателей. Пока тревога не объявлялась, дежурный мог находиться в какой-то комнате, где стояли стулья и огромный стол, покрытый зеленой скатертью. Ардов не долго думая улегся на этот стол, а сукно использовал как одеяло.

Через некоторое время в комнату заглянула уборщица.

— Ой, — удивилась она, — это я в первый раз вижу!

— Неужели никто из дежурных тут не ложился? — спросил ее отец.

— Нет, на столе они все лежали. Но еще никто не догадался накрыться скатертью...

В самом начале войны кто-то из приятелей так отозвался о моем отце:

— Ардов такой нахал, что даже не трус.

В нем не было не только трусости, но и склонности к хвастовству. О войне он рассказывал не часто и не много, хотя получил несколько медалей и даже орден — Красную Звезду.

Мне теперь вспоминается лишь одно военное приключение, о котором Ардов иногда говорил. Это было в Краснодаре, в тот самый момент, когда к городу подошли немцы. Отец ехал в грузовике рядом с шофером. И вот они разглядели, что впереди стоят какие-то танки. Тогда водитель предложил:

— Давай подъедем поближе, посмотрим — наши они или немецкие...

Ехать долго не пришлось, один из танков выстрелил, снаряд разорвался впереди грузовика, и машина тут же заглохла. Ардов и шофер выбрались из кабины и пустились наутек... Отец вспоминал:

— В этот момент я вовсе забыл про свой порок сердца. Я с легкостью перепрыгивал через полутораметровые плетни. И притом еще, выхватив пистолет, стрелял назад, в сторону предполагаемой погони...

У Ардова было звание майора, и всю войну он служил в армейской печати. В той газете, где ему пришлось пробыть дольше всего, редактором был некий полковник по фамилии Березин. Он Ардова очень не любил и старался изводить мелкими придираками.

Происходило это следующим образом. Отец приносил редактору фельетон, тот смотрел его и говорил:

— Это — г..., а не материал.

Ардов удалялся, и через два часа у него был готов новый фельетон. (Писать для фронтовой газеты было вовсе не трудно.)

Редактор опять браковал:

— И это никуда не годится...

Еще через два часа отец приносил третий фельетон...

За единообразием Ардова с Березиным с интересом и сочувствием к отцу следили прочие сотрудники редакции.

Те же тексты, что редактор браковал, Ардов отсылал в Москву, в «Крокодил», где их частенько публиковали. И то, что отвергнутые им вещи выходят в центральной печати, симпатии к отцу у Березина не прибавляло.

Уже в конце войны моя мать где-то встретилась с Александром Фадеевым, который, как известно, был первым секретарем Союза писателей. Между прочим, он ей сказал:

— Березин все время шлет нам в союз доносы на Ардова. Но судя по тому, что он пишет, будто Виктор беспробудно пьет, там и все остальное — вранье...

(Все, кто знал Ардова, были осведомлены о том, что он в рот не берет спиртного.)

А еще я вспоминаю, как Ардов осуждал некоторых военных деятелей за излишнюю жестокость. В частности, он говорил это о Кагановиче, который был членом Военного Совета фронта. То же самое относилось и к Жукову. Отец говорил, что, приезжая в какую-нибудь подчиненную ему часть, знаменитый маршал то и дело произносил:

— Расстрелять и оформить через трибунал...

После войны отец довольно скоро демобилизовался. Он сдал свой пистолет «ТТ», но у него еще оставался маленький браунинг, который хранился в ящике письменного стола. С этим пистолетом связана памятная мне история.

Мой старший брат Алексей Баталов в ранней юности отличался тем, что когда-то называли любострастием. Когда ему было всего шестнадцать, он всерьез вознамерился жениться на даме двадцати двух лет.

— Алеша, — внушали ему, — в таком возрасте твой брак не станут регистрировать...

А он, как всегда, рассчитывал на покровительство и помощь Ардова и поэтому с беспечностью говорил:

— Виктор мне это устроит.

Так вот, когда к Алексею в гости приходили знакомые девушки, он доставал браунинг из ардовского стола и со свойственным ему артистизмом разыгрывал перед ними драматические сценки. И это едва не стало причиной трагедии.

Однажды у нас в гостях был какой-то мальчик, наш с младшим братом приятель. Мы втроем зашли в кабинет к отцу и попросили его показать нам пистолет. Ардов достал свой браунинг, шутя навел его на брата Бориса и сказал:

— Сейчас я тебя застрелю...

При этом он был убежден, что патрона в стволе нет. Отец не догадывался, что Алексей при помощи этого оружия развлекает своих приятельниц...

Слава Богу, в последнюю секунду Ардов отвел пистолет в сторону, а вслед за тем прогремел выстрел — пуля вошла в стену... Мы опешили, а отец побледнел как полотно... Браунинг был удален из дома в тот же день.

Когда брат Алексей стал учиться в школе-студии при Художественном театре, Ардов стал называть его «народный артист нашей квартиры». Шли годы, и вот ему действительно присвоили звание «народного». Узнав об этом, отец покачал головой и сказал:

— Вот тебе и «народный артист нашей квартиры»!..

После войны на Ордынке еще некоторое время продолжалось относительное благоденствие. Был даже приобретен трофейный автомобильчик, самый маленький, назывался он, кажется, «опель-адмирал». Алексей от него буквально не отходил, на этой машине он и научился вождению...

И еще памятная мне история. С раннего детства я терпеть не мог кипяченого молока и манной каши. (Я и теперь испытываю к ним отвращение.) И вот году в сорок пятом отец решил приучить меня к манной каше. С этой целью он повел меня в роскошный ресторан, в гостиницу «Москва». Там Ардова знали, к нашему столику приблизился метрдотель, и отец попросил, чтобы нам приготовили изысканное блюдо — гурьевскую кашу...

Минут через тридцать официант поставил передо мною глубокую тарелку, которая выглядела привлекательно. Сверху был пестрый узор, его составляли цукаты, варенье из различных ягод и сиропы... Но под всем этим великолепием была все та же столь ненавистная мне манная каша. Я зачерпнул ложку, другую — и категорически отказался это есть. Отец был разочарован...

А еще гостиница «Москва» мне памятна потому, что в ней останавливался Райкин, когда он приезжал из Ленинграда. Мой отец сочинял для него монологи и сценки, работа над репертуаром происходила в номере, где жил Аркадий Исаакович. Однажды я присутствовал при этом и до сих пор помню впечатление от мгновенных метаморфоз — Райкин как никто умел перевоплощаться буквально на глазах зрителя.

«А потом случилось то, что случилось» — таким эвфемизмом Ахматова обыкновенно обозначала смуту 1917 года. А я в данном случае отношу эту формулировку к году сорок шестому, когда вышло постановление ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и был опубликован погромный доклад Жданова.

Это страшное событие коснулось нашей семьи двояко. Во-первых, Анна Ахматова на нескольких последующих лет стала фигурой одиозной, а сын ее, Л. Н. Гумилев, был арестован и получил длительный лагерный срок; а во-вторых, появился негласный запрет на публикацию произведений Ардова; хотя его имя не фигурировало ни в постановлении, ни в докладе, но то, что там говорилось о творчестве Зоценки, автоматически распространялось на всех сатириков и юмористов.

Отца отказывались печатать даже в «Крокодиле», а ведь Ардов был одним из основателей журнала и до войны некоторое время исполнял там обязанности главного редактора. Впрочем, это юмористическое издание в конце сороковых годов имело устрашающий вид. Мне вспоминаются жуткие картинки, долженствующие играть роль карикатур, — Уинстон Черчилль в обнимку с атомной бомбой, Франко и Тито — оба с окровавленными топорами...

Начиная с сорок шестого года и вплоть до хрущевской «оттепели» Ардову было очень трудно кормить семью. Он был принужден писать репертуар для артистов эстрады и цирка, но и там действовала жесточайшая, бессмысленная цензура. А кроме того, отцу разрешалось выступать с чтением своих рассказов, но лишь в глухой провинции или в маленьких залах на окраинах Москвы...

Тогда, в конце сороковых, был продан рояль, с довоенных времен стоявший в большой комнате, а потом его участь разделили все более или менее ценные книги, в том числе Полное собрание сочинений Льва Толстого...

Но вот настал март пятьдесят третьего. Страна погрузилась в траур, газеты и радио сообщали о болезни «великого вождя и учителя». А шестого марта было объявлено о его смерти...

Я хорошо запомнил этот день. У нас в школе по существу никаких занятий не было, — все рыдали — и учителя, и ученики... Мой младший брат Борис вернулся домой из своей школы, где тоже все плакали. Но, войдя в столовую, он вдруг увидел, что наш отец стоит перед зеркалом и, приплясывая, тихонько напевает:

— Наконец-то сдох, наконец-то сдох...

Боря потом говорил нам, что в его душе на какой-то момент пробудились «чувства Павлика Морозова»...

В те времена мой отец и Ахматова имели обыкновение прогуливаться по вечерам, они шли в сторону Москвы-реки и Красной площади. Там, в самом начале нашей Ордынки, был небольшой скверик, Анна Андреевна и Ардов усаживались на скамейку и беседовали... Оба они были людьми наблюдательными, а потому заметили, что майскими ночами пятьдесят третьего Москва жила какой-то особенно напряженной жизнью — туда-сюда сновали машины, и притом военные... Разгадка не заставила себя ждать: вскоре стало известно, что пал Лаврентий Берия. В память этого события Ахматова и Ардов дали название своему излюбленному месту «скверик имени товарища Берии».

С годами мой отец, что называется, прижился в Замоскворецье, полюбил эту часть Москвы. Первые два квартала Пятницкой улицы всегда были, да и остаются торговым местом — здесь множество разнообразных магазинов. И вот во всех этих лавках и лавчонках Ардов был своим человеком. Он дружил с продавцами, разговаривал с ними, шутил, дарил им свои книжки.

В начале шестидесятых годов на Пятницкой открылась шашлычная, вполне пристойное по тем временам заведение. Мой отец иногда захаживал туда — поесть мяса. И вот однажды, выходя из этой шашлычной, Ардов остановился в дверях, высыпал на ладонь и пересчитал мелкие монеты. Это заметила проходившая мимо старушонка и сказала ему с ехидством:

— Ну что, дед, пропился? Теперь тебе твоя старуха даст!

Но вернусь к пятьдесят третьему году. Тем летом произошло событие, которое предвещало наступление хрущевской «оттепели». В нашей квартире на Ордынке раздался звонок, мама открыла дверь и увидела перед собою высокую женщину, в темном платье, в платочке и с узелком в руках... Вглядевшись, мама ахнула — это была исхудавшая и измученная тюрьмой Лидия Русланова.

Эта замечательная певица была дружна с моими родителями, а потому, освободившись из заключения, она пришла именно на Ордынку. (Собственная ее квартира в Лаврушинском переулке, разумеется, была занята, туда вселился какой-то важный чин с Лубянки.)

Сама Лидия Андреевна впоследствии рассказывала, что Ардов, верный своему веселому нраву, едва поздоровавшись с нею, произнес:

— Лидка, я тебе сейчас новый анекдот расскажу...

А дня через два-три после этого события на Ордынке появился и муж Руслановой — генерал Владимир Викторович Крюков. Тут надобно заметить, что до настоящей, массовой реабилитации было еще далеко. Но Крюков и Русланова пострадали из-за своей близости к Жукову, и маршал добился их освобождения сразу же, как только Берия был низвергнут.

Я хорошо запомнил фразу, которую мой отец любил произносить в конце пятидесятых, в шестидесятые и даже в семидесятые годы:

— С тех пор, как умер товарищ Сталин, мне не на что жаловаться...

И он в большой мере был прав. У него опять стали выходить книги, он много печатался в газетах и журналах, выступал по радио и на телевидении. Годы униженного безденежья и насильственной немоты вроде бы миновали...

Но мне представляется, что причины для жалоб у него по-прежнему оставались. Ведь Ардов был необычайно остроумным и одаренным человеком, и

если бы он прожил жизнь, не ощущая гнета советской — даже и послесталинской — цензуры, он мог бы стать писателем иного масштаба.

Мой отец был широко образованным человеком, прекрасно знал историю, а русская литература была для него чем-то вроде религии. Когда он произносил имя обожаемого им Льва Толстого, его глаза увлажнялись. Но при том он ценил графа именно как великого писателя, а не как моралиста и «пророка».

Кстати сказать, Ардов очень любил и часто рассказывал «яснополянские анекдоты». Ну, например, такой. Софья Андреевна из медицинских соображений негласно добавляла в вегетарианскую еду своего мужа мясную пищу. В какое-то из блюд по ее приказу клали вареную курятину, которая предварительно проворачивалась в мясорубке. Тайна эта была не великая, и кухарка громко говорила своим помощникам:

— Графовую курицу пора перемалывать...

Но чаще всего мой отец вспоминал еще один анекдот. Году эдак в 1909-м кто-то из сыновей Льва Толстого прибыл в Ясную Поляну. Обстановка там была жуткая, ссора между родителями в разгаре, а потому молодой граф отправился в гости к своему приятелю-помещику, который жил неподалеку. Вернулся он под самое утро — его привезли в пролетке к воротам яснополянской усадьбы. По причине сильнейшего опьянения идти граф не мог и двинулся к дому на карачках. В этот момент навстречу ему вышел Лев Николаевич, он по обыкновению собственноручно выносил ведро из своей спальни. Увидевши человека, который приближается к дому на четвереньках, Толстой воскликнул:

— Что это такое?!

Молодой граф поднял голову, взглянул на фигуру отца и отвечал:

— Это — одно из ваших произведений. Быть может, лучшее.

Ардов был отнюдь не только любителем и коллекционером забавных историй. Его авторству принадлежали блистательные шутки, которые иногда имели хождение в качестве анекдотов.

Еще в двадцатых годах Ардов однажды был в Доме искусств. Там он проходил мимо ресторанного столика, за которым сидела опереточная примадона Татьяна Бах и ее муж — известнейший, а потому и состоятельнейший врач-гомеопат. Этот человек обратился к моему отцу с такими словами:

— Говорят, вы очень остроумный человек. Скажите нам что-нибудь смешное.

Отец взглянул на него и не задумываясь произнес:

— Гомеопат гомеопатую, а деньги загребает ал-лопатою...

В шестидесятых годах я часто бывал в Коктебеле и там подружился с Марией Сергеевной Благоволитиной. Она была адвокатессой, дед ее — известный московский протоиерей, а отец — еще более знаменитый профессор-гинеколог. Однажды она мне сказала:

— А ты знаешь, как твой отец переименовал нашу фамилию?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— В одном своем фельетоне, еще в двадцатых годах, он так написал: «Известный гинеколог профессор Влагаболин...»

Был у Ардова приятель, который почти всю жизнь работал в Московском планетарии. Отец сказал ему:

— Знаешь, почему тебя там так долго держат? Потому что ты звезд с неба не хватаешь...

Близкую приятельницу Ахматовой, Эмму Герштейн, которая долгие годы занималась творчеством М. Ю. Лермонтова, Ардов называл так:

— Лермонтоведка Палестины.

О другой даме он говорил:

— Гетера инкогнито.

На Ордынку пришел некий литератор, который публиковался под псевдонимом Басманов. Отец надписал ему свою книжку:

Сунь это в один из карманов — (В. Е. Ардов)  
Отверженный Богом Басманов. (А. К. Толстой)

Отец совсем неплохо писал шуточные стихи и эпиграммы. Например, такая:

Скажу про басни Михалкова,  
Что он их пишет бестолково.  
Ему досталась от Эзопа,  
Как видно, не язык...

Я хочу привести тут еще одну эпиграмму, но ее нужно снабдить предисловием. В начале шестидесятых годов в ЦК партии было решено добиться, чтобы советский классик Михаил Шолохов был удостоен Нобелевской премии. С этой целью его несколько раз посылали в Швецию, где он читал лекции и всячески себя рекламировал. В этот самый период Ардов сочинил эпиграмму, но — увы! — содержащееся в ней пророчество не сбылось.

Зря Шолохов к шведам в столицу  
Все ездит за премией Нобеля —  
Немыслимо красному кобелю  
Под цвет либеральный отмыться.  
В Стокгольме и малую толику  
Донскому не взять алкоголику.

И еще о советской литературе мне вспоминаются такие слова отца:

— В полном собрании сочинений любого нашего классика последний том должен иметь такой подзаголовок: «Письма, заявления и доносы».

Ардов говорил:

— Политика кнута и пряника известна еще со времен Древнего Рима. Но большевики тут ввели некое новшество: они первыми догадались выдавать кнут за пряник...

Отец учил нас с братом:

— Огорчаться и расстраиваться от повсеместного хамства и идиотизма жизни в нашей стране — совершенно бессмысленно... Представь себе: ты бежал по лесу и ударился лбом о сук березы — ну вот и обижайся на этот лес, на эту березу...

Помнится, когда мне надоела мелкая литературная поденщина, которая кормила меня в шестидесятые и семидесятые годы, я поделился с отцом своими планами — бросить это унизительное дело. Тут он мне сказал лишь одну фразу: «Куском хлеба в футбол не играют...»

Я хорошо запомнил и еще одно его суждение:

— Пожилых мужчин подстерегает страшная опасность. Некоторые из них лет в шестьдесят расстаются со старыми женами и уходят к молодым возлюбленным. Это — смертники...

Слава Тебе, Господи, самого Ардова сия чаша миновала, хотя он был, что называется, «ходоком по этой части». И не просто любителем «клубнички», а даже и теоретиком в данном вопросе. Но умолкаю, ибо писать об этом мне крайне неприятно...

О некоторых своих знакомых Ардов говорил так:

— Это — ужаснувшийся.

Такой термин применялся к людям, которые смогли пережить кровавый сталинский террор, но у них появился патологический страх перед самой советской системой — реальное ощущение того, что в этой стране любой человек в любую минуту может быть раздавлен, уничтожен, превращен в лагерную пыль...

Сам Ардов к этой категории не принадлежал. Но нельзя сказать, что десятилетия, прожитые под гнетом большевицкого режима, прошли для него даром. Ему было свойственно то, что я бы обозначил словом «мимикрия». Благополучие отца и всей нашей семьи всегда зависело от всевластного племени

советских бюрократов, и сама жизнь научила Ардова общаться с ними таким образом, чтобы не вызывать у них ни малейшего подозрения в нелояльности.

20 декабря 1963 года Л. К. Чуковская — а ей никогда и ни в какой степени не была свойственна эта «мимикрия» — возмутилась письмом, которое Ардов адресовал главному ленинградскому начальнику — Толстикову. (Мой отец пытался защитить Иосифа Бродского.)

Лидия Корнеевна отмечает в своем дневнике, что письмо написано «фальшивым, заискивающим тоном», но тут же признает:

«Необходимо спасти Иосифа. Ардов к Толстикову вхож и знает, на каком языке с ним разговаривать».

К стыду всей нашей семьи существует еще одно письмо Ардова, написанное в подобном «тоне» и на том же «языке», и оно тоже было адресовано в Ленинград. Я имею в виду позорное обращение отца в тамошний суд, когда разбиралось дело о судьбе архива Ахматовой. Ардов единственный из всех друзей Анны Андреевны выступил на стороне И. Пуниной против законного наследника — Л. Н. Гумилева.

В те времена и моя мать, и мой отец осуждали его за жестокость, которую Лев Николаевич проявлял по отношению к своей старой и больной матери. Но в данном случае привычная «мимикрия» Ардова подвела, и его письмо воспринималось как политический донос на Гумилева.

Ардову в большой степени было свойственно то, что он сам характеризовал термином «общественный темперамент». Он состоял членом множества комиссий, ходил на какие-то совещания, что-то организовывал сам... И все это совершенно бескорыстно. К тому же мой отец был очень добрым и отзывчивым человеком. По этой причине у нас на Ордынке был нескончаемый поток тех, кому он пытался оказывать помощь, — самодеятельные и провинциальные артисты, «юные дарования» и просто графоманы, люди, пострадавшие от советских бюрократов, и т. д. и т. п.

В начале семидесятых здоровье Ардова пошатнулось. К его всегдашним недомоганиям прибавился диабет. Но он не сдавался, продолжал сочинять рассказы и фельетоны, ездил на публичные выступления...

В это самое время я стал показывать отцу мои собственные сочинения, которые писались не для тогдашней печати, а, что называется, «в стол». Он отнесся к этому с полным одобрением, и вот тогда-то я рискнул обратиться к нему с таким предложением:

— Напиши настоящие, честные мемуары. Ведь ты прожил долгую жизнь, общался с интереснейшими людьми... Твоя память хранит столько замечательных историй. Я берусь тебе в этом помочь. Мы возьмем магнитофон, ты будешь говорить, я буду печатать на машинке. Потом мы будем вносить исправления... Пойми, ты обязан это сделать!..

Но — увы! — уговоры мои не подействовали, отец решительно отказался. И мне кажется, что причиной тому были не только его немощи, но и все та же привычная «мимикрия». Ему уже невозможно было отбросить проклятый «советский» язык и заговорить на простом, человеческом...

21 октября 1975 года отцу исполнилось семьдесят пять. По этому случаю был устроен юбилейный вечер в Доме актера. (Дом литераторов Ардов не любил.) Чувствовал он себя совсем плохо, но его усадили на сцене, и он с улыбкой выслушивал обычные в таких случаях комплименты, лесть и благие пожелания.

Когда чествование закончилось, мы с братом Борисом повели отца к автомобилю. Но он вдруг заупрямился и заявил:

— Я хочу рыбки поесть...

Желание его было исполнено, и Ардов последний раз в жизни посетил свое любимое заведение — ресторан при Доме актера.

В самом начале семьдесят шестого года его пришлось уложить в больницу при ВДНХ. Тамошние врачи Ардова знали и любили. Дежурный доктор осмотрел его, потом вышел в коридор и сказал нам с братом:

— Вы его живым отсюда не увезете...

Ардова положили в отдельной палате, но обеспечить ему постоянный уход врачи не могли, а потому мы с братом Борисом были при нем неотлучно: сутки один, следующие — другой... Это было изнурительно, ночью приходилось дремать сидя на стуле, другой койки в палате не было.

20 февраля наступило резкое ухудшение. Врачи, то и дело появлявшиеся в палате, выглядели мрачными и озабоченными... И вдруг через сутки — 22-го — состояние отца улучшилось.

Тут я впервые ощутил, насколько человеческая природа противится смерти близких людей. Ведь отец лежал совершенно беспомощный, с ним даже разговаривать было невозможно, мы с братом уставали от дежурств... Но когда наступило это последнее улучшение, я подумал: наплевать на усталость, я готов, я согласен вот так же молча сидеть у кровати отца!.. Пусть это длится бесконечно — лишь бы знать, что он еще жив, что он еще дышит.

Отец был первым человеком, который расставался с жизнью на моих глазах. (В последующие годы я видел много умиравших, этот опыт мне дало священство.) Но именно в те дни я получил на прочтение поразительную книжку, она называется «Невероятное для многих, но истинное происшествие» (издатель К. Иксуль, Сергиев Посад, 1916). Она написана интеллигентным, литературно одаренным человеком, который вкусил телесную смерть, а потом чудесным образом был возвращен к жизни.

И вот тогда, в феврале семьдесят шестого года, сидя у постели своего умирающего отца, я удивлялся, насколько автор «Невероятного происшествия» был точен в своем описании. Отец был совершенно беспомощен, но на лице его отражалась работа мысли. Он как будто бы говорил мне те самые слова, что я читал в раскрытой книге:

«Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя и в то же время относился к себе же настолько безучастно, что казалось, будто даже утерять способность физических ощущений. Я видел, например, что доктор протягивал руку и брал меня за пульс — и я видел и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал...»

Во мне как бы вдруг обнаружились два существа: одно — крившееся где-то глубоко и главнейшее; другое — внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь словно связывающий их состав выгорел или расплавился, и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело».

25 февраля в двенадцать часов дня я в очередной раз пришел в больницу, чтобы сменить на дежурстве брата Бориса. Со мною пришла наша мать. Отец лежал на спине, с полузакрытыми глазами. Казалось, он уже был без сознания. Но едва заметное движение губ — попытка улыбнуться — дало нам понять, что он наше появление заметил... Теперь его лицо выражало какую-то невероятную усталость — не боль, не страдание, а именно крайнее утомление. Я опять взял «Невероятное происшествие», открыл нужную страницу и передал книжку матери. Мы с ней стали читать вдвоем:

«Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем моим членам подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения, представление такой тяги уже оказывалось ничтожным...»

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я несомненно страдал, мне было тяжело, томно... Я чувствовал только непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше. И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уже вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому я всем моим естеством припаююсь, срastусь с ним так, что уже ни-



какая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что я не весь могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такою же силою, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому и страдания».

Мама молча взглянула на меня и закрыла книгу. Краткий зимний день угасал. В палате было полутемно, горела только лампа на столике у кровати. Она освещала худое изможденное лицо, на котором было написано напряжение и мука, смертная мука... И вдруг знакомые черты исказились гримасой — видно было, что отец силится, хочет пошевелиться... Это длилось лишь несколько мгновений... Тут он глубоко вздохнул, чуть дернулся — и душа его отлетела...

## II

Моя мать, Нина Антоновна Ольшевская, родилась во Владимире 31 июля/13 августа 1908 года. Ее отец, Антон Александрович, был сыном главного лесничего Владимирской губернии. А женою этого моего прадеда была польская аристократка — урожденная графиня Понятовская. В семейном предании сохранилась романтическая история. Сам прадед Ольшевский был дворянином незнатного рода, и родители прабабки противились их браку. Тогда молодые уехали из родных мест, обвенчались без родительского благословения и поселились достаточно далеко от Польши — во Владимире. Мама вспоминала, как в раннем детстве ее и младшего брата Анатолия на «католическое Рождество» водили поздравлять дедушку и бабушку...

Мой дед, Антон Александрович, был личностью весьма своеобразной. Смолоду он собирался стать врачом, но с медицинского факультета его исключили за то, что во время пения российского гимна «Боже, Царя храни» он не встал, как все прочие студенты, а продолжал сидеть. Эта «революционная выходка» стоила ему профессии — стать целителем людей ему не позволили, и он поневоле стал ветеринаром.

Дед был невысокого роста, с правильными чертами лица. Характер у него был своеобразный: при удивительной доброте необычайная горячность и вспыльчивость — он то и дело выкрикивал свое «ко псам!». Однажды его пригласили поохотиться на вальшнепов. Там, стоя на опушке леса, он подвергся нападению целой тучи комаров, и, не выдержав укусов, горе-охотник стал разгонять насекомых выстрелами из ружья!

Моя бабка со стороны матери, Нина (Антонина) Васильевна, была довольно известным во Владимире зубным врачом. Родом она из дворянской семьи Нарбековых, у нее были две сестры и брат Николай Васильевич. Как это бывало в тогдашней интеллигентской среде, все они были враждебно настроены по отношению к власти и даже формально являлись членами партии эсеров (социалистов-революционеров). Притом Нина Васильевна возглавляла местную ячейку своей партии. (Впоследствии, уже при большевицком режиме, это обстоятельство сыграло роковую роль в судьбе моей бабки и ее брата.)

У Нарбековых был во Владимире собственный дом с садом. Он и по сей пору стоит на главной улице, совсем неподалеку от знаменитых соборов — Дмитриевского и Успенского. Мама вспоминала, как в детстве их с братом именно туда водили на службу.

Насколько можно судить, у моей матери довольно рано пробудился интерес к театральному искусству. Ее приятель, также владимирский уроженец Павел Геннадьевич Козлов, вспоминал, как совсем юная Нина Ольшевская занималась мелодекламацией, а он ей аккомпанировал на фортепиано.

Всего семнадцати лет от роду она приехала в Москву и поступила в студию при Художественном театре. А педагогом, который стал руководить их

курсом, был сам Станиславский. Этим обстоятельством мать гордилась всю свою жизнь.

Вместе с нею там учились еще две барышни, которые также носили польские фамилии, — Вероника Полонская и Софья Пилявская. В шестидесятые годы я встречал старых москвичей, которые с восхищением вспоминали, насколько хороши были эти три подружки из мхатовской студии.

Примерно через год после появления в Москве моя мать вышла замуж за Владимира Петровича Баталова, который был актером Художественного театра. В двадцать лет, в 1928 году, она родила старшего сына — Алексея.

Артистическая карьера моей матери поначалу складывалась довольно успешно. После окончания студии ее приняли в труппу, что безусловно могло считаться огромной удачей. Но ведь любой театр, а уж тем паче такой, как тогдашний Художественный, являет собою некое кладбище не востребуемых дарований.

Тут я хочу отвлечься от жизнеописания своей родительницы и привести историю, которая наглядно объяснит, что я имею в виду. Знаменитый актер Игорь Ильинский еще до того, как стал блистать на подмостках у Мейерхольда, также был принят в Художественный театр. Там же служил его приятель — Аким Тамиров. В то время, когда Ильинский появился в труппе, должна была осуществляться постановка «Ревизора». Так вот, Тамиров сказал ему:

— Мы с тобой оба небольшого роста, полноватые... Давай будем ходить вместе, разговаривать, жестикулировать: нас заметят и нам могут дать роли Бобчинского и Добчинского...

От этого предложения Ильинский пришел в ярость и немедленно подал заявление об уходе из Художественного театра, не желая находиться в стенах заведения, где актеры должны добиваться ролей таким унижительным способом.

Моя мать не была столь темпераментной и решительной и прослужила в Художественном несколько лет. Там, как водится, ее использовали в массовых сценах. Я не уверен, что ей давали хоть какие-нибудь эпизодические роли, но зато она участвовала в гастрольной поездке вместе с другими молодыми артистами и там познакомилась с моим будущим отцом.

Через несколько лет ей надоело «прозябание» в труппе Художественного, и она перешла в только что созданный Театр Красной Армии. Но связь с МХАТом сохранилась у моей матери во всю последующую жизнь, а Софья Станиславовна Пилявская оставалась ее подругой.

Мой отец тоже дружил с некоторыми актерами из Художественного, а потому на Ордынке часто рассказывались истории, которые можно было бы назвать «мхатовским фольклором». Например, мама рассказывала, что старая гримерша в тридцатые годы вспоминала такую сценку: две артистки на фантах разыгрывали двух знаменитых русских писателей — какой кому достанется. Звали этих актрис Ольга Леонардовна Книппер и Мария Федоровна Андреева.

А отец любил вспоминать шутку актера В. В. Лужского, который так называл Книппер-Чехову:

— Беспокойная вдова покойного писателя.

И еще один рассказ, который бытовал у нас на Ордынке. По мнению моих родителей, самым талантливым из всех мхатовских актеров был Л. М. Леонидов. Был он к тому же человеком очень умным и с сильным характером. Все, даже сам Станиславский, его несколько побаивались.

Во время гастрольной поездки мхатовцы плыли на корабле через Атлантику. Все было по высшему разряду, обедали они в роскошном ресторане, а потому и одевались к столу соответствующим образом. Только Леонидов позволял себе являться без галстука, а то и вообще без пиджака. Так продолжалось в течение нескольких дней плавания по океану. Наконец Станиславский решился сделать Леонидову замечание:

— Леонид Миронович, тут один англичанин мне говорил... Он удивляется... Здесь положено являться к обеду тщательно одетым, а вы себе позволяете...

— Что?! — перебил его Леонидов. — Покажите-ка мне этого англичанина. Да я ему сейчас...

Станиславский испугался скандала и поспешно сказал:

— Его тут нет... Он на минуточку сошел с парохода...

Как известно, в Художественном театре всегда шла отчаянная вражда актерских поколений. Притом во МХАТе существовал обычай: если хоронили кого-нибудь из основателей труппы, то при выносе гроба звучали фанфары — музыка из финальной сцены спектакля «Гамлет». (Последний раз эти фанфары прозвучали в 1959 году, во время похорон О. Л. Книппер-Чеховой.)

Борис Добронравов, один из самых талантливых актеров второго поколения мхатовцев не стеснялся своих чувств по отношению к «старикам». Если он видел кого-нибудь из них в фойе или в буфете театра, то громко произносил своим хорошо поставленным голосом:

— Давно я, грешник, фанфар не слышал...

Когда журнал «Новый мир» (1965, № 8) опубликовал «Театральный роман» М. А. Булгакова, мы на Ордынке восприняли это с восторгом. Отец взял карандаш и прямо на журнальных страницах расшифровал псевдонимы, которыми автор награждал мхатовских деятелей. Кое-что из этого я помню до сих пор. Пряхина — это Коренева, Елагин — Станицын, Миша Панин — Павел Марков, Тулумбасов — Михальский, Патрикеев — Яншин, Владычинский — Хмелев, а дирижер Романус — Израилевский.

Художественный театр с самого начала в особенности настаивал на своей «общедоступности» и, разумеется, «прогрессивности». По этой причине в их зале не было специальной «царской ложи», и уже в тридцатых годах, когда в театр стал приезжать Сталин, там устроили нечто подобное. Разумеется, для высокого начальства соорудили ватерклозет, а канализацию пришлось провести через то помещение при сцене, где во время спектаклей располагался оркестр (специальной «ямы» для музыкантов в Художественном не существует).

Все это обсуждалось в театральной Москве, и тут Ардов как-то встретил Израилевского.

— Говорят, — сказал мой отец, — у вас в оркестре появились новые инструменты?

— Какие еще новые инструменты? — изумился дирижер.

— Фановые трубы, — отвечал Ардов.

Однако же вернусь к жизнеописанию своей матери. В Театре Красной Армии, куда она перешла из Художественного, дела ее пошли несколько лучше, какие-то роли ей давали, но в премьерши она так и не выбилась. Я вспоминаю, что чрезвычайно умный и даровитый Михаил Кедров, который после войны стал главным режиссером МХАТа, в 1960 году говорил моему младшему брату Борису:

— А ведь Нина в свое время напрасно ушла из нашего театра. Она неплохая актриса...

Как я уже упоминал, в год моего рождения, в тридцать седьмом, во Владимире были арестованы родители нашей матери: бабке Нине Васильевне не могли простить того, что до революции она возглавляла местную организацию эсеров, — такое большевики никогда не забывали.

Дед Антон Александрович был болен чахоткой. На одном из допросов он прокричал следователю свое любимое «ко псам!». Тот вскочил со своего места, свалил деда ударом кулака и стал топтать его ногами... Через несколько дней Антон Александрович скончался в тюремной больнице. А бабка Нина Васильевна получила десять лет лагерей...

Я полагаю, именно эти трагические события и стали главной причиной того, что Ахматова и моя мать в такой степени сблизились, стали подругами. Их беды были равнозначны: у Анны Андреевны в лагере был сын, а у Нины Антоновны там находилась мать.

Я никогда не говорил об этом ни с той, ни с другой, но у меня есть доказательства справедливости моего мнения. В предисловии к своим «Запискам об Анне Ахматовой» Лидия Чуковская приводит такое свидетельство:

«В те годы Анна Андреевна жила, замороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету».

Мои собственные вполне сознательные воспоминания о матери относятся ко времени войны, к эвакуации. Собственно говоря, к городку Бугульме, где мы прожили года два, до самого возвращения в Москву. Там мама держалась молодцом, хотя по своему воспитанию и всей довоенной жизни она была белоручкой. А тут все приходилось делать самой: и стирать, и стряпать. Я до сих пор вспоминаю пироги с картошкой, которые она пекла нам в Бугульме, они казались неземным лакомством...

Мало того, она сумела организовать там театр, найти среди прочих эвакуированных достаточное количество увлеченных сценой людей. Я запомнил один из спектаклей, который мать там осуществила, — «Любовь к трем апельсинам». На сцене стояли три фанерных щита круглой формы, окрашенные желтой краской, а потом они распадались...

В Москву мы вернулись в мае сорок четвертого. Здесь на маму обрушились новые беды. Прежде всего она поехала в далекий Бузулук и привезла оттуда смертельно больную свою мать, Нину Васильевну. Ее, как тогда выражались, «сактировали» из лагеря по причине запущенного рака желудка. Притом ее невозможно было прописать в Москве, ибо такому «врагу народа», каким она считалась, положено было подыхать где-нибудь неподалеку от зоны, а не в «столице нашей Родины». Тут пришла на помощь мамина подруга, жена Л. В. Никулина — Е. И. Рогожина. У нее было давнее знакомство с самим Абакумовым, кажется, они учились в одной школе. Взяв паспорт моей бабки, она через несколько дней вернула его, и там уже стоял штамп о прописке... Царствие Небесное Екатерине Ивановне! Она любила и умела делать добро! Благодаря ей Нина Васильевна перед своей кончиной была окружена заботой и вниманием...

(Когда я начинаю думать о русских интеллигентах, о моих сродниках и о всех прочих, меня охватывает и жалость, и злость... Несчастные недоумки и нравственные уроды! Вы не только погубили свою великую страну, но и сами погибли, принесли страдания и смерть всем тем, кого так стремились облагодетельствовать.)

Еще одна беда, которая постигла маму в конце войны, — смерть нашего маленького брата. Его называли Женей, он прожил на свете всего несколько недель...

Я хорошо запомнил лето 1946 года. Мама, я и шестилетний брат Борис впервые приехали в Коктебель. Поселок был тогда совсем малолюдным, кроме невысоких строений литфондовского дома на берегу — ничего. пляж был, что называется, дикий, и там можно было найти изумительные по красоте камни...

Впоследствии мама рассказывала Эмме Герштейн: «Я была с мальчиками в Коктебеле. И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается? Получаю от него телеграмму: „Дура, читай газеты“. И я прочла постановление [о журналах „Звезда“ и „Ленинград“, о Зощенке и Ахматовой]. Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми... Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград [тогда еще были пропуска]. Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку, встречали писателей, они переходили на другую сторону».

После войны мама снова стала работать в своем военном театре, но дела там у нее шли не особенно успешно, хотя она была довольно способным режиссером и в особенности педагогом. В труппе к ней всегда тянулись еще не раскрывшиеся юные дарования, а также и актеры постарше, чья карьера не ладилась. И она совершенно бескорыстно помогала всем этим людям.

Как известно, в любом театре процветают интриги и подхалимство. То же самое мы знаем и об армейской среде, но там это еще усугубляется, поскольку значительная часть начальников — тупицы и хамы. И легко можно себе представить, какова может быть атмосфера в таком театре, где управляют армейские чины.

Моей матери был свойствен абсолютный демократизм. Она идеально общалась, например, с деревенскими бабами и мужиками. Но холуйства в ней не было ни на грош. (Как видно, сказывалась кровь «ясновельможных панов Понятовских».) И конечно же все начальники армейского театра ее терпеть не могли.

Мне помнится, особенно плохо относился к ней один из них — генерал Паша. Он окружал себя холуями, каковых среди актеров всегда предостаточно, а Нину Ольшевскую откровенно преследовал. Был этот генерал маленького роста, толстый, лысый... По причине комической внешности с ним однажды произошел весьма забавный случай.

Будучи страстным болельщиком армейской футбольной команды ЦДКА, этот генерал однажды присутствовал на стадионе в компании нескольких приближенных подхалимов (на футбол он ходил в штатском костюме). Как назло, в том ряду, который был выше, прямо над Пашою сидел мальчишка, который болел за ту команду, что противостояла ЦДКА. В конце концов армейский клуб потерпел поражение, и как только раздался финальный свисток, паренек звонко хлопнул генерала по лысине, вскричав:

— Ну что, пузырь? Проиграло твое ЦДКА!

Но вернемся к моей родительнице. Подлинная ученица Станиславского, она была предана театру самозабвенно, а ее прямые начальники весьма беспардонно этим пользовались. В течение десятилетий мама была эдаким режиссером «на подхвате». Изредка ей поручались даже и самостоятельные постановки, но каких-то уж совсем ничтожных пьес, которые разыгрывали третьесортные актеры на так называемой малой сцене. (А она-то всю жизнь мечтала поставить «Горе от ума».)

Сколько я помню, мама ездила в свой театр по два раза в день, утром и вечером, и ужасно уставала. Притом зарплата у нее была нищенская, поскольку она была актрисой «без звания». А на режиссерскую должность ее так никогда и не назначили.

Но была у матери, что называется, «смежная профессия»: она замечательно читала стихи, в частности своего любимого Маяковского и конечно же Ахматову. Анна Андреевна считала, что именно Нина Ольшевская лучше всех читает ее «Поэму без героя». В одной из записных книжек Ахматовой есть такая фраза: «Прошу Мишу Ардова записать хоть кусок чтения поэмы его мамой».

Обладая несомненным даром декламации, мама практически никогда публично не выступала, но зато она обучала этому искусству других. Среди тех чтецов, которые обращались к ней как к режиссеру, были довольно известные в свое время имена.

Мне теперь вспоминается некая дама, фамилия ее, кажется, была Овчарова. Она читала с эстрады рассказы Чехова, и мама долго репетировала с ней «Попрыгунью». Происходило это в отцовском кабинете, за закрытой дверью. Чтица была весьма темпераментная и голосистая, а потому то и дело по всей квартире разносился громкий крик — это чеховская героиня взывала к только что умершему мужу:

— Дымов! Дымов! Дымов же!

Надобно заметить, что мама занималась с чтецами еще с довоенных времен. В числе ее подопечных когда-то была Анна Гузик, впоследствии довольно известная исполнительница еврейского репертуара. Тогда она только что появилась в столице и снимала комнату в квартире без телефона. Приходя на Ордынку для своих занятий с мамой, эта артистка принималась звонить по телефону своим знакомым, родственникам и проч., и проч. Притом как все

люди, которые не привыкли пользоваться телефоном, она говорила в трубку очень громко, из-за чего Ахматова однажды произнесла:

— Пока этот Гузик не кричит по телефону, я его не боюсь.

А еще я запомнил такую отцовскую фразу:

— С тех пор, как Иоганн Гутенберг сделал свое изобретение, художественное чтение как жанр много утратило в своей актуальности.

Каждое лето мама отправлялась на гастроли. Поскольку их театр был военным, они, как правило, выступали в глухой провинции — там, где располагались армейские гарнизоны. Помню несколько маминих рассказов, которые она привозила с гастролей.

В начале лета 1953 года они оказались где-то на Севере, неподалеку от Мурманска. Всем женщинам — актрисам, гримершам, костюмершам — для проживания была отведена огромная комната, что-то вроде красного уголка военной части. У этого помещения было соответствующее убранство: на стенах плакаты, портреты членов Политбюро и т. д. И вот ранним утром, когда все женщины еще спали, там появился подполковник — замполит. Он тихонько открыл дверь, на цыпочках пересек комнату, бесшумно забрался на стол и снял со стены один из висящих там портретов. Так же тихо, стараясь не разбудить никого из спящих, он удалился вместе с портретом... Вот каким образом моя мама и все, кто находились с нею в тех гастролях, узнали о падении Лаврентия Берии.

И еще мамин рассказ, он относится к пребыванию в самом Мурманске. Несколько актеров и актрис шли по одной из улиц города. Когда они проходили мимо местного ресторана, то увидели, как оттуда выскочил человек, у которого из глаза торчала вилка! И этот несчастный быстро-быстро побежал по улице, очевидно в сторону больницы...

Когда армейский театр гастролировал где-то на Украине, маму вместе с другой актрисой поселили в доме местной жительницы, еврейки. Хозяйка посещала их спектакли и потом говорила своим квартиранткам:

— Чтобы мои дети были такие здоровенькие, какой у вас артист Зельдин!

Однажды театр был на гастролях в Сочи, было это году в пятидесятом. В то время в их труппе состоял и наш старший брат Алексей Баталов. Когда они с мамой вернулись, то привезли огромную корзину фруктов — виноград, груши, персики, а кроме того, на Ордынку был доставлен необычайных размеров арбуз. Но как только его стали резать, оказалось, что мякоть в нем совершенно несъедобна... И тогда я, тринадцатилетний, упросил взрослых отдать арбуз нам с братом Борисом — ему было десять лет. Я тотчас схватил свою добычу, и мы с Борей убежали по лестнице на пятый этаж. Там мы распахнули окно, и наш арбуз полетел вниз... Когда он ударился о землю, то на мгновение распластался по ней, превратившись в этакий огромный блин, и тут же во все стороны полетели ключья... Честно говоря, я до сих пор не могу забыть этого зрелища.

Как я упомянул, наш старший брат Алексей некоторое время служил в Театре Советской Армии. Было это вот по какой причине. Когда он окончил студию при МХАТе, его немедленно приняли в самый театр. Но тут же встал вопрос о том, каким образом он будет отбывать воинскую повинность. А при военном театре была так называемая команда. В ней содержались молодые актеры, которые работали по своей специальности и одновременно проходили военную службу. Вот туда и зачислили нашего Алексея.

Служить в «команде» при театре было необременительно, хотя там соблюдались армейские порядки. Был какой-то майор, разумеется, существовал и старшина, который непосредственно командовал актерами в солдатской форме. Жизнь этих начальников была нелегкая, поскольку «личный состав» отличался бойкостью, игривостью, веселостью...

Я вспоминаю, как Алексей и его товарищи пародировали речь своего майора, у которого был любимый афоризм:

— Лучше пребедеть, чем недобедеть.

Или вот такая сценка. На вечернем построении старшина обращается к команде:

— Вопросы есть?

Из шеренги раздается голос:

— Есть, товарищ старшина! Рядовой Халецкий. У меня вопрос: почему Земфира охладела?

— Так, — раздумчиво произносит старшина, — отвечаю на вопрос рядового Халецкого: будем тренировать.

Но вернемся к театральной карьере моей матери. Вплоть до шестьдесят четвертого года она служила в своем армейском театре, ставила спектакли, ездила на гастроли, но режиссерской должности так и не дождалась. А возраст был такой, что пора было подумать об оформлении пенсии. И вот для того, чтобы на старости лет получать побольше денег, мама уехала на работу в Минск. В тамошней труппе ее оформили режиссером и стали платить вполне приличное жалованье.

Поселили маму в удобной комнате при самом театре, и она принялась репетировать какой-то спектакль... Но во всем, что касалось дел житейских, наша мать была удивительно невезучим человеком. Недели через две после своего приезда в Белоруссию она поела в театральном буфете несвежей рыбы, и у нее случилось отравление с сильной рвотой, а поскольку у нее оказалось к тому же и очень высокое артериальное давление, то рвота вызвала тяжелейший инсульт, и она потеряла речь...

Так как у меня тогда была «свободная профессия», то именно мне довелось прожить в Минске несколько недель. Когда мама немного окрепла, мы с ней приехали в Москву.

И еще на тему «невезения». Именно той осенью, в шестьдесят четвертом, Ахматова побывала в Италии, где ей вручили литературную премию. В той поездке Анну Андреевну должна была сопровождать мама, но инсульт разрушил эти планы.

Увы, от последствий этой болезни мама так и не оправилась до конца жизни. Она с трудом произносила некоторые слова и не вполне владела правой рукой. Пенсию ей оформили небольшую, соответственно той плате, что она получала в военном театре. Но она продолжала свои занятия с актерами-чтецами и, как в прежние годы, помогала каким-то мальчикам и девочкам, мечтающим о сценической карьере.

Начиная с семидесятого года я часто уезжал в полузаброшенное сельцо Акиншино во Владимирской губернии. Там необычайно красиво — сосновый лес, изумительно чистая речка Тара и, главное, безлюдие. Осенью, если не ошибаюсь, семьдесят второго года мы поехали туда вдвоем с матерью.

Жили мы с нею расчудесно. Она была заядлым грибником и буквально не выходила из леса. Я, помнится, пытался ее останавливать, говорил:

— Хватит, пора домой!.. У тебя уже полная корзина.

Но уговоры действовали слабо, она была готова бродить по лесу дотемна. Мать сразу же подружилась с моей норовистой соседкой — старухой Петровой...

В семи верстах от моего Акиншина находится поселок Мстера, он известен своими ремеслами, в частности иконописью и вышивкой. И вдруг мама вспомнила, что, когда она в первый раз выходила замуж, ее подвенечное платье заказывали именно во Мстере.

Наша с ней идиллическая деревенская жизнь кончилась неожиданно: 14 октября, на день Покрова Божией Матери, началась снежная буря. В течение суток все вокруг завалило сугробами, и я понял, что маму надо увозить в Москву. Ей, бедняге, пришлось идти полтора километра по снежной целине к той деревне, где была автомобильная дорога... В конце концов мы с ней кое-как добрались, обогрелись в избе у моих знакомых.

И вот тут возникла некая проблема. В Акиншино мы с ней добирались через городок Вязники, мама никак не хотела сойти с поезда во Владимире: с

городом ее детства и юности у нее были связаны воспоминания о страшной судьбе родителей и других близких людей, которых унес тридцать седьмой год. Но из-за снежной бури мы с ней были вынуждены ехать на автомобиле именно во Владимир, в Вязники пути не было. В ожидании поезда мы зашли в ресторан при вокзале. Это место мама хорошо знала, дом их был расположен поблизости, а мой дед Антон Александрович почти всякий день посещал это заведение — он в свое время крепко выпивал. Так вот, она сказала, что даже картины в ресторанном зале висели все те же и на тех же самых местах. (Увы, впоследствии невысокое и уютное здание городского вокзала во Владимире было уничтожено, и теперь там стоит нечто огромное, безвкусное и претенциозное.)

Есть такое издание — «Записные книжки Анны Ахматовой». Имя Нины Ольшевской, или просто Нины, встречается там великое множество раз. Вообще же, насколько можно судить, моя мать была самой близкой подругой Анны Андреевны (может быть, не самым близким человеком, но именно подругой — в специфическом смысле этого слова).

5 января 1965 года, когда мама еще была в больнице после инсульта, Ахматова написала ей из Ленинграда письмо, оно оканчивается такими словами: «Нина, я люблю Вас, и мне без Вас плохо жить на свете. Целую Вас. Ваша Анна».

А за четыре дня до своей смерти Анна Андреевна сделала на книге «Бег времени» такую надпись: «Моей Нине, которая все обо мне знает, с любовью Ахматова. 1 марта 1966, Москва».

В одной из ее записных книжек существует план прозаической книги «Пестрые заметки». Среди прочих «современников», о которых Анна Андреевна намеревалась писать, есть и имя Нины Ольшевской, главка о ней должна была называться «И все-таки победительница».

И еще там такая приписка:

«Концовка Н. Ольшевской.

Когда (вчера) я рассказала ей мою концепцию, она продолжала мыть ванну своими смуглыми тонкими и сильными руками и совершенно равнодушно сказала: „Ну, хорошо, пусть так...” И все».

Мне кажется, я улавливаю мысль Ахматовой, понимаю ее «концепцию», смысл названия «И все-таки победительница»...

Да, моей матери катастрофически не везло на той театральной помойке, где прошла значительная часть ее жизни! Но — благодарение Богу! — у нее были не только сценические способности, она была носителем редкого дара — умения совершенно искренне любить людей. Я во всю свою жизнь не видел более доброжелательного человека, чем она. Если ее мужа, Виктора Ардова, который тоже был добрым человеком, многие недолюбливали и даже враждовали с ним, то я не видел ни одного человека, который бы отрицательно относился к моей матери (исключение составляли только ее непосредственные театральные начальники).

Все, с кем ее сталкивала жизнь, казались моей матери умными, талантливыми, да к тому же и красивыми... Под конец ее жизни мы с братом Борисом иногда подтрунивали над ней, спрашивая о каком-нибудь заведомо непривлекательном человеке:

— Мама, а N. N. — красивый?

Она тут же включалась в игру и с улыбкой отвечала:

— Красивый.

И еще я хочу написать о маминой дружбе с человеком действительно редкостной красоты, я имею в виду Веронику Витольдовну Полонскую. Увы, ее биография — убедительная иллюстрация поговорки «Не родись красивой, а родись счастливой». (Недаром Ахматова в своей ненаписанной книге главу о Веронике Витольдовне намеревалась назвать «Невинная жертва».)

Как известно, в своем завещательном предсмертном письме Маяковский обратился к советскому правительству с такой просьбой:



«Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо».

Существует широко распространенное мнение, что Полонская от своей доли наследства отказалась, но это не соответствует действительности. Летом 1987 года Вероника Витольдовна была у меня в гостях, кроме нее присутствовали моя мать, Михаил Давыдович Вольпин и мой друг Владимир Андреевич Успенский. Он-то и задал Полонской прямой вопрос:

— Вы когда-нибудь отказывались от наследства Маяковского?

— Нет, никогда не отказывалась, — отвечала она.

(В. А. Успенский сам написал об этом разговоре: см. его публикацию в журнале «Новое литературное обозрение», 1997, № 28.)

Однако «товарищ правительство», игнорируя просьбу своего «лучшего и талантливейшего поэта», обрекло Веронику Витольдовну на бедность и унижения. В 1937 году был арестован и погиб ее муж и отец ее сына — Озерский... Под конец жизни она получила, как и моя мать, нищенскую пенсию. Жила она в это время вместе со своим сыном Владимиром, его женой Юлией и их ребенком. Затем Володя Озерский еще раз женился, но свою старую семью оставил в квартире у матери.

Помнится, Вероника Витольдовна жаловалась на характер этой брошенной невестки. И я как-то спросил Полонскую:

— А откуда она вообще взялась? Как Володя с ней познакомился?

— Я этого не знаю, — отвечала Вероника Витольдовна, — я только знаю, что она дочка какого-то еврея и его домработницы.

— Ну, это — известный сюжет, — сказал я, — такого же точно происхождения был и Чуковский... Корней Иванович и ваша Юля — все-таки какие разные результаты дает это скрещивание!

Позднее Владимир Озерский с новой женой навсегда отбыл в Соединенные Штаты Америки. А Полонская свою жизнь окончила в актерской богадельне, где, как известно, жильцы не бедствуют, но Вероника Витольдовна чувствовала себя там очень одинокой...

Мне вспоминается восемьдесят второй год. Мы на Ордынке праздновали день рождения матери — 13 августа, была и Полонская. В какой-то момент мама провозгласила тост за ее здоровье и сообщила, что они с Вероникой Витольдовной дружны уже пятьдесят с лишним лет и за такой срок ни разу не поссорились...

После этого рюмку поднял я и напомнил присутствующим то место из «Мертвых душ», где Манилов мечтает, как, узнавши об их дружбе с Чичиковым, Государь «пожалует их генералами». Так вот, в своем тосте я выразил надежду, что Леонид Брежнев, узнав о дружбе Полонской и Ольшевской, «пожалует их народными артистками»...

Мама умерла 25 марта 1991 года. К концу своих дней она стала совсем слабенькая, но характер ее совершенно не изменился. Все вокруг у нее по-прежнему были умными, талантливыми и красивыми. Она очень баловала одну из своих внучек (Аню, дочку моего брата Бориса), но если маме делали замечания по этому поводу, она отвечала так:

— Я скоро умру. Но я хочу, чтобы она на всю жизнь запомнила, что у нее была такая бабушка, которая все ей разрешала...

К концу жизни мне удалось ее воцерковить, она регулярно исповедовалась и приобщалась Святых Христовых Тайн. С детства мама была верующим человеком, но, поскольку жизнь ее проходила в богемной среде, связь с Церковью на долгие годы нарушилась. У нас на Ордынке только Пасху праздновали весьма торжественно, с вкусными куличами, крашеными яйцами, — все это мама готовила собственными руками.

Незадолго до ее смерти я как-то спросил:

— Кто был твой крестный отец?

Дело происходило в столовой на Ордынке, при сем присутствовало несколько человек. Мама взглянула на меня и спокойно произнесла:

— Фрунзе.

Оказывается, этот деятель, прежде чем стать большевиком-эсдеком, был в числе эсеров, в то время он подружился с моей бабкой Ниной Васильевной. И вот наступает 1908 год, в семье Ольшевских рождается дочь, а Фрунзе становится ее восприемником от купели... И эта крошечная девочка через много лет станет моей родительницей.

Неисповедимы пути Твои, Господи!

### III

28 декабря 1963 года в гостях у Анны Ахматовой были Э. Г. Герштейн и Л. К. Чуковская. В тот день Лидия Корнеевна записала в своем дневнике:

«Эмма Григорьевна ушла к хозяевам говорить по телефону. Едва дверь за нею затворилась, Анна Андреевна сказала:

— Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье, а жилье? — вы помните ее конуру, в развалинах при больнице? В новой комнате — попытка радиовещанием. Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости — без ее помощи и мое пушкиноведение споткнулось бы: архивы, архивы!.. Эмма — надежный друг: я прочно помню, как она ездила навещать Осипа в ссылке... Орденов за это не давали.

Мне жаль, что Эмма Григорьевна, не имея обыкновения подслушивать, не подслушала этот монолог. Вот и орден».

Я перечел эту запись относительно недавно, когда мне подарили изданный в 1997 году трехтомник Чуковской «Записки об Анне Ахматовой». Приведенный автором монолог Анны Андреевны живо напомнил мне почти все, о чем там говорится: и нищенскую жизнь, которую пришлось вести Э. Г. Герштейн, и ее «конуру при больнице», и ее занятия Лермонтовым, и, главное, ее многолетние отношения с самой Ахматовой, для нее Эмма Григорьевна была воистину надежным другом.

Мои первые вполне сознательные воспоминания об Анне Андреевне относятся к сорок девятому году. Мне было двенадцать лет, и я начинал кое-что понимать в тогдашней непростой «взрослой жизни».

В то страшноватое время людей, которые постоянно приходили на Ордынку к Ахматовой, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Вся жизнь Анны Андреевны, ее мысли и чувства были связаны с одним страшным обстоятельством: ее единственный сын был в заключении. И именно Эмма Герштейн принимала участие во всех хлопотах о Льве Гумилеве, она же по поручению Ахматовой отправляла ему посылки. Анна Андреевна доверяла ей безгранично и испытывала к ней ни с чем не сравнимую благодарность.

А жила тогда Эмма Григорьевна действительно «хуже худого» — без постоянной работы, почти без всяких заработков, в той самой «конуре при больнице». Но притом никто и никогда не слышал от нее никаких жалоб.

Когда мне исполнилось тринадцать, я стал потихоньку осваивать пишущую машинку. Отец меня в этом деле весьма поощрял. Помнится, он говорил:

— В жизни может пригодиться всяческое умение. Вот смотри, Эмма Григорьевна — умный, образованный человек, замечательный ученый... А ей приходится зарабатывать перепиской на машинке...

Ардов сам иногда давал ей эту работу. И мое некоторое сближение с Эммой Григорьевной произошло по такому же случаю. В 1955 году она взялась перепечатать и вообще привести в порядок мою курсовую работу — я учился на факультете журналистики Московского университета. И вот тут я впервые побывал у нее в гостях — до той поры я исполнял лишь функции курьера, привозил к ней рукописи Ардова и Ахматовой или провожал туда саму Анну

Андреевну. («Конура», где жила Герштейн, была недалеко от нашего дома на Ордынке, на улице со своеобразным названием — Щипок.)

До сих пор помню небольшую комнату с книжными шкафами, стол, заваленный бумагами, пишущую машинку, маленький фарфоровый чайник, серебряные ложечки... Наливая мне в чашку горячий густой и ароматный напиток, Эмма Григорьевна произнесла:

— Ну а чай мы с тобой будем пить такой, какой бывает только у одиноких людей...

Вспоминается мне такая забавная история. Ахматова поехала к Герштейн на Щипок и пробыла там довольно долго. Потом она возвратилась на Ордынку, и кто-то из нас открыл ей входную дверь. Мама, услышав, что Анна Андреевна уже в прихожей, громко заговорила с ней из комнаты:

— Ну наконец-то... А то вам звонил Николай Иванович Харджиев, и я ему сказала, куда вы поехали. А он говорит: «Ну вот, опять она у этой проклятой Эмки»...

В ответ на эту реплику из передней раздался голос Ахматовой:

— А Эммочка со мной...

Мама в смущении ринулась им навстречу:

— Эмма Григорьевна, дорогая...

И еще одна история, связанная с Николаем Ивановичем. Году в семидесятом мы с Михаилом Мейлахом пришли к Харджиеву. Там мы застали Эмму Григорьевну. Хозяин сидел за своим письменным столом, а Герштейн на стуле перед ним. В какой-то момент Эмма Григорьевна произнесла:

— Вы просто обязаны написать мемуары.

И тут Харджиев, дотеле сидевший в довольно статичной позе, весьма проворно сложил два кукиша и моментально поднес их к самому лицу собеседницы...

Ни я, ни Мейлах не в силах забыть эту «немую сцену».

А еще я вспоминаю 1968 год, когда состоялось судебное разбирательство по делу об архиве Ахматовой. Практически все друзья Анны Андреевны были на стороне Льва Гумилева, который пытался защитить свое право распоряжаться бумагами покойной матери.

Кстати сказать, дело слушалось в Ленинградском областном суде, в том самом здании на Фонтанке, где в свое время помещалось Третье отделение Собственной Его Величества канцелярии.

«Свидетельница Герштейн» выступала превосходно. Ее ответы были внятные, четкие, и адвокатам противной стороны никак не удавалось сбить ее с твердой моральной позиции. Присутствующие были восхищены, и кто-то из нас предложил несколько изменить фамилию Эммы Григорьевны — не «Герштейн», а «Фрауштейн»...

В середине семидесятых годов она совершила чрезвычайно важное дело. По завещанию вдовы Сергея Борисовича Рудакова его дочь предоставила в распоряжение Эммы Григорьевны эпистолярное наследие своего отца. Как известно, Рудаков в начале тридцатых годов был выслан в Воронеж, где сблизился и подружился с другим ссыльным — О. Мандельштамом. При этом Сергей Борисович ежедневно писал жене в Ленинград, и в этих письмах он подробно рассказывал обо всем, что было связано с Осипом Эмильевичем. Герштейн дважды путешествовала в Ленинград, подолгу жила там, скрупулезно изучала и копировала те из писем Рудакова, где есть упоминания о великом поэте. Результатом стала замечательная работа под названием «Мандельштам в Воронеже».

По моему глубокому убеждению, опубликованные Эммой Герштейн письма Рудакова к жене — самое существенное и достоверное из всего, что когда-либо было написано о Мандельштаме.

Ахматова была абсолютно права, когда назвала Эмму Григорьевну своим надежным другом. Она была таковой при жизни Анны Андреевны, и после ее

смерти Герштейн осталась верна ее памяти. Свидетельством тому еще одна работа — «Анна Ахматова и Лев Гумилев».

Начиная с 1956 года и до 1968-го я состоял с Львом Николаевичем в довольно близких отношениях и могу засвидетельствовать: у него была некая *idée fixe*. Гумилев был искренне убежден, будто мать не добивалась его освобождения из лагеря, а потому он пробыл там дольше, нежели некоторые другие узники.

Лев Николаевич не изменил своего мнения до конца дней, и теперь, когда он получил весьма широкую известность, его друзья и ученики, так сказать, задним числом порочат доброе имя Анны Ахматовой. (Это сделал, например, академик А. М. Панченко в журнале «Звезда», 1994, № 4, где он частично опубликовал и тенденциозно прокомментировал переписку Гумилева с матерью.)

Э. Герштейн — отнюдь не сторонний свидетель в истории отношений Ахматовой и ее сына. В те годы, когда Лев Николаевич находился в лагере, Эмма Григорьевна не только помогала Анне Андреевне в хлопотах по облегчению его участи, но и сама состояла в переписке с Гумилевым. И вот она опубликовала те письма, которые Лев Николаевич в свое время адресовал ей самой, а также важные документы, проливающие свет на всю эту историю. В частности, письмо Ахматовой к Ворошилову и бумагу, которую Ворошилов получил от Генерального прокурора В. Руденко. Так что теперь любой беспристрастный человек может убедиться в несправедливости обвинений, которые друзья и поклонники Л. Н. Гумилева продолжают возводить на его мать.

Господь наградил Эмму Григорьевну долгою жизнью. Он же дал ей силы продолжать свои занятия, сохранил остроту ума и ясность мысли. Не так давно читатели получили новое тому доказательство: в 1998 году вышел том ее «Мемуаров». Я оказался среди тех, кому она подарила свою книгу, и в особенности горжусь теплой надписью, которую Эмма Григорьевна начертала на титульном листе: она назвала меня добрым другом.

И вот мне вспоминается разговор, который был у нас с нею четверть века тому назад. Это было в то время, когда в самиздате стала распространяться «Вторая книга» Надежды Мандельштам, где, как известно, подверглись поношению и прямой клевете весьма многие достойные люди. Увы! — в их числе оказалась и Герштейн. Когда мы с Эммой Григорьевной коснулись данной темы, она произнесла лишь одну фразу:

— Мне это очень горько, ведь мы с ней были подругами.

Моя собеседница и в этом случае проявила себя как надежный друг.

#### IV

Среди тех многочисленных дам, которые окружали Ахматову в последние годы жизни, мало кого можно было бы назвать ее подругами. Это прежде всего моя мать Нина Антоновна Ольшевская и Мария Сергеевна Петровых, с которой у Анны Андреевны были весьма доверительные отношения. 20 мая 1963 года Ахматова сделала такую запись: «Вчера была Маруся. Как всегда чудная, умная и добрая».

В те годы мне приходилось регулярно общаться с Марией Сергеевной, и я могу засвидетельствовать, что именно доброта и ум были ее самыми характерными качествами. Так и вижу ее — невысокую, худую (хочется сказать — субтильную), с вечно дымящейся папиросой в откинутой правой руке...

Мы, двадцатилетние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым — именно ему Петровых посвятила свои стихи «Назначь мне свиданье...». В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе и мысленно сравнивали «Разгром» и «Молодую гвардию» с «Египетской маркой» и «Четвертой прозой»...

Мне представляется, что, назвав Петровых «мастерицей виноватых взоров», Мандельштам возвел на нее напраслину. Ведь подобное «мастерство» свойственно кокеткам и предполагает ненатуральность этих «взоров». А по моим наблюдениям именно застенчивость была одним из самых главных качеств Марии Сергеевны.

Она всегда старалась отвести внимание людей от своей персоны. Я, например, никогда не слышал, чтобы она читала собственные стихи.

Увы, моя память хранит совсем немного слов, которые Петровых произносила, ибо в речах, как и во всем, она была необычайно сдержанна. А между тем в них проявлялись рассудительность и тонкость.

В одном из наших с ней разговоров я по какой-то причине упомянул имя тогдашнего начальника Белоруссии Петра Машерова. Мария Сергеевна улыбнулась и произнесла:

— Достоевский дорого бы дал за такую фамилию.

(Мы знаем, Федор Михайлович подбирал своим персонажам фамилии весьма выразительные, а тут в основе французское словосочетание «та chère».)

Я уже имел случай написать об одном нашем с Петровых разговоре, который состоялся примерно через год после смерти Ахматовой. Но ранее я не считал возможным называть писательницу, о которой шла речь, а теперь решаюсь открыть ее имя. Это — Наталия Ильина. К этой теме я еще вернусь.

Мария Сергеевна мне рассказала:

— Наташа принесла мне свои воспоминания об Ахматовой, но она сама не понимает, что написала. Ведь она не подозревает о том, что Анна Андреевна считала ее осведомительницей. Там есть такой эпизод: в тот день, когда разразился скандал с «Доктором Живаго», утром, едва прочтя газеты, Ильина помчалась к Ахматовой спросить, что она по этому поводу думает... Разумеется, Анна Андреевна не могла воспринимать этот визит иначе, как исполнение служебного долга. И тем не менее она сказала: «Поэт всегда прав». То есть Ахматова не побоялась передать такое на Лубянку...

Последняя наша с Марией Сергеевной встреча произошла в Голицыне, в писательском Доме творчества. Помнится, я сказал ей, что недавно получил неплохой гонорар, а потому теперь намерен писать не для заработка, а, так сказать, для души.

— Так вы, оказывается, минималист? — воскликнула моя собеседница. — Я тоже минималистка...

Этот ее термин относился к таким литераторам, которые вовсе не стремились к обогащению, а зарабатывали, чтобы только сводить концы с концами.

Ахматова довольно часто бывала у Петровых на Беговой улице, иногда ей приходилось там жить по нескольку дней. Мария Сергеевна и ее дочь Ариша окружали свою гостью необыкновенной заботой и вниманием.

О том, как Петровых относилась к Анне Андреевне, можно судить по одной реплике, я ее слышал неоднократно. Марии Сергеевне было известно, каких усилий стоило Бродскому и мне добиться, чтобы Ахматову похоронили в конце широкой аллеи на Комаровском кладбище. По этому поводу время от времени произносились слова, которые и смущали, и смешили меня; Петровых с полной серьезностью говорила:

— Мише человечество обязано тем, что Ахматову похоронили на подобающем месте.

## V

В записных книжках Ахматовой встречается великое множество имен. Но среди таких, как Нина, Ира, Толя, Лида и проч., то и дело мелькает одно уменьшительное — Любочка. Именно так все друзья называли Любовь Давыдовну Стенич (по последнему мужу — Большинцову).

Мой отец познакомился с нею в конце двадцатых годов. В то время она была замужем за каким-то ленинградским инженером, но у нее уже был роман с Валентином Осиповичем Стеничем, личностью легендарной. Он дружил с Зошкой, а у того тоже была связь с замужней дамой, женою некоего крупье по фамилии Островский.

И вот Ардов вспоминал, что у Стенича и Зошки была такая игра. Михаил Михайлович начинал:

— Нет, Валя, все-таки наш муж лучше...

— Не скажите, — откликнулся Стенич, — у нашего все же приличная профессия — инженер. А у вас, стыдно сказать, — крупье...

— А характер? — не сдавался Зошенко. — Наш никогда не скандалит, не то что ваш...

Ну и далее в том же роде...

Впоследствии Любовь Давыдовна с этим инженером развелась и вышла замуж за Стенича. Поселились они в ленинградской коммуналке, с которой связана забавная история, отец слышал это от самого Валентина Осиповича, а я — от Любы Давыдовны.

В одной из комнат этой общей квартиры жил какой-то грузин с женою и престарелой тещей. И вот эта старушка скончалась. Накануне похорон зять стал звонить ее подругам, таким же пожилым дамам, чтобы сообщить им печальную весть. А телефон был в коридоре, возле комнаты Стеничей. И они в течение получаса слушали, как грузин с сильным акцентом говорил в трубку примерно так:

— Алле!.. Аделаида Панкратьевна?.. Слушай, детка, вот какая картинка... Софья Степановна умерла... Завтра хоронить будем. Приходи... Алле!.. Мария Казимировна?.. Слушай, детка, вот какая картинка... Софья Степановна умерла... Завтра хоронить будем... Приходи... Алле!.. Ирина Густавовна?.. Слушай, детка, вот какая картинка...

Любовь Давыдовна подружилась с Ахматовой еще до войны, в Ленинграде. Это произошло, когда Анна Андреевна уже разошлась с Н. Н. Пуниным, но принуждена была существовать в одной квартире с ним, с его первой женой и их дочерью — Ириной. Эта девочка очень рано вышла замуж, еще школьницей... И вот Любочка вспоминала такую сцену: Ира Пунина и ее муж, взявшись за руки, идут мыться, принимать ванну. Дескать, пусть все видят, что они теперь муж и жена... Ахматова смотрит на это с недоумением и говорит:

— Я себе представить не могу, чтобы мы с Колей Гумилевым вошли вместе в ванную комнату...

В семидесятых уже годах знаменитый советский писатель и редактор еженедельника «Огонек» Анатолий Софронов овдовел. По этому случаю он сочинил длиннейшую поэму и посвятил ее покойной жене. И вот я помню, как на Ордынке появилась Любовь Давыдовна и принесла номер журнала «Октябрь», где софроновское творение было напечатано. Она показала нам презабавное место: автор сообщает читателям, что после долгих лет брака он приобрел право,

Как Дант, назвать любимую Лаурой.

Ардов сразу же припомнил замечательную шутку Виктора Шкваркина из пьесы «Чужой ребенок»: там некий персонаж путает Беатриче уже не с Лаурой, а с ее обожателем:

— Я вас любил, как Дант свою Петрарку.

Во все годы, что я ее помню, жизнь у Любы Давыдовны была нелегкая. Она зарабатывала переводами с английского и французского. Главным образом это были какие-то пьесы, но их почти никогда на сцене не ставили. Мой отец пытался помогать Любочке, доставал для нее работу, однако это удавалось крайне редко.

В конце концов Ардов взялся помочь ей с оформлением пенсии, но тут возникло непредвиденное препятствие. Будучи дамой весьма кокетливой, Любовь Давыдовна тщательно скрывала свой возраст, и в паспорте у нее было сделано соответствующее исправление. В результате пенсия оказалась значительно меньше той, что ей полагалась на самом деле.

В семидесятых годах Л. К. Чуковская готовила к публикации «Записки об Анне Ахматовой». А так как Лидия Корнеевна была фанатично предана редакторскому делу, она снабдила свой труд подробнейшими примечаниями. И тут ей понадобилось указать год рождения Любви Давыдовны. Далее я приведу рассказ самой Любочки, она говорила:

— Мне позвонила Лида Чуковская и спросила: «Сколько вам лет?» Якобы ей это нужно для комментария... Но фиг я ей это скажу!..

И слово свое Любовь Давыдовна сдержала: я могу засвидетельствовать, что в «Записках об Анне Ахматовой» год рождения Стенич-Большинцовой указан неверно.

Последний раз в жизни я разговаривал с нею по телефону в самом начале 1980 года. Я поднял трубку и услышал голос Любочки:

— Миша, — заговорила она, — вы не можете сказать мне, где в Москве находится «фестивальский собор»?

В ответ я рассмеялся. Я понял: она имеет в виду небольшую церквушку снесенного села Аксиньина, которая теперь находится на окраине Москвы — на Фестивальной улице. Я объяснил ей, как туда попасть, и мы еще немного поговорили... Я не задал Любочке никакого вопроса, я и без того знал, зачем она собирается в Аксиньино: именно в тот день в тамошней церкви состоялось весьма торжественное отпевание Надежды Яковлевны Мандельштам.

## VI

Нет нужды рассказывать о том, насколько тесная дружба связывала Ахматову с Лидией Корнеевной Чуковской. Анна Андреевна ценила ее редакторский талант, высочайшую порядочность, бескорыстие, преданность близким людям. Но притом я бы сказал, что у Ахматовой и Чуковской не могло быть полнейшего единодушия, слишком разные это были натуры.

Лидии Корнеевне литература совершенно заменяла религию, а Ахматова была христианкой и подобных воззрений разделять не могла. За долгие годы их дружбы Лидия Корнеевна так и не смогла, хотя и усердно пыталась, привить Анне Андреевне преклонение и любовь к своим кумирам, к таким, например, как Герцен или Чехов.

У Чуковской было, на мой взгляд, чересчур серьезное, если не сказать трагическое восприятие жизни. А Ахматова, как человек неизмеримо более умный, да к тому же обладавший неподражаемым чувством юмора, смотрела на людей и на мир гораздо шире и снисходительнее.

У меня есть основание полагать, что эту точку зрения разделял покойный Иосиф Бродский. Соломон Волков приводит такие его слова: «Анна Андреевна пила совершенно замечательно... Я помню зиму, которую я провел в Комарове. Каждый вечер она отряжала то ли меня, то ли кого-нибудь еще за бутылкой водки. Конечно, были в ее окружении люди, которые этого не переносили. Например, Лидия Корнеевна Чуковская. При первых признаках ее появления водка пряталась и на лицах воцарялось партикулярное выражение. Вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом».

Анна Андреевна и Лидия Корнеевна неодинаково относились не только к Тургеневу, Герцену, Чехову и к алкоголю. Совсем по-разному они смотрели и на личность К. И. Чуковского. В то время как дочь испытывала к нему неподдельную любовь и восхищение, Ахматова оценивала его вполне объективно. Она безусловно признавала его ум, выдающиеся литературные способности, но ставила ему в вину когда-то опубликованную статью «Две России». (Идея

там такая: поэзия Маяковского олицетворяет обновленную страну, а стихи Ахматовой — старую.)

До революции Чуковский был весьма преуспевающим журналистом и литературным критиком. Жил он на Карельском перешейке, в местечке под названием Териоки. По этой причине кто-то из писателей придумал ему довольно остроумное прозвище — «Иуда из Териок» (Иуда Искариот — так звали того, кто предал Христа).

Язвительность и даже ехидство были неотъемлемой чертой Чуковского. И если Анне Андреевне передавали какое-нибудь его злое *bon mot*, она с особенной интонацией произносила:

— Добрый, добрый Корней Иванович...

Когда он устроил на своей даче библиотеку для местных детей, Ахматова отозвалась об этом так:

— Просто Корней знает, что богатые люди должны помогать бедным. А остальные в Переделкине даже этого не знают.

И еще я запомнил, как она говорила:

— Корней не был в Третьяковке сорок лет. Он посмотрел современный отдел, пришел домой и сказал: «Почему я не ослеп раньше?»

Как известно, Чуковский — это псевдоним, на самом деле его звали Николай Васильевич Корнейчуков. От Ахматовой я слышал о том, как псевдоним появился: в пылу полемики кто-то употребил словосочетание «корнейчуковский подход» или что-то в этом роде... Так родилось на свет столь знаменитое литературное имя.

В советское время не менее известен был писатель по фамилии Корнейчук. Это был украинский драматург, обласканный властями и даже занимавший высокие должности. И я помню, как Л. К. Чуковская рассказывала:

— Корней Иванович мне сказал: «Я буду являться тебе ночью в виде домашнего привидения и говорить: „Лида, я открою тебе страшную семейную тайну: наша фамилия — Корнейчук”».

Отношения Ахматовой и Лидии Корнеевны в свое время были омрачены ссорой, они не общались в течение десяти лет, со времени войны и вплоть до 1952 года. Уже на моей памяти, в конце пятидесятых, их дружба подверглась еще одному испытанию, и причиной тому стал наш с братом Борисом близкий приятель, родной племянник Чуковской Женя.

Увы, с Лидией Корнеевной случилось то, что, как известно, произошло со всеми москвичами: ее «испортил квартирный вопрос». Она со своей дочкой Люшей жила на улице Горького в квартире, которая принадлежала Корнею Ивановичу. А на даче в Переделкине рос и воспитывался сын убитого на войне ее брата Бориса.

В пятидесятых годах Женя Чуковский окончил школу и поступил в Институт кинематографии. Ездить всякий день из Переделкина к месту учебы было затруднительно, и Корней Иванович выделил внуку комнатку в квартире на улице Горького.

У Лидии Корнеевны были к племяннику претензии вполне коммунального свойства: Женя не вымыл за собою ванну..., он разбросал на кухне свою одежду..., он вышел из комнаты в одних трусах... и т. д. и т. п.

Надо сказать, Ахматова в этом конфликте решительно взяла сторону Жени. Она, например, говорила:

— Неужели бы я стала считать, сколько раз при мне мальчики Ардовы выходили в трусах?..

Кроме Анны Андреевны в этот конфликт были вовлечены и некоторые другие дамы — тогдашние приятельницы Чуковской. Я помню, как у нас на Ордынке Маргарита Алигер громко осуждала Женю за его «проступки». Это говорилось моему младшему брату, который ни слова не проронил в ответ. А когда Алигер окончила свой монолог и удалилась, Боря мрачно поглядел ей вслед и сказал:



— Подумаешь, Марина Цветаева...

Какая реплика привела Ахматову в совершенный восторг.

И еще подобное воспоминание. Наталья Ильина в свою очередь произносила гневную речь в защиту «обижаемой» Лидии Корнеевны. Между прочим, она говорила:

— Женя, со своим отвратительным лицом...

Ахматова жестом прервала ее и гневно сказала:

— Я слышать не могу, когда кого-нибудь ругают за некрасивую внешность!

По счастью, конфликт Лидии Корнеевны с племянником продолжался недолго. В 1958 году Женя познакомился с дочерью Шостаковича Галей. Они полюбили друг друга, вскоре поженились, и Дмитрий Дмитриевич предоставил им жилье.

Честное слово, я бы не стал вспоминать эту неприглядную историю, кабы она не аукнулась совсем недавно и самым постыдным образом. 7 декабря 1997 года мой приятель Евгений Борисович Чуковский скончался, и его решили похоронить на Переделкинском кладбище, рядом с дедом и бабкой. Но этому категорически воспротивилась дочь Лидии Корнеевны Люша (Елена Цезаревна Вольпе), а именно она является душеприказчицей Корнея Ивановича. Бедный Женя, при жизни его выжиwali из квартиры любимого деда, а после смерти не дали лечь рядом с ним...

Но вернусь к Лидии Корнеевне. После смерти Ахматовой я виделся с нею раза два или три. Более всего запомнилось мне, как я побывал у нее в гостях осенью 1971 года. Я пришел показать ей только что написанные свои рассказы, которые для печати не предназначались. Чуковская приняла меня очень тепло. Незадолго до этого она вышла из больницы и говорила мне:

— Врачи подозревали, что у меня рак легкого. Но потом выяснилось, что это — туберкулез. И тогда все стали меня поздравлять, как будто я родила тройню...

Рассказы мне пришлось читать вслух, зрение у Лидии Корнеевны было неважное... Прочитанное она похвалила, сделала несколько незначительных замечаний и торжественно, как бы принимая меня в русскую литературу, произнесла:

— Ну вот, теперь я буду знать, что есть такой писатель — Миша Ардов.

Чего греха таить, в те минуты я отнесся к этому вполне серьезно...

Потом мы с ней беседовали о политике, о литературе... Заговорили о Солженицыне... И тут Лидия Корнеевна сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь:

— Я поняла, что этим... — тут моя собеседница указала рукою на потолок (в те времена такой жест означал, что речь идет о самом высоком советском начальстве), — ... что этим даже деньги не нужны. Им нужен только срам.

## VII

Я уже упоминал, что свою приятельницу Наталию Ильину Ахматова считала осведомительницей. Свое мнение Анна Андреевна объясняла весьма убедительно и просто:

— Все те люди, которые вместе с нею вернулись из Китая, отправились или в тюрьму, или в ссылку. А она поступила в Литературный институт на Тверском бульваре...

Ум и интуиция редко подводили Анну Андреевну. Теперь, спустя полвека с той поры, как Ильина стала приходить на Ордынку, у меня появилось косвенное подтверждение ахматовской правоты. Сорок с лишним лет назад, 12 октября 1957 года, парижская газета «Русская мысль» напечатала «Открытое письмо Наталии Ильиной, автору романа „Возвращение“. Журнал „Знамя“, Москва». Начинается эта публикация так:

«Милая Наташа!

Могу Вас поздравить, Ваш роман «Возвращение» читается в Рио-де-Жанейро русскими, прибывшими с Дальнего Востока, нарасхват.

К сожалению, должна отметить, что читают его главным образом как документ из секретного отдела НКВД. Не там ли Вы и писали его, Наташа, и не был ли он Вашей платой за право проживания в Москве и прочие блага?»

Далее автор разбирает самый роман и рассказывает о людях, чьи биографии легли в основу этой вещи. А в конце открытого письма содержатся весьма любопытные сведения о жизни Ильиной:

«Вы работали спикером на японской радиостанции и прославляли подвиги тех самых японцев, которые жгли китайские деревни и гнали к нам беженцев.

Попутно с работой у японцев Вы завели дружбу в немецких кругах, которая оплачивалась уже совсем щедро. Вы даже завели себе автомобиль. Автомобиль вызвал подозрение у японцев. Вы были приглашены в отдельную комнату. Разговор был неприятен и длился дня три. Выцарапал Вас Ваш друг-немец.

По выходе на свободу у Вас брызнули „слезы обиды” .

Тогда-то Вы и перешли в советский лагерь, где и стали делать карьеру. В течение пяти лет вы систематически снабжали советское консульство доносами на нас, работавших против японцев не из личных выгод.

Во время войны по Вашим доносам советское консульство конфисковало единственный независимый литературный журнал „Сегодня” и передало его темной компании, в которой Вы играли одну из первых скрипок.

Вы приложили руку и к разгрому поэтического кружка „Остров”, куда Вас не пускали. Это было уже после войны, когда Вы очень тесно приблизились к одному советскому „тузу” , уже закусили удила. Вашим оговорам, интригам, провокациям можно было бы посвятить немало страниц. Особенно рьяно Вы работали во время репатриации, и сколько душ на Вашей совести, известно только Вам и Вашему начальству.

Начав так блестяще, можно себе представить, что Вы делаете в Москве. Но, может быть, Вам уже нет выхода. Может быть, петля, которую Вы так легко набрасывали на шеи других, уже стягивается на Вашей собственной шее.

В таком случае следует Вас только пожалеть. И, возможно, даже простить. Одного только нельзя Вам простить, Наташа, — того, что Вы называете себя писательницей.

Ведь завет русского писателя издавна был:

...в мой жестокий век восславил я свободу  
И милость к падшим призывал.

Вы же славите кандалы и глумитесь над теми, кто уже не может себя защитить.

И это Вы, сексотка, осмеливаетесь называть творчеством?

Ю. Крузенштерн-Петерец.

Рио-де-Жанейро. Бразилия»<sup>1</sup>.

Возникает совершенно законный вопрос: если Ахматова догадывалась об этом, то по какой же причине она столько лет терпела Ильину в своем окружении?

Мне представляется, что причин тут несколько.

<sup>1</sup> Приведенное письмо, безусловно, не является доказательством того, что Н. Ильина была связана с органами, а лишь подтверждает тот факт, что А. Ахматова была не одинока в своих подозрениях. (Примеч. ред.)

Самая первая и главная вот такая. В течение десятилетий Анна Андреевна постоянно чувствовала свою поднадзорность, ведь она недаром написала:

Окружили невидимым тыном  
Крепко слаженной слежки своей.

Но самым близким людям Ахматова высказывала такое убеждение: в определенном смысле удобно и даже выгодно иметь возле себя толкового осведомителя, который в своих доносах хотя бы не перевернет твои подлинные слова и мнения.

Затем среди причин, определявших у Ахматовой снисходительное отношение к Ильиной, был веселый и легкий нрав Натальи Иосифовны. Она была остроумным и живым собеседником, любила застолье... Да и обладала несомненным литературным талантом, писала блистательные пародии, смешные фельетоны, а впоследствии — интересные мемуары...

И, наконец, еще одна причина, которая способствовала их близости. Опубликовав свой роман «Возвращение» (сперва в журнале, а потом и отдельной книгой), Ильина получила солидный гонорар, и это позволило ей купить автомобиль. Водить машину она умела еще с шанхайских времен и охотно возила Ахматову. А та любила прокатиться то в Коломенское, то просто на природу...

Иногда Анна Андреевна давала своим знакомым домашние прозвища. Так, Л. К. Чуковская по причине вальяжности и некоторой монументальности называлась «Лидессой», а миниатюрная М. И. Алигер — «Алигеричей»... Однако же сами носительницы подобных наименований обыкновенно не догадывались о них.

Было прозвище и у Ильиной, только придумала его не сама Ахматова, а Е. И. Рогожина, жена Льва Никулина. Однажды в разговоре Екатерина Ивановна запомнила имя Натальи Иосифовны:

— Эта, ну как ее?.. Из Шанхая... Штабс-капитан Рыбников...

Мы все знали и любили одноименный рассказ, и реплика Рогожиной имела шумный успех. Ведь купринский герой был агентом, прибывшим с Дальнего Востока. С того самого дня слово «Штабс» стало тайным прозвищем Натальи Иосифовны и прочно вошло в лексикон Ахматовой.

И вот еще что мне хочется отметить. Ахматова частенько удивлялась тому, что Ильина не знает самых элементарных вещей. (Как видно, русская гимназия в Харбине была не из лучших учебных заведений, да и Литературный институт не много ей прибавил.) Анна Андреевна, например, обнаружила, что «Штабс» не имеет никакого понятия о гравюрах Альбрехта Дюрера и вообще называет его «Дурером». А еще я вспоминаю, как Ахматова говорила с усмешкой:

— «Штабс» стала мне жаловаться на неоправданную строгость профессоров в Литературном институте. Дескать, ей несправедливо поставили тройку по истории литературы только за то, что она в своем ответе сделала незначительную ошибку: назвала «Пиковую даму» — одной из «Повестей Белкина»...

Бедная «Штабс»! Она даже и того не понимала, что Ахматова — великий знаток и иступленная поклонница Пушкина — самый неподходящий слушатель для подобной жалобы.

*(Окончание следует.)*



---

---

# ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АНДРЕЙ ЗУБОВ

\*

## СОРОК ДНЕЙ ИЛИ СОРОК ЛЕТ?

**Б**езумен человек, строящий дом свой на песке. «...и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7: 27). Наш дом еще не упал, но он угрожающе наклонился, весь пошел трещинами. Его крыша уже не защищает от непогоды, а печи почти не дают тепла. Уже отпали от него немалые куски стен, обнажив снегу и дождю внутренние комнаты, когда-то уютные, а ныне практически нежилые, запустелые. Понуры большинство обитателей нашего дома, в вечных поисках пропитания, в поисках работы проводят они жизнь. Многие из тех, кто посильней и поталантливей, бегут из него в чужое уютное жильё. Не рождаются в нашем доме дети, не слышен в нем голос жениха и невесты, не почтены заслуги и седины старца. Давно сломаны на дверях его запоры, и ослабели руки у защищающих. Кажется, один еще порыв урагана — и рухнет наша Россия.

О страшных итогах посткоммунистической семилетки (1991 — 1998) написано — не перечесть. Да и к чему писания, если каждый на себе испытал и продолжает испытывать нашу сегодняшнюю жизнь. И все же в который раз подведем итог: страна развалилась, вооруженные силы и оборонная инфраструктура разрушены и не восполняются, криминализация общества резко усилилась, народ нищает, хозяйство в упадке, рождаемость падает, смертность растет, талантливые и образованные люди десятками тысяч эмигрируют, золото — кровь экономики — на миллиарды долларов ежегодно вытекает из тела России. И все это в условиях непопулярности правителей, отсутствия стабильности в воспроизводстве власти, подозрения всех и вся в продажности, бесчестности, цинизме.

За семь лет несколько раз казалось, что вот-вот — и вылезем мы из упадка, что тяжкий переход от коммунистического тоталитаризма к либеральной демократии завершается. Однако новые удары судьбы пробуждали от розовых снов даже самых нескгибаемых оптимистов и самых стойких ценителей свободы, обретенной после 1991 года. И они, сидя без зарплаты в своих плохо отапливаемых школах и больницах или прозябая у закрытых угольных копей, смотря на виллы и лимузины неизвестно откуда взявшихся нуворишей и на откормленные тела народных избранников, начинали терзаться сомнением: уж точно ли идем мы к либерально-демократическому будущему верной дорогой? Обвал августа 1998 года сомневающихся в однозначности ответа не оставил вовсе — *Россия заблудилась на непроходных.*

И самое время теперь задаться очень русскими вопросами: «кто виноват?» и «что делать?».

\* \* \*

На каждом углу говорят: виноват Ельцин, реформаторы-монетаристы. Они всё сделали не так, как надо. Люди старшего поколения часто добавляют в эту

---

Зубов Андрей Борисович родился в 1952 году в Москве. В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1973 года работает в Институте востоковедения РАН. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук.

компанию и Горбачева. Он, Горбачев, разрушил по злему умыслу или по недоумию великую и богатую державу, а реформаторы приватизировали золотые обломки. Они обманули ожидания народа. Народ-то думал, что благодаря какой-нибудь хитроумной экономической модели его за пятьсот дней или около того введут в капиталистический рай, а реформаторы вошли в рай сами, а народ не пустили — не хватает, мол, места на всех, бедна Россия. Когда сокращали армию, закрывали военные заводы и институты, разгоняли КГБ и МВД, прекращали помощь «дружественным странам», отпихивали дотационные республики СССР, люди думали — вот теперь народные денежки не будут тратиться незнамо где, а потекут в наши карманы. Увы! армии нет, союзники распущены, республики отпихнуты, аппарат тотальной слежки разрушен, продан за рубеж трехлетний стратегический запас оборотных средств бывших советских заводов, все так же качает движок пусть и подешевевшую на мировом рынке нефть, все так же роют в горах золото и редкоземельные металлы, добывают из якутской мерзлоты алмазы, рубят бесценные таежные леса, а в кармане постсоветского обывателя гуляет ветер среди семечной шелухи. Не надо быть Боклем или Адамом Смитом, чтобы дойти до вывода: страна разворована, а денежки поделили вовсе не поровну.

Сказочные, как по мановению волшебной палочки появившиеся богатства немногих еще более подкрепляют этот нехитрый вывод. Люди, распорядившиеся в посткоммунистическое семилетие властью, проводившие реформы, отнюдь не походят на жертвенных бессребреников, подвижников идеи. Они богаты и благополучны. И в разоренной, разрушенной, полуголодной стране это благополучие новых демократических властителей вопиет к Небу и обличает само себя.

И все же подождем выносить обвинительный приговор, а себя удобно считать жертвой. Бедный российский обыватель — каждый из нас с вами, читатель, — окажись он у рычагов власти или у «трубы», как он поведет себя? Не превратимся ли и мы очень скоро в таких же циничных взяточников и хищников «с волчьим сердцем»? Может быть, симптомы этой сердечной болезни можно обнаружить не только у новых, но и у «старых русских»? Да и кто эти пресловутые «новые русские»? Разве они не кость от кости, не плоть от плоти русского народа? Разве пришли они из-за моря или от дальних гор? У каждого почти из нас кто-то из друзей, родственников, соседей превратился вдруг, незаметно в такого «нового русского» национального или местного масштаба. Не говорит ли это, что, по сути, они и мы — *одно*.

В недавно написанной книге «Россия в обвале»<sup>1</sup> А. И. Солженицын делает несколько важных замечаний, характеризующих состояние нашего народа, звучащих особенно набатно в устах русского патриота, восточнославянского этноцентриста:

«Сколько ни ездил я по областям России, встречался со множеством людей — *никто* ни в личных беседах, ни на общественных встречах, где высказывались самые многосотенные жалобы на современную нашу жизнь, — никто, никто, нигде не вспомнил и не заговорил: а каково нашим тем, отмежёванным, брошенным, покинутым?... *За чужой щекой зуб не болит*. Горько, горько... Мы утеряли чувство единого народа» (стр. 68 — 69).

«Беженцы в своих многочисленных бедствиях встречают не только бесчувствие властей, но — равнодушие или даже неприязнь, враждебность от местного русского населения... „Что приехали? нам самим жрать нечего!“ В Чудове отключили к зиме отопление в беженских бараках. Пишут и о случаях поджога беженских домов. И это — самый грозный признак падения нашего народа. Нет уже у нас едиющего народного чувства, нет благожелательства принять наших братьев, помочь им. Судьба отверженных беженцев — грозное предсказание нашей собственной общерусской судьбы» (стр. 70 — 71).

<sup>1</sup> Солженицын А. Россия в обвале. М., «Русский путь», 1998.

И в результате горькое разочарование писателя в возможности практической реализации дорогой ему идеи, залога государственного обновления России, — местного самоуправления: «О самоуправлении, как его устроить, — почти никогда не заговаривали, это — не в мыслях... „Мы всё ждём, кто б нас объединил”» (стр. 10). «Вот тут-то проступает болезненная русская слабость — неспособность к самоорганизации» (стр. 68).

Глаз писателя подмечает то, что в какой-то степени замечаем все мы в своей собственной кажущейся повседневности: мы равнодушны к чужому горю, эгоистичны в собственном достатке, мы редко объединяем наши силы для защиты законных наших интересов. От всепрятия, всеоткрытости русского человека и следа не осталось. Мы все — «новые русские». Только те, кто сидят в «Audi» и ездят отдыхать на Бермуды, вполне раскрыли себя, а мы, в силу обстоятельств, мало проявляем свое «волчье сердце». Нам Бог рогов не дал.

В апреле 1997 года мне пришлось осуществлять широкий социологический опрос, выяснявший бытийные ценности совершеннолетних обитателей России. Оказалось, что циников, уверенных, что надо жить только для себя, используя других людей как орудия собственного преуспеяния и удовольствия, в сегодняшнем российском обществе около 25 — 30 процентов. Примерно же две трети россиян (а опрос проводился по представительной общенациональной выборке) высказали убеждение, что жить надо для того, чтобы приносить добро и пользу другим (молодежь до 25 лет две эти позиции делит почти поровну)<sup>2</sup>. Казалось бы, наше общество не так безнадежно, как видится Солженицыну, но, увы, циники задают в сегодняшней России тон, а альтруистов почти что и не слышно. Они не выбирают себе подобных в депутаты и губернаторы, в профсоюзные лидеры и директора предприятий, не создают народные дружины для охраны порядка и группы контроля за деятельностью милиции и бюрократии. Они готовы сесть на рельсы, чтобы получить от власти задолженность по зарплате, но они не умеют и не хотят законным путем взять в руки власть и принять ответственность за судьбу России, да и за судьбы свои и своих детей. Нравственное большинство русского общества почему-то является ныне *молчаливым большинством*. И это — тоже симптом нашей болезненности.

Осмелюсь предположить, что, если бы за реформы в 1992 — 1993 годах взялись не Ельцин с Гайдаром, а совершенно иные люди, самые мудрые и безупречные, и они не много бы преуспели. Так же как нельзя австралийских аборигенов вдруг преобразить в рабочих детройтских автомобильных заводов и в законоответственных граждан штата Мичиган, так же и нельзя нас каким-то ловким приемом сделать гражданами стабильной и процветающей парламентской демократии.

Проницательный очевидец великой русской катастрофы 1917 — 1922 годов митрополит Вениамин Федченков приводит такой характерный для 1918 года разговор в третьеклассном вагоне: «„Кто Бога видал?!” — торжественно бросил в толпу попутчиков солдат-богохульник. И вдруг какая-то женщина отпала ему: „Рылом не вышел, ока-я-нный, Бога-то видать!”»<sup>3</sup> Грубо — но точно. Боюсь, что для получения билета в приличное общество мы тоже «рылом не вышли».

«Ка-аак!!!» — предвижу я возмущенный крик читателя. Но то, что я сказал, — это не шутка дурного вкуса, не бессердечный эпатаж и не дурацкое фиглярство. Это — боль. И своей болью я хотел бы поделиться, ибо думаю, что боль эта — наша общая.

Нет, не всегда русские люди были столь жестокосердны, столь холодны к чужой беде, столь не способны к самоорганизации жизни и труда, как ныне. Новгородцы артелями осваивали Север, казаки с незапамятных времен созда-

<sup>2</sup> Подробный анализ опроса: Зубов А. Единство и разделения современного русского общества. Вера, экзистенциальные ценности и политические цели. — «Знамя», 1998, № 11.

<sup>3</sup> Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., «Отчий дом», 1994, стр. 422.

вали поселения на южных и восточных окраинах Руси. Да и в последние десятилетия той, старой, России не действовали ли по всей стране земские учреждения, народные кассы, различные добровольные объединения от религиозных до студенческих и рабочих союзов? Не показывали ли чудеса взаимовыручки старообрядцы, не процветало ли меценатство? Нет, тогдашнее русское общество отнюдь не было безупречным, очень много было в нем темного, мрачного, нелепого. Но где человек и где народ без дурных свойств и черт характера? В нашем падшем мире таких совершенных людей и народов нет и быть не может. Но если русский народ прошлых столетий был *нормален*, то есть соответствовал более-менее норме человеческого общежития, то наш нынешний народ глубоко болен. Его пассивность перед ложью, несправедливостью, жестокостью, чужой бедой и собственной неприкаянностью, его невероятная взаимоотчужденность, неспособность к самоорганизации — все это симптомы тяжкой болезни народной души.

Всем известно, что болеют люди, но, увы, болезням подвержены и целые народные организмы — и не только пандемиями вроде чумы или черной оспы, но и болезнями психическими. Как иначе, нежели массовым помешательством, можно назвать энтузиастическую поддержку Адольфа Гитлера и нацистского движения в Германии позорного ее двенадцатилетия? Как образованные и сентиментальные немцы могли одобрять и творить планомерное уничтожение миллионов евреев и цыган, порабощение славянства, кровавую бойню по всему периметру своих границ ради какого-то маниакально желаемого *Lebensraum*, без которого нынешней Германии живется совсем неплохо? Как могли недавно уничтожить чуть ли не каждого четвертого в своем народе камбоджийцы? Откуда вдруг проснувшаяся братоубийственная ненависть среди народов, веками живших бок о бок на берегах Великих Африканских озер, ненависть, за считанные месяцы унесшая сотни тысяч жизней в Руанде?

Всматриваясь в века человеческой истории, мы то тут, то там видим вдруг массовые проявления невероятной жестокости по отношению к себе подобным. И если от цифр историк переходит к конкретике, то у него часто недостает сил работать над документами от тошнотворного ужаса.

«С некоторых... сдирали кожу, а их тела скармливали собакам. У других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали, как рыбу. Вспарывали животы беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить...»<sup>4</sup> — это из описания очевидцем еврейского погрома, учиненного по повелению Богдана Хмельницкого на Украине в 1648 — 1649 годах.

«А народ, бывший в нем (в городе. — А. З.), он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигающие печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими» — это из Второй книги Царств (12: 31) о деяниях царя израильского Давида над покоренной им Раввой Аммонитской.

Когда один человек учинит над другим такую невероятную патологическую жестокость, его считают маньяком, отлавливают как бешеное животное и, как правило, уничтожают или запирают в сумасшедшем доме. А если так ведет себя нация, этнос, религиозное или социальное сообщество?

Но даже если душегуб или лихоимец избежит поимки и возмездия, разве сможет он спокойно есть хлеб свой и ласкать детей своих? Разве «мальчики кровавые» встают в глазах только героев пушкинских трагедий, а Рок и девы-эвмениды властны лишь на подмостках античной сцены? Разве только на биб-

<sup>4</sup> Рабби Йосеф Телушкин. Еврейский мир. Иерусалим, «Гешарим» — Москва, «Еврейский университет», 1992, стр. 167.

лейских страницах вопиет кровь убитого, пролившаяся на землю, и разве лишь в египетском царском поучении XXII века до Р. Х. актуальны слова: «не убивай, сын мой, нехорошо это для тебя» (Merikara, 48)? О, совсем не случайно великий Толстой выбрал эпиграфом к своему лучшему роману слова Божии (Рим. 12: 19): «*Мне отмщение, и Аз воздам*».

Закон воздаяния — великий и вечный закон. Теист, верующий в личного Бога — Судию мира, считает Его хранителем и вершителем этого закона. Буддист, агностик, стоический мудрец считает закон воздаяния столь же естественным, как и закон всемирного тяготения. Но пренебрегать этим всеобщим законом, а тем более отрицать его, и для того и для другого — верх глупости.

Трагедия Анны Карениной не в том, что от дури она полезла под поезд, вместо того чтобы спокойно ехать к Вронскому или затеять другую интрижку. Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику, а противостать страсти не хватало волевых сил.

Да что роман, пусть даже и прекрасный. За несколько дней до расстрела, на прогулке во дворе иркутской тюрьмы, Верховный правитель России адмирал Колчак говорил Анне Тимиревой, оставившей ради него своего мужа и разбившей семью адмирала, подругой жены которого была она с 1915 года: «Я думаю — за что я плачú такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачú за Вас... Ничто не дается даром».

Проведя после той февральской бессудной расправы 1920 года сорок лет по лагерям, тюрьмам и ссылкам, потеряв единственного ребенка (сына от первого мужа — контр-адмирала Сергея Тимирева), двадцати четырех лет застреленного чекистом в затылок на Бутовском полигоне 28 мая 1938 года, Анна Васильевна подводила и свой итог: «Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата»<sup>5</sup>. Шекспир и Софокл превращаются в беллетристику перед такими судьбами, такими словами.

Как наивен и глуп разбойник или прелюбодей, если он полагает, что «все обойдется». Не обходится никогда. Только в нравственном законе, в отличие от некоторых законов физических, момент преступления и момент воздаяния могут быть разделены годами, десятилетиями и даже поколениями. За злодеяния страдают не только сами злодеи, но и их дети, и их внуки. Десять заповедей, провозглашенных Моисеем с вершин Синая, начинаются предупреждением: «...Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20: 5 — 6).

Несправедливости в этом нет никакой. Мы же гордимся своими отцами и своими детьми. Следовательно, считаем их не чуждыми самим себе. Да так оно и есть — они наш род. Ребенок — не что иное, как семя отца и кровь матери. Все остальное — пища. Он, ребенок, — плоть от плоти и кость от кости нашей. Мы передаем ему в наследство наше имущество или наши долги. Мы передаем ему и самих себя и в хорошем, и в плохом: наши генетические болезни и наши способности, наши ошибки и наши победы. Мы воспринимаем как естественное, что от сифилитика рождается больное потомство. От убийцы, вора, прелюбодея тоже рождаются больные дети. Только язвы их могут и не быть видимыми, но от этого они не будут меньше мучить их.

Так же точно, как наследуются последствия дел предков потомками в семье, в роде, наследуются они и в большой семье — в народе и даже в человечестве в целом. Потому-то и волнуют нас события, происходящие в Руанде или в Камбодже, что интуитивно ощущаем мы свою причастность им. Мы гордимся великими гениями человечества — Эсхилом, Микеланджело или

<sup>5</sup> «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...». М., «Прогресс», «Традиция», «Русский путь», 1996, стр. 87 — 89. Подробнее об этом см.: Сафонов И. Одя. История одной недолгой судьбы. — «Новый мир», 1997, № 6; Кублановский Ю. Анна Тимирева и адмирал Колчак. — «Новый мир», 1997, № 6.



Гёте, мы наслаждаемся великими творениями их и им подобных, поскольку ощущаем, что и мы человеки, подобные им. Но еще более возрастает наша гордость, когда речь заходит о гениях нам соплеменных. Почему готовимся мы праздновать пушкинский юбилей, почему воздвигаем памятники Достоевскому или Гоголю, почему особо чтим память наших русских святых Серафима Саровского или преподобного Сергия? Не потому ли, что их слава, их гений, их подвиг касаются и нас, соплеменников их, родственников их, то есть всех тех, кто вышел из того же племени, рожден от того же народа?

Но неужели доброе от своего народа принимать мы будем и гордиться им не перестанем, а злое, совершенное отцами нашими, не переживем как свое и стыдиться его не будем? Кого обманем мы этим, кроме самих себя?

Русский народ совершил в XX столетии ужасающие злодеяния, затмевающие по своим масштабам и жестокости все, до того содеянное человечеством. И это нами как-то не сознается, выводы из этого не делаются. А между тем прошлые деяния наши идут вслед за нами, и не под бременем ли грехов дедов и отцов наших мы сгибаемся и падаем, и видим издали, как живут иные народы, а у самих себя создать ничего не можем — строим, созидаем, но все разрушается в прах.

Томас Карлейль не случайно начинает повествование о Французской революции с эпохи Людовика XV, с середины XVIII столетия. Ужасы той революции необъяснимы без анализа духовного и нравственного состояния предшествовавшей внешне блестящей эпохи. Так же как психиатр, сталкиваясь со случаем агрессивной патологии, ищет ее причины в прошлой жизни больного, так же и человек, желающий понять причины общественного недуга, вглядывается в десятилетия, предшествующие катастрофе.

О расцвете России в последние предреволюционные десятилетия сказано очень много. Но если *расцвет* — откуда тогда черная дыра 1917 года, в которую так безоглядно рухнула великая Империя и населявший ее «народ-богосенсец»? В начале XX столетия Россия бесспорно переживала экономический подъем. Оправившись после поражения в войне с Японией, Империя смогла восстановить свое положение в «концерте держав». С 1906 года в России работали парламентские учреждения, осуществлялись основные гражданские права. Если бы не война... Но как раз тяготы войны и показали, что во внешне расцветающем обществе таится роковая червоточина, не позволяющая плоду созреть.

Когда мы ныне полагаем, что экономические и политические успехи России сами по себе явятся залогом ее стабильного развития, мы опять совершаем ту же ошибку. «Под громким вращением общественных колес таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все»<sup>6</sup>. Эти слова Ивана Киреевского объясняют причины и великой русской смуты 1917 — 1922 годов, и нынешние наши постоянные неудачи. Русская «нравственная пружина» вся изоржавела к началу XX века, и потому так легко надломилась она в годы испытаний.

Честные и трезво мыслящие люди видели это вполне явственно: «Влияние Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства падал... Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва — холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример о. Иоанна Кронштадтского был исключением... как-то все у нас „опреснилось“, или, по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть „солью земли и светом мира“. Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?.. И приходится еще удивиться, как верующие держались в храмах и с нами... хотя вокруг все уже стыло, деревенело»<sup>7</sup>. Этой оценке митрополита Вениамина, в недалеком будущем главы военного духовенства армии

<sup>6</sup> Киреевский И. Критика и эстетика. М., «Искусство», 1979, стр. 157.

<sup>7</sup> Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 122, 135.

генерала Врангеля, можно найти бесконечное число параллелей среди высказываний современников, как духовенства, так и мирян.

И это «одеревенение» Церкви проявилось немедленно в обществе после обрушения царской власти, поддерживавшей официоз православия.

«Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды, — писал в „Очерках русской смуты“ генерал А. И. Деникин. — Один из полков 4-ой стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции... Демагог поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему 2 — 3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни? Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов»<sup>8</sup>.

По данным военного духовенства, доля солдат православного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и причастия, сократилась после февраля 1917 года примерно в десять раз, а после октября 1917 года — еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обществе оказался в момент революции приблизительно один человек из ста.

Есть множество свидетельств широкой распространенности в русском обществе эпохи революции не просто равнодушия, а ненависти к вере и церкви. Эта ненависть не насаждалась большевиками — она была разлита в обществе, и большевики победили и вошли в силу потому, что их воззрения, методы и цели были вполне созвучны настроениям большинства русских людей.

До некоторой степени свидетельством этому могут быть результаты выборов во Всероссийское Учредительное собрание в ноябре — декабре 1917 года. За православные партии по всей России было подано, по подсчетам Оливера Радкея, 155 тысяч голосов. Еще 54 тысячи голосов было подано за партии старообрядцев и 18 тысяч — за иные христианские политические движения. То есть в обстоятельствах крайнего не только политического, но и нравственного антагонизма христианские партии привлекли менее полпроцента российского электората<sup>9</sup>.

Уже в январе 1918 года патриарх Тихон говорит о «жесточайших гонениях, воздвигнутых на Святую Церковь Христову». «Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из орудий смертоносных, или ограблению и кощунственному осквернению, чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властителями тьмы века сего...»<sup>10</sup> Ясно, что без поддержки народа только что захватившие власть в России большевики не могли бы чинить по всей стране подобные насилия над верой и Церковью, насилия, вскоре достигшие масштабов поистине апокалиптических.

Не большевики отвратили от Бога русский народ, но сами русские люди, отвергнув веру и Церковь, породили из себя большевизм или, если угодно, призвали большевиков, как когда-то наши предки призвали на княжение варягов. По духу призывающего избирается и призываемый.

Не могу согласиться с мыслью Святейшего Патриарха Тихона, обвинившего в своем знаменитом «Послании Совету Народных Комиссаров» во всех бедах, постигших Россию, большевиков: «Соблазнив темный и невежествен-

<sup>8</sup> Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., «Наука», стр. 79 — 80.

<sup>9</sup> См.: Radkey O. N. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917. Cambridge, 1950, p. 16.

<sup>10</sup> «Послания святителя Тихона». М., «Просветитель», 1990, стр. 14.

ный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилия, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями»<sup>11</sup>.

Почему после тысячелетия христианской проповеди на Руси, после веков существования православного царства остался наш народ «темным и невежественным»? Не есть ли эта его темнота и невежество страшное обвинение тем, кому Самим Создателем было сказано: «...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28: 19 — 20)? Да и для тех, кто согласился быть и именоваться законом «верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры (православной. — А. З.)», «блюстителем правоверия и всякого в Церкви святого благочиния» (Основные Государственные Законы, ст. 64), не является ли для них, Самодержцев Всероссийских, эта темнота и невежество народные в вопросах веры и нравственности тяжким обвинительным приговором? Не клялись ли они в Великой Успенской церкви Москвы во время священного обряда коронования, что будут править «к пользе врученных им людей и к славе Божией, яко да и в день суда Его непостыдно воздать Ему слово»?

Не падают ли убийства, насилия и грабежи, совершенные в годы революции «темным и невежественным» русским народом, на головы тех, кто, высоко поставленный Промыслом и освобожденный от гнета повседневных бытовых тягот, ленился класть душу свою за овец? Кто много раньше большевиков так часто давал народу камень вместо хлеба и змею вместо рыбы или не давал вовсе ничего, ни хорошего, ни дурного, всецело поглощенный своими заботами. Не с головы ли гниет рыба и не таков ли приход, каков поп? «Бездарное, последнее дворянство» — жестокий, но точный приговор Арсения Несмелова.

Боюсь, что неисчислимые страдания, лишения и ужасные смерти множества представителей высших сословий в годы революционного лихолетья — расплата за века их нерадения о долге правителей и пастырей. Большевики не в большей степени виновны в ужасном пароксизме народного организма, чем гной из застарелой, запущенной раны виновен в смерти больного от общего сепсиса. Не большевики за считанные дни своей власти развратили народ, но те, кто *так* правили им тысячелетие.

«Русь сорвалась, вскипела, „взвихрилась“. В ее злой беде много и нашей вины перед ней. Кто это совестью понял, тому уже не найти больше в прошлом ничем не омраченных воспоминаний... Скажем потому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно», — писал, подводя в германской эмиграции итог жизни, выходец из того самого «высшего класса» России Федор Степун<sup>12</sup>.

Да и сам народ — он отнюдь не только жертва дурного правления. В старой России, как и в любом сообществе, можно было найти и дурные и добрые примеры, и нравственное и безнравственное. До революции можно было «бывать в Оптиной», и немало иных светильников добра были разбросаны по Руси, и немало людей ходило в их свете. Наконец, закон совести написан на «плотяных скрижалях сердца». Сколь бы темен и невежественен ни был человек, он знает в совести своей, что хулить святыню, грабить, убивать, насильничать — это зло. И когда человек встает на путь грабежа, хулы, насилия, убийства, он с необходимостью выжигает в себе совесть, убивает Слово Божие, от рождения в нем пребывающее. Да и не самые дикие, не самые темные и невежественные составили страшный кулак большевистской революции и красного террора. А «дикие» вели себя подчас и иначе.

Основываясь на личных впечатлениях и на материалах «Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков», И. А. Бунин писал в 1920 году:

<sup>11</sup> «Послания святителя Тихона», стр. 22.

<sup>12</sup> Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. М., «Прогресс-Литера», — СПб., «Алетейя», 1995, стр. 11.

«Когда пришла наша „великая и бескровная революция” и вся Россия потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с самым настойчивым призывом „грабить награбленное” — калмыки только головами трясут: „Бог этого не велит!” Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают — они не сдаются. Публикуются свирепейшие декреты — „за распространение среди калмыцкого народа лозунгов, противодействующих проведению в жизнь революционной борьбы, семьи виновных будут истребляться поголовно начиная с семилетнего возраста!” — калмыки не сдаются и тут... Говорят, их погибло только на черноморских берегах не менее 50 тысяч! А ведь надо помнить, что их и всего-то было тысяч 250. Тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их — оскверненных, часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд»<sup>13</sup>.

Отказывались брать земли баев и земледельцы Средней Азии. Понадобилась под страхом смерти вытребованная большевиками у верховного кази Бухары Шариджона Махдума Садризийи специальная фетва, именем Бога дозволявшая насильственный передел имущества, чтобы аграрная революция началась в 1930 — 1931 годах в Маверенахре.

В России все было иначе. Народ не стал умирать за букву нравственного закона, как буддисты-калмыки, и не соблазнился по простоте лживыми объяснениями религиозного авторитета, как мусульмане Бухары. Нет, русский народ отбросил нравственный авторитет и заглушил в себе голос совести ради стяжания чужих имущества. Напрасно епископ Уфимский Андрей Шаховской в 1918 году объявил об отлучении от причастия всех «грабителей чужих имений». Имения продолжали грабить, легко отказавшись от Тела и Крови Христовых, а анафематствовавшего грабителей архиепископа Пермского и Соликамского Андроника Никольского зверски убили в июне 1918 года. Большевики ничего бы не добились, если бы русский народ ответил на их посулы так, как ответили калмыки или бухарцы. Но мы ответили иначе.

За радикальные революционные партии социал-революционеров и социал-демократов (большевиков) вместе с их этническими «филиалами» на выборах в Учредительное собрание было подано более тридцати миллионов голосов (то есть три четверти), в том числе за большевиков — почти 10 миллионов<sup>14</sup>. А ведь в программы именно этих партий входил важнейшей частью пункт о насильственной конфискации имений. «Русская деревня, — делает на основании электоральной статистики вывод американский ученый, — была охвачена страстным желанием завладеть господской землей, ничего не платя за нее. И сколь бы ни был юридически и нравственно справедлив принцип конституционных демократов, требовавший за отчужденные земли компенсаций для бывших владельцев, этот принцип имел следствием только возникновение непреодолимой преграды для работы этой партии в деревне»<sup>15</sup>.

И не следует думать, что от безысходного голода и нищеты решилась на грабеж русская деревня. Не безлошадная голь, но деревенские богатеи, «справные» мужики, кулаки и середняки, страстно жаждали помещичьей земли даром. «Заводчиками всей смуты и крови всегда были сытые — крепкие мужики, одолеваемые ненасытной жадностью на землю и деньги... — писал очевидец революции в русской деревне И. Д. Соколов-Микитов. — В первые дни своеволия первый топор, звякнувший о помещичью дверь, был топор богача»<sup>16</sup>. Пройдет полтора десятка лет, и русский мужик во время раскулачивания и коллективизации поймет на своей шкуре верность старинной итальянской поговорки: «*La farina del diavolo se ne va in crusca*». (Помол дьявола весь уходит в трубу). Тогда же, в 1917-м, о неизбежности наказания за преступление не помышляли.

<sup>13</sup> Бунин И. Великий дурман. М., «Совершенно секретно», 1997, стр. 73 — 74.

<sup>14</sup> См.: Radkey O. H. The Election to the Russian Constitutional Assembly of 1917, p. 16.

<sup>15</sup> Ibid., p. 59.

<sup>16</sup> Соколов-Микитов И. Крепота и тощета. — «Родина», 1990, № 10.

Но преступление редко приходит одно. Подобно евангельским виноградарям, мы сказали: «Убьем наследника, и наследство будет наше», и не только отбирали бесчисленные имения — земли, дома, заводы, деньги, имущества, вплоть до мебели, белья, книг, но нередко с надругательствами убивали и их владельцев. В какой-то одержимости безумной жестокостью для жертв изобретались фантастические казни, невероятно мучительные и унижительные. Не щадились даже могилы и склепы давно похороненных людей. Кости извлекали из гробниц, над набальзамированными телами глумились самым отвратительным образом. Примеров — бесчисленное множество. Достаточно прочесть книгу С. П. Мельгунова «Красный террор в России», «Материалы комиссии» Деникина. Все преступления Богдана Хмельницкого на Украине или царя Давида в Равве Аммонитской затмеваются подвалами Чрезвычайек и преступлениями, совершенными «освобожденным народом» по всем городам и весям России.

Вот наугад фрагмент описания комиссии Рерберга, которая производила свои расследования немедленно после занятия Киева Добровольческой армией в августе 1919 года: «Весь цементный пол большого гаража (речь идет о «бойне» губернской киевской ЧК. — А. З.) был залит уже не бежавшей вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, смешанной в ужасающую массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и глубины и приблизительно в десять метров длины. Этот желоб был на всем протяжении доверху наполнен кровью... В саду того же дома лежали наспех поверхностно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех трупов разможены черепа, у многих даже совсем расплющены головы... Некоторые были совсем без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Около упомянутой могилы мы натолкнулись в углу сада на другую, более старую, могилу, в которой было приблизительно 80 трупов. Здесь мы обнаружили на телах разнообразнейшие повреждения и изуродования... Тут лежали трупы с распоротыми животами, у других не было членов, некоторые были вообще совершенно изрублены. У некоторых были выколоты глаза, и в то же время их головы, лица, шеи и туловища были покрыты колотыми ранами. Мы нашли труп с вбитым в грудь клином. У нескольких не было языков. В одном углу могилы мы нашли некоторое количество только рук и ног. В стороне от могилы у забора сада мы нашли несколько трупов, на которых не было следов насильственной смерти. Когда через несколько дней их вскрыли врачи, то оказалось, что их рты, дыхательные и глотательные пути были заполнены землей. Следовательно, несчастные были погребены заживо и, стараясь дышать, глотали землю. В этой могиле лежали люди разных возрастов и полов. Тут были старики, мужчины, женщины и дети. Одна женщина была связана веревкой со своей дочкой, девочкой лет восьми...»<sup>17</sup>

«Бывало, раньше совесть во мне заговорит, да теперь прошло — научил товарищ стакан крови человеческой выпить: выпил — сердце каменным стало», — делился опытом палач харьковской Чрезвычайки Иванович<sup>18</sup>.

Стоит ли после этого удивляться, что когда, например, части Кавказской Добровольческой армии генерала Врангеля в июне 1919 года вошли в Царицын, командующий столкнулся с огромными трудностями в организации гражданского управления освобожденным краем, так как «за продолжительное владычество красных была уничтожена подавляющая часть местных интелли-

<sup>17</sup> Мельгунов С. Красный террор в России. М., «Постскриптум», 1990, стр. 127 — 128.

<sup>18</sup> Деникин А. Очерки русской смуты. Вооруженные силы Юга России. Берлин, 1926, стр. 129.

гентных сил... все мало-мальски состоятельное или интеллигентное население было истреблено»<sup>19</sup>.

Сейчас выходят новые книги, описывающие злодеяния в тех губерниях, куда не дошли во время Гражданской войны белые войска. И все те же моря крови, жестокости невероятные, надругательства над честью и совестью<sup>20</sup>.

«Мы не ведем войны против отдельных лиц, — писал, объясняя своим содельникам принципы чекистской „работы“, Лацис. — Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора»<sup>21</sup>.

А в довершение к красному был еще и белый террор. И если командующие освободительными армиями старались действовать в рамках российского законодательства, то многие из союзных белых атаманов и на Северо-Западе, и на Юге, и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке вели себя немногим лучше красных, разве что не с таким размахом и планомерностью и без крайних жестокостей к своим жертвам. Увы, грабежами и мародерством отличались не только казаки, но и некоторые белые генералы. Печальную славу приобрел, например, генерал Май-Маевский, отдавший освобожденный им Харьков «на поток и разграбление».

«Каждый день — картины хищений, грабежей, насилий по всей территории вооруженных сил, — пишет 29 апреля 1919 года генерал Деникин жене. — Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. Помощи в этом деле ниоткуда не вижу. В бессильной злобе обещал каторгу и повешенье. Но не могу же я сам, один ловить и вешать мародеров фронта и тыла»<sup>22</sup>. Полковой священник, бегущий с увещеваниями за обезумевшим солдатом-грабителем, — частый образ воспоминаний участников Белого движения.

А бывало и пострашнее: «На следующий день после занятия города (Ставрополя, освобожденного добровольцами 2 ноября 1918 года. — А. З.) имел место возмутительный случай, — вспоминает генерал барон Врангель. — В один из лазаретов, где лежало несколько сот раненых и больных красноармейцев, ворвались несколько черкесов и, несмотря на протесты и мольбу врачей и сестер, вырезали до 70 человек прежде, нежели, предупрежденный об этом, я выслал своего ординарца с конвойными казаками для задержания негодяев. В числе последних... находился один офицер...»<sup>23</sup>

К тому же Великая русская смута дала немало и просто вольных разбойников как идейных, вроде Нестора Махно, так и вовсе безыдейных. И всюду братская кровушка лилась рекой и головы падали несчитанно.

А за Гражданской войной начался «великий террор» молодого советского государства против крестьян и рабочих, против религиозных сообществ и беспартийных специалистов. Немного позже коса террора пошла по самим террористам, недавним идеологам и исполнителям массовых зверств. Ужасы ГУЛАГа и «больших домов» НКВД теперь известны каждому. Свершителями этих ужасов и зверств, как и бесчисленных преступлений Гражданской войны, были далеко не одни Ленины, Сталины, Дзержинские, Берии, коммунисты, или евреи, или латыши — большинство убийц и насильников, следователей и ВОХРа, палачей-садистов, стукачей и доносчиков были простыми русскими людьми. Да и те же Ленины и Сталины, коммунисты, латыши и евреи — разве не часть они

<sup>19</sup> Врангель П. Н. Записки. Часть 1. — В кн.: «Белое Дело». Избранные произведения в 16-ти книгах. Кн. IV. Кавказская армия. М., «Голос», 1995, стр. 211 — 212.

<sup>20</sup> См., напр.: Тимкин Ю. Смутное время на Вятке (1917 — 1918 гг.). Вятка, 1998.

<sup>21</sup> Мельгунов С. Красный террор, стр. 44.

<sup>22</sup> Письмо от 29 апреля 1919 года. Цит. по: «Известия», 1994, 28 июня.

<sup>23</sup> Врангель П. Н. Записки. Часть 1, стр. 115 — 116.

нашего российского народа, разве не одна у нас судьба, не один путь? И если Исаак Левитан — великий русский художник, а Борис Пастернак — бесподобный русский поэт, то неужели отсечем мы от себя богоборца Емельяна Ярославского (Миней Губельмана), цареубийцу Якова Юровского или того же Ладиса? И слава и позор у нас навек общие.

Но и к иным нациям относилась мы так же свирепо и бесчеловечно, как к своей, российской. Когда в 1944 — 1945 годах русские войска вошли в Германию, Венгрию, Польшу, мы вели себя не как освободители от нацизма плененных им народов, а как дикая орда грабителей и насильников. Трудно говорить это, больно безмерно. Но это надо сказать. Вот несколько фрагментов из воспоминаний участника боев за Берлин, тогда молодого гвардии лейтенанта, а ныне одного из замечательных русских мыслителей Григория Померанца:

«Мы въезжаем в город Форст. Я иду выбирать квартиру. Захожу — старушка лежит в постели. „Вы больны?“ — „Да, — говорит, — ваши солдаты, семь человек, изнасиловали меня и потом засунули бутылку донышком вверх, теперь мне больно ходить“... Ей было лет 60». Другая остановка на ночлег, теперь в предместье Берлина Лихтенраде на вилле Рут. «Хозяйка Рут Богерц, вдова коммерсанта, была мрачной и подавленной; ее прекрасные темные глаза метали молнии. Прошлую ночь ей пришлось провести с комендантом штаба дивизии, представившим в качестве ордера пистолет. Я говорю по-немецки, и мне досталось выслушать все, что она о нас думает: „В Берлине остались те, кто не верил гитлеровской пропаганде, — и вот что они получили!“ На первом этаже виллы стояли двухметровые напольные часы. Других в доме не осталось. „Мы издадим закон, чтобы меньших часов не производили, — говорила фрау Рут, — потому что все остальные ваши разграбили“... Обычно пистолет действовал, как в Москве ордер на арест. Женщины испуганно покорялись. А потом одна из них повесилась. Наверное, не одна, но я знаю об одной. В это время победитель, получив свое, играл во дворе с ее мальчиком. Он просто не понимал, что это для нее значило... Сталин направил тогда нечто вроде личного письма в два адреса: всем офицерам и всем коммунистам. Наше жестокое обращение, писал он, толкает немцев продолжать борьбу. Обращаться с побежденными следует гуманно и насилия прекратить. К моему глубочайшему удивлению, на письмо — самого Сталина! — все начхали. И офицеры, и коммунисты. Идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Это Маркс совершенно правильно сказал. В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет — законная добыча победителя. И никакой Сталин не мог остановить армию. Если бы русский народ так захотел гражданских прав!»<sup>24</sup>

Молодая русская аристократка, княжна Мария Васильчикова, жившая в эмиграции в Германии и участвовавшая в антигитлеровском заговоре 1944 года, писала 31 марта 1945 года в своем дневнике, что волосы встают дыбом от рассказов о том, как советские поступают с женщинами в Силезии (массовое изнасилование, множество бессмысленных убийств и т. п.)<sup>25</sup>.

Никогда ранее, ни в 1814 году во Франции, ни в 1914 году в Восточной Пруссии, русский солдат не пятнал себя так тяжко, как в 1945-м. Уроки «гражданки», опыт безбожия превратили благородного русского воина в свирепое, алчное и похотливое чудовище, потерявшее не только божеский, но и человеческий облик. Чего стоят одни массовые групповые изнасилования, начавшиеся во время штурма Зимнего в 1917 году<sup>26</sup> и откликнувшиеся в покоренной Германии в 1945-м. Собакам, верно, тошно было бы смотреть на такое, а наши — и глядели, и делали.

<sup>24</sup> Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., «Московский рабочий», 1998, стр. 198 — 202.

<sup>25</sup> См.: Васильчикова М. Берлинский дневник 1940 — 1945. М., «Наше наследие», 1994, стр. 279.

<sup>26</sup> Синегуб А. Защита Зимнего дворца. — В кн.: «Архив Русской революции, изданный Г. В. Гессеном». Т. 4. М., «Терра» — «Политиздат», 1991, стр. 192—194.

Ни союзники на Западе, ни даже немцы в оккупированной Европе не действовали так отвратительно, как мы в Германии, а ведь мы пятьдесят лет называли себя освободителями Европы, забывая, что за это освобождение мы взяли неслыханную цену: от грабежей и насилий 1945 года до отторжения многих областей Польши, Германии, Чехословакии, Румынии, Финляндии и навязывания самим восточноевропейским народам на долгие десятилетия тоталитарного оккупационного режима, безбожия и классовой ненависти. Своим отношением к поверженному врагу мы опозорили нашу великую победу и еще более отягчили совесть народа.

\* \* \*

А теперь подведем итог. В уходящем столетии мы как народ, российский народ, совершили тягчайшие преступления. Впервые в истории человечества осмелились мы восстать на Бога и семь десятилетий вести войну против Святыни — не против Церкви, не против какой-либо религии, а именно против Самого Творца мироздания, против самой идеи божественного. Ни один народ, ни одна страна никогда не решались до нас на такое.

Лишь французы во время *их* Великой революции попытались было отвергнуть Бога — но, ужаснувшись, сам Робеспьер провозгласил в Конvente 20 пре-риала II года, или по-старому 8 июня 1794 года, культ Высшего Существа — l'Être Suprême, подтвердил веру в бессмертие души и сжег картонную статую атеизма в Тюильрийском саду<sup>27</sup>. Прошло еще шесть лет, и 5 июня 1800 года консул Бонапарт обратился к миланскому духовенству со словами: «Никакое общество не может существовать без морали, а настоящая мораль немислима вне религии. Следовательно, прочную и постоянную опору государству дает только религия. Общество, лишенное веры, похоже на корабль, лишенный компаса... Наученная своими несчастьями, Франция наконец прозрела; она осознала, что католическая религия подобна якорю, который один только может дать ей устойчивость среди обуревающих ее волнений»<sup>28</sup>.

Нам Бог, религия, нравственность не нужны были семьдесят лет, с 1917 по 1988 год. Мы боролись против Бога с неистовством необычайным, превозносясь выше всего, именуемого Богом или святынею. Но как раз к таким, как мы, обращены евангельские слова: если же кто скажет хулу на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем, но подлежит он вечному осуждению (Мф. 12: 32; Мк. 3: 29). И страшное осуждение это пало на наши головы.

Мы залили землю нашу братской кровью и осквернили ее на много поколений вперед. Страдания жертв, слезы вдов и сирот, последние стоны истаивающих от голода — они на нас. В России свершились небывалые мерзости и жестокости. А когда у нас достало сил и обстановка была подходящей, мы вынесли нашу злобу и бесчеловечную жестокость за границы России, излив ее на иные народы. Неужели все это возможно забыть? Как гулящей жене из притчи, «поесть и обтереть рот свой и сказать: „я ничего худого не сделала”» (Прит. 30: 20)? Нет, такого не будет, и надеяться нечего. Дети отвечают за грехи отцов. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов, 14: 4). Великого и страшного закона этого никто не отменял и не отменит никогда.

Причины наших сегодняшних неудач, причины нашей безмерной слабости, причины некачественности нашей демократии и уродливости нашего капитализма не в ошибках Горбачева, Ельцина или Гайдара, не в том, что демократия и капитализм «неорганичны» для русской души или что мы до них «еще не доросли», нет. Причины нашей бедственности лежат в тех делах, которые мы и отцы наши сотворили в прошедшие десятилетия. И нет такой по-

<sup>27</sup> Карлейль Т. Французская революция. М., «Мысль», 1991, стр. 516.

<sup>28</sup> «История XIX века». Под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо. Т. I. М., Соц.-экон. издательство, 1938, стр. 265.



литической или экономической модели, которая могла бы сделать нынешнюю Россию процветающей и свободной. Нет и не может быть такого гениального политика, который бы ввел нынешний русский народ на равных в мировое сообщество наций. На челе нашем — каинова печать братоубийства и богоубийства. И путь с этой печатью только один — в геенну огненную. Воистину, «оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его» (Иов, 4: 8).

\* \* \*

И все же, пока жив человек, он не должен отчаиваться. Сколь бы ни были тяжки грехи, сама длящаяся его жизнь есть свидетельство надежды, свидетельство того, что Бог еще видит для грешника возможность исправления. Простую вину всегда можно изгладить, если страстно, в полноте сердца пожелать этого. Но для такого изглаживания прошлого обязательно, во-первых, осознание прошлых преступлений именно как преступлений, а во-вторых, ненависть к этим преступлениям, к себе самому как к их свершителю и жгучий стыд за содеянное. Именно это состояние наименовали греки *μετάνοια* — изменение ума, а наши предки перевели словом *покаяние*.

Покаяние — это целая наука, и счастлив тот человек, который с детства навьик в ней. Он знает, что уничтожиться зло может только искренней и ясной просьбой о прощении. Злодей, дабы перестать быть злодеем, должен при внутреннем желании к исправлению ясно и явно просить о прощении того, кому причинил он зло. Как, казалось бы, просто сказать «прости меня» — и как невероятно трудно искренно это сделать. Легче камни ворочать. Зло защищает себя, и кающемуся всегда надо немалым волевым усилием разрушать эти линии обороны, воздвигнутые из тщеславия, самолюбия, гордости, боязни «потерять лицо», «осквернить память прошлого». Но зато какая радость и легкость наполняют сердце, когда «волшебные слова» сказаны с последней прямотой и прощение получено. Силы вливаются в раскаявшегося, в нем рождается явственное чувство свободы, подобное чувству полета во сне. Только плоды раскаяния — не сон, а явь. Покаяние — царский путь победы над всяческим злом и неправдой.

Но часто люди годами не могут решиться встать на этот путь и остаются в жестоком разладе с собой и с самыми близкими. Зло знает множество хитроумных способов, не допускающих рождения покаяния в человеке, и суммарно они могут быть сведены к двум приемам — попытке забвения злодейства или оправдания его. Пытаться забыть зло, надеяться, что его забудет пострадавший, — наивная, хотя и распространенная практика жизни. В действительности зло никогда не забывается до конца, если оно не раскаяно. Мелкие злодеяния, постепенно накапливаясь смертоносной радиацией в душах и объекта, и субъекта злодейства, вызывают в конце концов смерть любви, дружбы, доверия. Злодеяния крупные, возвращаясь то сном, то кошмарным бредом, полностью выжигают душу. И тогда человек начинает убеждать себя, что зло, которое сотворил он, есть вовсе не зло, а добро или хоть и зло, но обыкновенное, какое все совершают. Один из приемов безответственных психотерапевтов при снятии стресса — показать пациенту, что его желания или действия суть не патология, а норма: «все такие же». И собственная совесть часто становится таким психотерапевтом. Но оттого, что зло назвать добром, добрее оно не станет, да и распространение своего зла на всех сути зла нисколько не меняет. Такие психотерапевтические методы — наркоз, анальгин, но отнюдь не лечение болезни. Зло лечится только покаянием в нем, так же, как больной зуб — визитом к стоматологу, а не жеванием обезболивающих таблеток.

Мы совершили в недалеком прошлом невероятные злодеяния и преступления всех возможных человеческих законов. Возьмем десять заповедей Моисеевых, какая из них не нарушена бесчисленное число раз не отдельными ворами и татями, не горсткой безумцев богохульников — такие действительно встречались во все века, — но всем государством нашим, всем почти нашим обще-

ством, оправдывавшим, поддерживавшим и использовавшим злодеяния власти в своих личных интересах? И по закону человеческому, и по Божескому за содеянные нами и отцами нашими преступления мы тысячекратно повинны смерти. Но Россия еще жива, и более того, не нашим усилием, но вполне чудесно освобождена от семидесятилетней безбожной и человеконенавистнической коммунистической тирании. Означает ли это освобождение прощение? Нет. Нельзя простить того, кто о прощении и не думал просить. Данный нам дар — это не дар прощения, но дар возможности осознать свои грехи и раскаяться в них. Совсем не случайно Перестройка началась с фильма Тенгиза Абуладзе и с «Архипелага» Александра Солженицына — рассказ об ужасах советских застенков был исполнением обета, данного Богу в «раковом корпусе», а ключевыми в «Покаянии» стали слова старухи о возвратной *«дороге к храму»*. Ведь покаяние — это не только средство прощения греха, но и единственный путь возвращения человека к поруганному им Творцу его.

И точно, в 80-е годы мы проиграли войну не мировому сионизму, не капитализму, не Соединенным Штатам, не НАТО. Мы проиграли войну Богу, мы капитулировали перед Ним. И возникший из небытия, опять же в чудесно малые сроки, некогда с великими хулениями взорванный храм Христа Спасителя есть зримый символ Его победы и полного поражения апокалиптического красного зверя с именами богохульными, который есть мы.

Ныне три пятых граждан России считают себя верующими, каждый второй объявляет себя православным христианином, каждый восьмой раз в месяц или чаще приходит в молитвенное собрание единоверцев — в церковь, мечеть, синагогу. Для этой части нашего общества слова о покаянии понятны и конкретны, когда речь идет о них самих. Да и многие из еще не нашедших своего «пути к храму» знают на опыте, сколь чудесно меняет жизнь глубокое и искреннее раскаяние.

Но войну Богу и правде Его проиграл не каждый из нас по отдельности, но все мы вместе. Эту войну проиграл весь народ русский, в 1917 году восставший не столько против царя, помещиков и капиталистов, сколько против Бога и Его абсолютных законов. Расправа со старой властью, с высшими условиями, уничтожение всех личных и имущественных прав были частными проявлениями богоборчества. «Если Бога нет, то все дозволено», — сказанные героем Достоевского слова эти стали, по сути, главным лозунгом революции.

Конечно, не все, далеко не все русские люди сделались богоборцами и законопреступниками. Но значительная часть — стала, а еще большая, проявив преступную теплохладность и трусость, пыталась занять нейтральную позицию или «встать над схваткой». «Разве мы в те самые дни (лета 1918 года. — А. З.) много думали... о междоусобной братской борьбе? Где-то там кто-то дерется, далеко, нас это не задевает, ну и ладно... и по человеческой немощи я, как и очень многие военные, интеллигенты, духовные, укрывался за словом нейтралитет», — искренно каялся через много десятилетий митрополит Вениамин<sup>29</sup>. «В Ростове и Новочеркасске было еще много немобилизовавшихся (в Белую армию. — А. З.) офицеров, гулявших по улицам и кутивших по ресторанам... — вспоминал депутат IV Государственной Думы и начальник хозяйственной части Добровольческой армии Л. В. Половцов. — В армию пошли случайно попавшие на Юг сербские офицеры, пленные чехи и беззаветно отдавали свою жизнь во имя общеславянских идеалов; а эти местные офицеры объявили себя нейтральными... Их трусость была жестоко наказана. Все, кто не умел хорошо укрыться, после отхода армии из Ростова были с величайшими издевательствами убиты. Таких оказалось, по счету большевиков, около трех тысяч»<sup>30</sup>.

Лишь горстка граждан стасемидесятимиллионной страны волей души, силой слова и острием штыка восстали против всеобщего безумия, богоборче-

<sup>29</sup> Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 182, 233.

<sup>30</sup> Половцов Л. Рыцари тернового венца. Париж, «Лев», 1980, стр. 41 — 42.

ства, беззакония. Маленькими группками, а то и поодиночке со всей Руси пробирались они на Дон к Каледину с одной мыслью — отдать жизнь за Россию. «Если нужно, — ответил на вопрос о вероятной неудаче Белого движения генерал Лавр Корнилов, — мы покажем, как должна умереть Русская Армия». И — показали.

Почти всегда сдержанный, отстраненно-холодный, «с руками, заложенными за спину», Иван Бунин обрел совсем иной, не свойственный ему тон, вспоминая солдат «Белого дела»:

«Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится вовеки его память! Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почует белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те ворота, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее»<sup>31</sup>.

Старец митрополит Вениамин, вернувшись в 1947 году из эмиграции и доживая последние годы на покое в Псково-Печерском монастыре, отбросив обычную для него осторожность, так оценил, обращаясь к «красному читателю», «Белое дело», которое знал далеко не понаслышке: «Пусть белые даже не правы исторически, политически, социально. Но я почти не знаю таких белых, которые осуждали бы себя за участие в этом движении. Наоборот, они всегда считали, что так нужно было, что этого требовал долг перед Родиной, что сюда звало русское сердце, что это было геройским подвигом, о котором отрадно вспомнить. Нашлись же люди, которые и жизнь отдали за „единую, великую, неделимую“... не раскаивался и я... Много было недостатков и даже пороков у нас, но все же движение было патриотическим и геройским. Не случайно оно получило имя „белое“. Пусть мы были и сероваты, и нечисты, но идея движения, особенно в начале, была бела. Христиане мы плохие, христианство — прекрасно»<sup>32</sup>.

«Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди Русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступлений советской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую Родину — это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей Старого Континента, обреченный на колонизацию пришельцев с Запада и Востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому Русскому народу», — писал в Париже генерал Антон Деникин<sup>33</sup>. Они, те, кто остались лежать непогребенными в бескрайних южнорусских степях, те, кто были зверски казнены в Крыму в 1920 году, те, кто унесли горсти родной земли на чужбину в изгнание, — они принадлежат «к замученному, но великому Русскому народу». Они принадлежат — а мы?

В схватке, сжигавшей Россию в 1917 — 1922 годах, не могло быть нейтральных. Все акценты, все цели были тогда сформулированы предельно ясно. На одном — безумие богоборчества, «пожар до небес», позор Брестского мира, стакан человеческой крови и глумление над всеми вековыми установлениями человечества: «Иисуса на крест, а Варавву — под руки и по Тверскому... Богу выщиплю бороду, молюсь ему матерщиной...»<sup>34</sup> На другом — вера или хотя бы почтение к вере и закону отцов; любовь к Отечеству; самопожертвование; пусть и искаженное трагизмом времени и извечным несовершенством падшей человеческой природы благородство мыслей и чувств.

Да, были революционеры-идеалисты вроде Кропоткина и Плеханова, но «под серпом и молотом» жить они не смогли. Да, были воры, бандиты и погромщики среди белых, но их, как правило, не прощали. Деникин прогнал из

<sup>31</sup> Бунин И. Великий дурман. М., 1997, стр. 134.

<sup>32</sup> Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох, стр. 233.

<sup>33</sup> «Белая Россия». Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937, стр. 3.

<sup>34</sup> Есенин Сергей. Инония. 1918.

армии генерала Май-Маевского за допущение грабежей в Харькове, Шкуро вешал зачинщиков еврейского погрома в Воронеже; барон Врангель — «экспроприаторов» из Горской дивизии в Великокняжеской<sup>35</sup>.

Нравственное основание обнажилось в те годы с предельной для нашего несовершенного мира ясностью. И выбор был сделан каждым, свободный выбор. И большинством не пошло по пути Правды, Истины и Жизни, предпочитая или откровенное зло и беззаконие, или «нейтралитет», как будто между законом и его попранием может быть нейтральная позиция.

Мы ныне стоим в конце того несправедливого пути, который избрали деды наши восемь десятилетий назад. И мы будем содельниками их до тех пор, пока не изменим ум, пока не возненавидим «черное дело», сотворенное отцами. Удивляться нашим постоянным послеперестроечным неудачам нет причины. Они в буквальном смысле слова *закономерны*. И Абсолютный нравственный закон будет бить нас вновь и вновь за дела отцов, пока мы не скажем Богу и тем, кто отдавали жизнь за его Правду: простите нас.

Прошлое нельзя забыть и невозможно оправдать, его можно только принять и, приняв, вновь, на этот раз верно, сделать выбор, столь неправильно осуществленный нами тогда.

В этом и есть смысл покаяния. Но покаяние народа не во всем подобно покаянию человека. Это не церковное таинство, или, может быть, не только церковное таинство, но и общественно-политический акт. Начавшись в сфере общественного сознания, он должен осуществиться в праве, в образовании, в идеологии, в политике и экономике, иными словами, во всей полноте жизни нашего общественного организма.

Мне уже приходилось писать, что сейчас мы живем в системе советского и постсоветского права, советского и постсоветского образования, советской и постсоветской идеологии, политики и экономики и из этой привычной системы выходить не желаем<sup>36</sup>.

Право — точный инструмент для ориентации в историческом пространстве — ясно указывает нам, что, поскольку ни один закон, действовавший до 1917 года, у нас не действует, а все советские законы, если они правомерно не отменены, действуют, мы — наследники разрушителей «старого мира», а не его защитников. Для того чтобы расстаться с этим тлетворным наследством и вступить в права владения другим, историческим, необходимо формально-юридическое восстановление правопреемства с той Россией, которую наши деды разрушили «до основания». Пока этого мы не сделали, мы — дети Ленина, а не Лавра Корнилова и дела Ленина — наши дела. «Дело Ленина в сердце каждом. Верность партии делом докажем». Помните?

И как истинно хорошие дети, мы храним тело отца, его многочисленные статуи и изображения. Мы бережем его имя и имена его товарищей в названиях городов и областей, улиц и площадей. Где имена Корнилова и Деникина, Столыпина и Витте, полковника Нежинцева и генерала Духонина, Миллера, Кутепова, адмирала Колчака? Где доски и памятники на местах массовых казней, на стенах зданий ЧК и НКВД? Декоммунизация в нашем обществе, чуть начавшись в 1991 — 1994 годах, полностью захлебнулась. Успели кое-что переименовать в Москве и Петербурге, вернуть названия нескольким городам, воздвигнуть крест на Бутовском полигоне — и остановились. Санкт-Петербург у нас нынче окружен Ленинградской областью, Екатеринбург — Свердловской. А Вятке, Симбирску, Екатеринодару, Царицыну, Гжатску вовсе не пожелали вернуть имена.

Более того, президентским указом день 7 ноября объявили праздничным днем «национального примирения». Это уже просто кошунство над памятью

<sup>35</sup> Врангель П. Н. Записки. Часть 1, стр. 180.

<sup>36</sup> Зубов А. Правовое преемство и правовая идентичность в современной России. — «НГ-Сценарии», 1998, № 7, 8 июля; Зубов А. Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель. М., 1997.

миллионов жертв незаконного коммунистического режима, над теми героями, которые не пожалели своих жизней в неравном бою, пытаясь спасти честь России. Добро не может примириться со злом, Христос — с Велиаром. Либо белое дело — зло, а красное — добро, либо — наоборот. Нам необходимо определиться, сообразуя свой выбор с нравственным законом, со своей совестью. Иначе день национального примирения станет днем примирения со всем тем, что дал России Октябрьский переворот 1917 года. День 7 ноября мог бы быть днем национальной скорби, днем покаянным, когда бы мы вспоминали ошибки отцов и смиренно умоляли Спасителя о прощении. Примиряться же, как любят говорить сейчас, на нулевом варианте, без покаяния за соделанные беззакония, без горьких слез за моря пролитой нами крови, — тлетворно. Наши дети вырастут абсолютными циниками и вконец погубят и себя и страну, если мы не научим их различать добро и зло в делах человеческих. История должна учить, как-то даже стыдно об этом трюизме напоминать.

А что мы имеем сейчас?

Нравственная история Отечества не написана. Дела предков не выверены по шкале правды. Семьдесят лет мы лгали и учили лжи. И мы так свыклись с ложью, что перестали верить в правду, правда релятивизировалась. Своя правда — у белых, своя — у красных. В чем-то прав Николай II, а в чем-то убивший его Ленин. При таком подходе все хорошие и все плохие. Но как тогда мы сможем оценить настоящее и определить пути в будущее? Если не по компасу правды, то по какому иному прибору мы будем выверять курс корабля? По выгоде, доходу, богатству? Но и они у всех разные. Да и можно ли при такой шкале осуждать нуворишей, вкусно живущих и плюющих при этом и на нищающий народ, и на разваливающуюся страну? Своя рубашка ближе к телу — так, что ли?

Более полутора тысяч лет для европейца образцом нравственного прочтения истории являются исторические книги Библии. Единственный положительный герой в них — Бог. Все люди — несовершенны, грешны. Даже такие благоговейно почитаемые патриархи, как Авраам или Иаков, такие великие вожди и судьи народа, как Моисей и Гедеон, такие славные цари, как Давид и Соломон, — все они оступались, падали, впадали в тяжкие прегрешения. Об этих грехах древний летописец не боится говорить подробно. Он знает: чужие ошибки и их неизбежные последствия вразумляют и наставляют намного лучше, чем бесконечный панегирик. Более того, из этих ошибок выводятся последовавшие затем беды Израиля, а из преодоления ошибок — успехи и победы. Абсолютным же мерилom правды является Сам Законодатель — Творец бытия.

Древний летописец не устает говорить о каждом царе и правителе, стремился ли он, несмотря на все ошибки и заблуждения, к правде Божьей или всецело служил греху. Под каждое деяние, каждое правление подведена нравственная оценка. Не все согласятся со всем набором критериев, используемых летописцем, но метод в целом вряд ли вызовет возражения. Ведь и мы оцениваем свои дела и дела других постоянно.

И вот мы опять в 1917 году. Хорошо было делать то, что делали революционеры? Хорошо было, например, конфисковывать имущества, проводить полную национализацию частной собственности, банковских вкладов, земли? Если хорошо, то что тогда возразим мы Гайдару, обесценившему практически до нуля вклады в 1992 году, или Чубайсу, приватизировавшему народное хозяйство по своему вкусу? Они вели себя, как достойные наследники экспроприаторов 1918 года. А если плохо делали революционеры, то почему мы должны с ними примиряться, а не осуждать эти дела и не исправлять их? То же можно сказать и о богоборчестве, об уничтожении духовенства и верующих мирян, о надругательствах над святынями всех религий. Если это хорошо, то продолжим в том же духе, а если плохо, то осудим свершителей таковых святотатств, ничего не скрывая и никого не обеляя. А массовые репрессии, террор, расстрел тысяч заложников, лагеря Соловков и Воркуты, Магадана и Но-

рильска, а депортации народов, а надругательства над честью женщин в застенках НКВД, а пытки и избиения на следствии? И наконец, наши злодеяния в Польше и Прибалтике в годы революции и вторичной оккупации, в Германии и Венгрии в конце Великой войны. А Германия 1953-го, Венгрия 1956-го, Чехословакия 1968-го? Да всего не перечесать. Но в истории все это должно быть сказано без утайки, без стыдливой скороговорки, с точными фактами, датами, именами. И всему должна быть дана четкая нравственная оценка.

То же самое следует сделать и с историей дореволюционной. Все безнравственные деяния царей и их фаворитов, все неразумные и жестокие повеления должны быть вскрыты, рассказаны. Мы должны также показать те мотивы, которыми руководствовались и правители старой России, и ее красные власти, принимая свои решения. Из мотивов многое становится еще яснее, чем из свершившихся дел.

Но одновременно с написанием этой нравственной истории Отечества мы обязаны свершить суд над недавним прошлым. Над тем прошлым, которое довлеет нам.

Подобно немцам, осудившим свое нацистское прошлое, мы обязаны судить прошлое коммунистическое. Судить по тем законам, которые силой отвергли в 1917 году, чтобы сделать то, что вздумается, — по этим законам должны судиться люди и деяния. Их уже нет в живых, этих великих преступников и злодеев, но приговоры им должны быть вынесены по всей форме. И тогда станет ясно, может ли область называться именем Свердлова, а областной город — именем Кирова, могут ли на главной площади России лежать в стеклянном гробу останки Ленина, а рядом выситься бюсты Сталина и Калинина. Тогда слова о заслугах Ленина или Сталина перед Россией, столь любезные сердцу некоторых политиков, будут восприниматься у нас так же, как в Германии воспринимаются сейчас слова о заслугах Гитлера и Геббельса. И так же, как немецких детей водят на экскурсии в Дахау и Заксенхаузен, показывать постыдные дела дедов, так же и у нас следует показывать Бутовский полигон и внутреннюю тюрьму Лубянки. И так же, как в Германии борцы с нацизмом стали национальными героями, а нацистские вожди — антигероями, так же следует сделать и нам. Граф Клаус Шенк фон Штауффенберг и Адольф Гитлер нравственно окрашены для современного немца во вполне определенные цвета, и их образы вполне соответствуют нравственному принципу совести. Тот немец, который назовет Штауффенберга мерзавцем, а Гитлера истинным вождем отечества, встретит не только всеобщее осуждение, но и предстанет пред уголовным судом.

У нас же авторы школьного учебника «История России. XX век» не стесняются поносить армии и политику Деникина и Колчака: «Пьянство, порки, погромы, мародерство стали обычными явлениями в Добровольческой армии. Ненависть к большевикам и всем, кто их поддерживает, заглушала все иные чувства, снимала все моральные запреты... Врываясь на территории „красных” губерний, казацкие части вешали, расстреливали, рубили, насиловали, грабили и пороли местное население. Эти зверства рождали страх и ненависть, желание отомстить, пользуясь теми же методами. Волна злости и ненависти захлестнула страну». И ни единого слова о застенках сотен ЧК, о массовых убийствах клириков и мирян, офицеров и купцов, учителей и дворян. То есть, если верить учебнику, в ужасах революции первенство принадлежит белым, красные только отвечали на насилие насилием — фантастическая для историка ложь. Белым вменяется в вину и глупость, что они пытались вернуть земли и имущества бывшим владельцам: «Правительство юга России потребовало предоставить владельцам захваченных земель треть всего урожая. Некоторые представители деникинской администрации пошли еще дальше, начав водворять изгнанных помещиков на старых пепелищах... На контролируемых ими территориях восстанавливались законы Российской империи, собственность

возвращалась прежним владельцам»<sup>37</sup>. Но как же иначе могли поступать честные люди с бандитски поправленными законами и награбленными имуществами? Неужели согласиться на беззаконие, оставить похищенное в руках грабителей? Крестьянство в годы революции не пошло за белыми, забыв непреложность восьмой заповеди Божией «не укради», и вскоре лишилось и своих, и награбленных имений. Разве белые должны были потакать пагубным страстям народа ради своей узкой выгоды? Неужели на так преподанном примере надеемся мы научить наших детей нравственному отношению к закону и чужому имуществу?

А примеров таких немало. До сего дня в степи, где «без крестов и священников» оставили мы лежать белых ратников, как и тогда, когда в 1924 году Бунин произносил свою знаменитую речь, «тьма и пустота». Не пылает в их память вечный огонь, не отвален еще камень от гроба России...

\* \* \*

Но крепнет надежда, что вступаем мы все же на путь изменения ума.

Так получилось, что злодеяния революции персонифицировались для русского общества в трагедии последнего нашего царя. Чудесно в конце 70-х годов были обретены останки его, его семьи и погибших с ним верных слуг, чудесно и вдруг возникшее всеобщее внимание к жертвам страшной расправы в подвале Ипатьевского дома. На строгий взгляд историка, Государь Николай II правитель далеко не безупречный: и его правление, и само его отречение много послужили гибели старой России. Но в трагедии смертного пути царской семьи отразились миллионы подобных трагедий бывших его подданных. В его слабостях — их слабости, в его вере — их вера, в его любви к Отечеству — их любовь, в его гибели — их гибель и изгнание, принятые, часто сознательно, за грехи отцов и дедов, того самого «последнего, бесплодного дворянства». Но смерть и страдания жертв, если и попущены они Богом, отнюдь не смягчают вину их убийц и мучителей.

Пять лет назад Святейший Патриарх Алексий II произнес очень значительные слова: «Грех цареубийства, происшедший при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании... Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю, независимо от этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего Российского Императора. Отрекаясь от грехов прошлого, мы должны понять: благие цели должны достигаться достойными средствами. Созидая и обновляя жизнь народа, нельзя идти по пути беззакония и безнравственности. Совершая любое дело, даже самое доброе и полезное, нельзя приносить в жертву человеческую жизнь и свободу, чье-либо доброе имя, нравственные нормы и нормы закона...»<sup>38</sup>

Прошло пять лет, и российская власть нашла в себе моральные силы совершить величайший акт покаяния и обращения к еще недавно попиравшейся правде. 17 июля 1998 года останки жертв убийства в Ипатьевском доме были с воинскими почестями преданы христианскому погребению в Петропавловском соборе. Во время похорон Президент России, в прошлом сам секретарь обкома и разрушитель Ипатьевского особняка, исповедал над гробами страдальцев и свою личную вину, и вину народа: «Долгие годы мы замалчива-

<sup>37</sup> Данилов А. и Косулина Л. История России. XX век. Учебная книга для 9 класса. М., «Просвещение», 1995, стр. 110 — 112.

<sup>38</sup> Послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и Священно-го Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убийства Императора Николая II и его семьи.

ли это чудовищное преступление, но надо сказать правду: расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц нашей истории. Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков. Виновны те, кто совершил это злодеяние, и те, кто его десятилетиями оправдывал. Виновны все мы»<sup>39</sup>.

Что можно добавить к этим словам всенародной исповеди, самым, наверное, значительным словам, сказанным Президентом за всю жизнь. *«Виновны все мы»*. Слово покаяния произнесено. Оно произнесено над покрытым золотым Императорским штандартом гробом последнего русского царя, но сказано конечно же о всех погибших, о всех несправедливо убиенных, униженных, разоренных, изгнанных и замученных. Не только в смерти одиннадцати ипатьевских страдальцев, но и во всех смертях и страданиях всей Великой Русской смуты, начавшейся в 1917-м и длящейся, может быть, и поныне, воистину «виновны все мы». И мы, как всегда, вольны принять или отвергнуть это слово покаяния, насытить его делами или забыть среди сует жизни, счесть словом одного дня или девизом эпохи, утраститься последствиям раскаяния или мужественно предать себя суду Бога и истории.

С кем мы отождествим себя — с теми, кто принес в жертву своей алчности и изуверству «нравственные нормы и нормы закона», или с теми, кто ценой жизни старался уберечь их, защищая Россию от соловецких отстрелов, от рвов Бутова, от Куропат, от Катюни? 17 июля 1998 года мы вплотную приблизились к тому моменту, когда выбор неизбежен. И с предельной ясностью надо сознать: будущее России, ее процветание или упадок напрямую зависят от того или иного нашего выбора в этом, казалось бы, теоретическом, отвлеченном вопросе.

Люди не властны над прошлым, но они имеют власть над своим отношением к нему. И это отношение к прошлому определяет их грядущую судьбу. Выйдя из Египта, израильтяне могли со скорбью и отвращением вспоминать эпоху рабства, а могли и вздыхать по ней, скучая по «египетским котлам». Израильтяне вздыхали и скучали, и путь в сорок дней до Земли Обетованной стал дорогой в сорок лет, пока кости всех, вышедших из Египта, не легли в пустыне.

Мы, отступаясь, падая, с трудом поднимаясь, бредем по пустыне уже восьмой год. Что ожидает нас? Бесконечный безрадостный путь, пока не вымрут все, на ком до третьего и четвертого рода лежит проклятье за дела дедов и отцов, или скорое избавление от уз прошлого, обретенное в покаянии, во всецелом изменении ума?

Последнее решение о грядущей нашей судьбе принимать нам.

---

<sup>39</sup> Цит. по статье: Бесик П. Россия проводила в последний путь своего императора. — «Независимая газета», 1998, 18 июля.





---

---

# МИР НАУКИ

БОРИС ИОФФЕ

\*

## ОСОБО СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

*Из истории атомного проекта в СССР*

**В**ходит время, и все меньше остается участников героического периода развития физики 40-х и 50-х годов — периода решения атомной проблемы и становления физики в нашей стране после вынужденного, связанного с войной перерыва. Хотя я никак не могу относить себя к главным участникам тех событий, я знаю кое-что из истории атомной проблемы, которая полностью не раскрыта до сих пор. Я был знаком со многими действующими лицами и видел их в деле.

Когда человек выступает с воспоминаниями о великих людях, с которыми ему приходилось встречаться, такие воспоминания часто носят характер «я и великий человек». То же относится и к великим событиям, они звучат как «моя роль в великом событии». Обычно это вызывает улыбку у читателя или слушателя. Ясно понимая такую опасность, я не всегда буду стараться избежать ее. Конечно, живой свидетель событий, если он по-настоящему участвовал в них, всегда в какой-то степени субъективен. В этом слабость его, но и сила. Объективным может быть лишь далекий историк, но у него уже не будет живого чувства реальности происходившего. Здесь уместно сравнение с квантовой механикой. Прибор может влиять на наблюдаемое явление. Уберите его — явление изменится, вы получите явление «в чистом виде», но с минимальной информацией о нем.

В нашей стране, по крайней мере после революции, наука всегда была тесно связана с политикой. Особенно тесной эта связь оказалась в послевоенное время и теснее всего — в физике, поскольку физика была нацелена на решение основной задачи государства в то время — создание атомной (и водородной) бомбы. Это не преувеличение: основной задачей государства (под государством я подразумеваю в данном случае, конечно, правящую верхушку) в конце 40-х и начале 50-х годов являлось не столько послевоенное восстановление промышленности и сельского хозяйства, даже не усиление обычных вооруженных сил — они и так были достаточно сильны, — сколько создание атомного оружия (и, может быть, ракет).

Я уверен, что главной целью Сталина было установление мирового господства или как минимум в качестве первого шага на пути к этой цели — захват Европы и ряда территорий в Азии (Турция, Корея, выход к южным морям — вспомните коммунистические армии и занятые ими районы в Греции, Индокитае, Малайе, на Филиппинах и др.). Нападение на Южную Корею было первой серьезной пробой сил. С самого начала военных действий я понимал, что это агрессия Северной Кореи, направленная и организованная Сталиным, и что заявления советской пропаганды, будто войну начала или спровоцировала Южная Корея, — чистейшая ложь. Я понимал также, что это

---

Иоффе Борис Лазаревич родился в 1926 году. Член-корреспондент АН СССР и РАН, физик-теоретик, автор ряда научных трудов по физике элементарных частиц, физике высоких энергий, ядерной физике, теории ядерных реакторов.

Вариант этой статьи, рассчитанный на читателя-физика, был опубликован в «Сибирском физическом журнале» (1995, № 5).

сталинская разведка боем: если бы Запад, и в первую очередь США, не дали отпора, такие акции повторились бы в разных местах<sup>1</sup>. Я убежден, что в начале 50-х годов Сталин намеревался развязать и выиграть третью мировую войну. Времени у Сталина оставалось не много — в 1949 году ему исполнилось семьдесят лет, — и действовать требовалось быстро.

Недавно появились важные подтверждения такой точки зрения. В статье генерал-лейтенанта Н. Н. Остроумова, который в то время был заместителем начальника оперативного управления главного штаба военно-воздушных сил, говорится, что весной 1952 года Сталин приказал создать 100 дивизий новых тактических бомбардировщиков. Это, по мнению Остроумова, было подготовкой к новой войне<sup>2</sup>. В Чехии издана книга воспоминаний генерала Чепички. Чепичка был министром обороны Чехословакии в коммунистическом правительстве Готвальда в конце 40-х — начале 50-х годов. В книге Чепички, в частности, рассказывается, что в 1952 году Сталин собрал совещание министров обороны социалистических стран Восточной Европы. На этом совещании Сталин заявил, что в ближайший год-два ожидается мировая война, и потребовал от министров готовиться к ней.

Для осуществления поставленных целей предстояло решить две труднейшие задачи: военную — создать атомное оружие и политическую — поднять народ на войну. Решение последней задачи было особенно трудным, и Сталин прекрасно понимал это: поднять народ на новую войну всего лишь через восемь — десять лет после окончания тяжелейшей и самой кровавой в истории России войны, да вдобавок еще против бывшего союзника — Америки средствами обычной пропаганды было нельзя, даже террор здесь, вероятно, не сработал бы. Требовалось разбудить ярость народа. Но не абстрактную ярость к кому-то за океаном, о ком обычный человек слышит только по радио. Необходимо, чтобы каждый человек видел предмет своей ненависти тут же, рядом с собой, знал, что он угрожает ему самому и его семье, а направляют этих врагов и руководят ими из-за океана. Найти подходящий объект для ненависти народа оказалось нетрудно — это были евреи. Евреи идеально подходили для такой цели: каждый видел еврея, каждый мог иметь объект своей ненависти рядом, да и старые российские традиции антисемитизма не были еще забыты. Сталин и послушный ему аппарат партии и государства со второй половины 40-х годов намеренно разжигали антисемитизм (борьба с космополитизмом, аресты и расстрелы еврейских деятелей культуры, расстрел участников группы «вредителей» на ЗИСе и т. д.). Антисемитская кампания, нараставшая вплоть до самой смерти Сталина, не была просто еще одним эпизодом в сталинской политике репрессирования негодных ему народов — она являлась средством к далеко идущей цели. Новым и очень важным этапом на пути к этой цели стало «дело врачей». В конце 1952 года арестовали группу профессоров, крупнейших медицинских специалистов. Все они, за исключением одного-двух, были евреи. Им предъявили обвинение в том, что, действуя по заданию американской еврейской шпионской организации «Джойнт», они под видом

<sup>1</sup> В связи с войной в Корее имел место любопытный эпизод. У Л. А. Арцимовича, известного физика, было пристрастие — анализировать военные операции. Он считал себя хорошим стратегом, и вот, когда северокорейские войска прижали к морю в районе Пусана американцев и остатки южнокорейской армии, а США готовили подкрепления, Лев Андреевич, анализируя ситуацию, пришел к выводу, что морской десант американцев со стороны Желтого моря в середине Корейского полуострова (а у США было подавляющее превосходство на море и в воздухе) явился бы смертельным ударом для северокорейской армии — ее коммуникации были бы перерезаны и поражение неминуемым. Он сообщил об этом нескольким своим знакомым. Вскоре Арцимовича вызвал Берия и сказал ему: «Ты что болтаешь? Ты знаешь, кто операцию планирует? Молчи, а не то тебе плохо будет!»

Через несколько дней американцы высадились в Инчоне, северокорейская армия была разгромлена, и полного поражения Северной Кореи удалось избежать только благодаря интервенции китайской армии (так называемых китайских «народных добровольцев») во главе с маршалом Пэн Дэхуаем.

<sup>2</sup> Остроумов Н. Армада, которая не взлетела. — «Военно-исторический журнал», 1992, № 10.

лечения пытались умертвить руководителей партии и государства. С момента появления первого сообщения о «деле врачей» для меня стало ясно, что это фальшивка, сфабрикованная по указанию Сталина, и что это начало новой кампании. К сожалению, то, что «дело врачей» сфабриковано от начала до конца, понимали тогда далеко не все, даже среди интеллигенции. «Дело врачей» задумывалось с далеким прицелом: надо было показать, что и люди самой благородной профессии — врачи — у евреев являются убийцами. И это не сводилось к двум десяткам арестованных и посаженных в тюрьму видных врачей: по стране распространились слухи, что все врачи-евреи — враги народа и преступники. Я сам неоднократно слышал на улице, в магазинах и т. д. высказывания типа: «У нас в поликлинике врач — еврей. Я не пойду к нему: он меня отравит», или — «Такой-то умер в больнице — его убил врач-еврей». И эта ненависть потом распространялась уже не только на врачей.

Дальнейший сценарий предполагался такой. Арестованных по «делу врачей» собирались публично казнить. Одновременно должны были начаться «стихийные» выступления народа против евреев. И тогда группе выдающихся представителей этого народа предстояло обратиться с письмом к Сталину и советскому правительству, в котором признавалась бы коллективная ответственность евреев как нации за то, что в их среде выросли такие выродки, и говорилось бы о справедливом гневе народа. Вместе с тем авторы письма просили бы для защиты евреев от народного гнева переселить их в районы Дальнего Востока<sup>3</sup>. Соответствующие лагеря либо были уже подготовлены, либо строились. Согласно плану, на пути следования эшелонов проходили бы стихийные выступления масс. Легко предсказать резкую реакцию Америки, которая, конечно, встала бы на защиту евреев. Западная Европа Америку поддерживала бы. И тогда, по замыслу Сталина, можно было бы переключить ярость народа с врага внутреннего на внешнего.

Требовалось решить и вторую задачу — военную. В конце 40-х годов Советский Союз обладал безусловным превосходством в сухопутных вооруженных силах в Европе. Но этого было недостаточно: следовало иметь если не паритет в ядерном оружии с Америкой, то по крайней мере такое его количество и качество, чтобы американцы, опасаясь атомного удара по Соединенным Штатам, всерьез задумались, прежде чем применить атомную бомбу в случае новой войны в Европе.

Начиная с 1949 года у СССР уже имелось атомное оружие. Но его было мало, и в этом отношении мы сильно уступали Америке. В 1945 году стало известно, что в США ведутся работы по созданию гораздо более мощного оружия — водородной бомбы, — которые еще далеки от завершения. Идея создания водородной бомбы в СССР была выдвинута в том же году физиками И. И. Гуревичем, Я. Б. Зельдовичем, И. Я. Померанчуком и Ю. Б. Харитоновым, однако тогда она не получила развития. В 1949 году принимается решение форсировать усилия по созданию водородной бомбы с реальными шансами догнать Америку. К работе были привлечены группы, которые либо до того вообще не занимались бомбой, либо решали лишь отдельные связанные с этим задачи. (Привлекли группу И. Е. Тамма, включая А. Д. Сахарова, группу Н. Н. Боголюбова, И. Я. Померанчука и других.)

Хочу подчеркнуть, что, как я полагаю, цель состояла не в том, чтобы опередив США в создании водородной бомбы, выиграть атомную войну против Америки. Думаю, что Сталин понимал: это невозможно. Цель была иной: создав водородную бомбу примерно одновременно с американцами, провести ее испытание и продемонстрировать, что у нас тоже есть ядерное оружие. При этом американцы не будут знать, сколько у нас водородных бомб — две, три или пять.

<sup>3</sup> Такое письмо, по имеющимся у меня сведениям, уже существовало — его написал историк КПСС академик И. Минц — и кое-кем даже было подписано. Я знаю по крайней мере фамилии двух человек, которые — под сильнейшим давлением, конечно, — подписали его. Этих людей уже давно нет, и, чтобы не тревожить их память, не буду называть имен. Имя же мужественного человека, отказавшегося подписать письмо, я назову — это И. Г. Эренбург.

И в случае начала войны в Европе обычным оружием (это, конечно, был бы блицкриг ввиду явного превосходства СССР в сухопутных войсках), весьма вероятно, что США не применили бы атомное оружие, опасаясь удара водородных бомб по их территории. Таким образом, советская водородная бомба служила бы средством атомного шантажа при начале подобной войны в Европе.

Дальнейшее развитие событий полностью подтверждает этот сценарий. К концу 1952 года стало ясно, что водородная бомба в скором времени (полгода-год) будет создана: все принципиальные вопросы были решены, оставалось в основном лишь техническое их воплощение. С середины 1950 года началось проектирование, а затем сооружение и пуск реакторов для производства трития — основного компонента, необходимого для водородной бомбы. Одновременно шла политическая подготовка: декабрь 1952 года — «дело врачей», развязки его можно было ожидать где-то весной — летом 1953-го. Испытание водородной бомбы в СССР произошло в августе 1953 года, возможно, оно несколько задержалось из-за смерти Сталина и последующих за ней пертурбаций (казни Берии, изменений в руководстве атомной промышленностью и т. д.). Так что я глубоко убежден: если бы не вмешательство судьбы — смерть Сталина в марте 1953 года, — третья мировая война могла разразиться где-то в 1953 или 1954 году и мир оказался бы на грани (или даже за гранью) катастрофы. Поэтому создание в СССР водородной бомбы в начале 50-х годов, с моей точки зрения, представляло бы страшнейшую опасность для человечества.

Тут я подхожу к деликатному вопросу — о роли советских физиков в создании водородной бомбы. (Хочу подчеркнуть, что то, что говорится ниже, относится именно к водородной, а не к атомной бомбе. С атомной бомбой, создававшейся частично в военное время, частично сразу после войны, ситуация была иной.) Как это ни неприятно, но должен сказать: подавляющее большинство выдающихся физиков, имевших отношение к данной проблеме, которых я знал (но не все!), не понимало этой грозной опасности — наоборот, они были убеждены, что создание атомного и водородного оружия в СССР способствует предотвращению войны и послужит защитой от возможной американской агрессии. Поэтому они работали так хорошо, как могли, проявляя инициативу, не жалея сил и времени.

Атомная бомба в СССР была создана в 1949 году. Но, как сейчас открыто признается (в том числе и Харитоном, который возглавлял эти работы), в создании ее мы вначале пошли по пути американцев, располагая данными об устройстве их атомной бомбы. Совсем иная ситуация сложилась с водородным оружием. Советская водородная бомба была оригинальной, и в этом заслуга Андрея Дмитриевича Сахарова. Как известно, в водородной бомбе идет реакция слияния трития  $T$  и дейтерия  $D$ ,  $T + D$  или  $T + T$ . В конце 40-х — начале 50-х годов, когда встал вопрос о создании водородной бомбы, в СССР трития практически не было. (Тритий нестабилен, период его полураспада 12 лет, и в природе он существует в ничтожных количествах.) Тритий можно производить в атомных реакторах, работающих на обогащенном уране. В начале 50-х годов в СССР таких реакторов не существовало и задача их сооружения только была поставлена. Стало очевидно, что за короткое время — два-три года — наработать значительное количество трития не удастся. А Сталин торопил. (Я, конечно, не мог знать этого непосредственно, но мог судить обо всем по тому, как велись работы по созданию реакторов для производства трития, в которых я участвовал.) Поэтому крайне важным было разработать такую водородную бомбу, которая требовала бы минимального количества трития. Эту проблему и решил Сахаров. Он придумал — именно придумал, это была его идея, — как сделать водородную бомбу на минимальном количестве трития. Тут я могу сослаться на слова Померанчука<sup>4</sup>, который как-то сказал мне: «Андрей Дмитри-

<sup>4</sup> Померанчук Исаак Яковлевич (1913 — 1966) — физик-теоретик, академик АН СССР, внес важный вклад в теорию и создание первых советских ядерных реакторов.

евич не столько физик-теоретик — он гениальный изобретатель». В то время я не знал, в чем состояла идея Сахарова (в «Воспоминаниях» Сахарова она названа первой идеей). Говоря о ней со мной, Померанчук произнес только одно слово — «слойка», оставляя мне догадываться обо всем самому. Сейчас эта идея известна. Именно она позволила взорвать в СССР первую водородную бомбу почти одновременно с американской. (Первое испытание американской водородной бомбы проводилось 1 ноября 1952 года. Она, в отличие от первой советской водородной бомбы, была нетранспортабельной — использовать ее как оружие было нельзя. Первая транспортабельная американская водородная бомба была испытана на полгода позже советской.) Уже в конце 1952 года Сталин знал, что работы по созданию у нас водородной бомбы идут успешно, и это, с моей точки зрения, полностью коррелировалось с его политическими планами. И, как я сейчас понимаю, действия ученых, работавших над водородной бомбой с полной отдачей, объективно обладали отрицательным качеством. Тут я хочу оговориться: не все ученые, имевшие отношение к атомной проблеме, поступали так, не все были столь слепы. Таким исключением был Л. Д. Ландау. Это видно из краткого замечания в «Воспоминаниях» Сахарова. Я приведу его дословно, поскольку оно очень важно:

«Однажды в середине 50-х годов я приехал зачем-то в Институт физических проблем, где Ландау возглавлял Теоретический отдел и отдельную группу, занимавшуюся исследованиями и расчетами для „проблемы“. Закончив деловой разговор, мы со Львом Давыдовичем вышли в институтский сад. Это был единственный раз, когда мы разговаривали без свидетелей, по душам. Л. Д. сказал:

— Сильно не нравится мне все это. — (По контексту имелось в виду ядерное оружие вообще и его участие в этих работах в частности.)

— Почему? — несколько наивно спросил я.

— Слишком много шума.

Обычно Ландау много и охотно улыбался... Но на этот раз он был грустен, даже печален».

В этом кратком разговоре — весь Ландау и его отношение к «проблеме». Особенно характерна последняя реплика. Принципом Ландау было: если человек с первого раза не понимает нечто, очевидное с его, Ландау, точки зрения, то объяснять ему незачем — надо прекратить разговор, сказав малозначащую фразу.

Ландау занимался «проблемой», и занимался добросовестно, причем добросовестно в своем масштабе. Он выполнял все порученные ему задачи на самом высоком уровне, так что к нему никак нельзя было придираться. Но он не проявлял инициативы и старался уходить в сторону когда только возможно. Здесь, конечно, требовалась величайшая осторожность — легко было поплатиться головой.

Расскажу о проекте водородной бомбы, в котором сам принимал участие. Разработка проекта в СССР началась с предложения, внесенного в 1945 году Гуревичем, Зельдовичем, Померанчуком и Харитоном, о чем я уже говорил<sup>5</sup>. Идея заключалась в следующем. (На жаргоне эта система называлась «труба».) Длинный цилиндр наполнялся дейтерием. На одном конце трубы помещался тритиевый запал, который зажигался тем или иным способом и создавал очень высокую температуру. Далее по трубе распространялась взрывная волна реакции  $D + D$ . Такая система могла иметь любую сколь угодно большую длину и была дешева, так как дейтерий дешев, а тритий требовался только для запала. Мощность взрыва такой бомбы ограничивалась лишь возможностью ее транспортировки. Обсуждалась, например, идея, что бомбу, замаскировав, доставят на корабле к берегам Америки и там взорвут, уничтожив все побережье. (Ср. приведенное в «Воспоминаниях» Сахарова обсуждение сходной идеи, которое

<sup>5</sup> См.: Гуревич И. И., Зельдович Я. Б., Померанчук И. Я., Харитон Ю. Б. Отчет лаб. № 2, Курчатовский институт, 1946.

Сахаров вел с контр-адмиралом Ф. Фоминым. Интересна ответная реплика Фомина. Смысл ее был такой: «Мы, моряки, не воюем с мирным населением».)

До недавнего времени я считал, что предложение Гуревича и других было оригинальным. В этом же был убежден и сам Гуревич. Сейчас, однако, известно, что аналогичный проект разрабатывался в США — там он назывался «классический Супер» (classical Super). Идею его еще в 1941 году сформулировал Э. Ферми в разговоре с будущим «отцом американской водородной бомбы» Э. Теллером. Теллер стал развивать эту идею и интенсивно работал над нею несколько лет. Весной 1945 года советская разведка представила первую информацию об американском проекте водородной бомбы, а в октябре 1945 года поступили более подробные сведения о нем. Предложение Гуревича и других было представлено 17 декабря 1945 года<sup>6</sup>. Поэтому ныне я думаю, что идея советской «трубы» родилась из разведанных. Но конкретная и детальная проработка проекта, безусловно, была оригинальной. Я уверен в этом, поскольку хорошо знал двух авторов — Померанчука и Гуревича: присвоить чужие идеи они не могли. Почему же Гуревич считал, что все в их предположении, включая основную идею, было оригинальным? Дело в том, что данные разведки сообщались очень узкому кругу лиц: из физиков — только Курчатову, Харитону и, может быть, Зельдовичу, а эти люди, излагая их другим, не могли сослаться на источник, им приходилось выдавать американские идеи за свои. Поэтому Гуревич<sup>7</sup> (и, по-видимому, Померанчук) искренне думали, что все предложения от начала до конца есть творчество четырех авторов.

Насколько мне известно, до 1949 года работы над этим проектом не велись — по-видимому, потому, что атомная бомба еще не была создана и все усилия направлялись туда. Кроме того, не имея атомной бомбы, призванной служить запалом — поджигать третий, — нельзя было всерьез разрабатывать водородную бомбу. Детальные теоретические расчеты «трубы» начались в 1949 или 1950 году и проводились в основном группой Зельдовича<sup>8</sup> в Арзамасе-16. В работе принимала также участие группа Ландау, но она решала отдельные, выделенные из общей проблемы задачи. Главная проблема, реализация которой определяла, удастся ли создать такую бомбу или нет, состояла в том, каков будет баланс энергии. Чтобы вызвать самоподдерживающуюся ядерную реакцию — взрыв бомбы — необходимо, чтобы этот баланс был положительным, то есть чтобы энергия, возникающая за счет ядерных реакций, превосходила энергию, вылетающую из системы. Группа Зельдовича провела расчеты «трубы» и получила результат: баланс энергии нулевой, то есть энергия, рождающаяся за счет ядерных реакций, равна энергии, вылетающей из системы. Точность вычислений, однако, была невелика, что-нибудь вроде фактора 1,5 — 2. Если бы этот неизвестный фактор сработал в балансе энергии в положительную сторону, бомбу можно было бы сделать. Если же он сработал бы с отрицательным результатом, бомба не взорвалась бы: как говорили тогда, мог получиться «пшик». Естественно, такой ответ никого не устраивал. Подобный стиль вычислений — с точностью до двойки — вообще был характерен для Якова Борисовича. В ряде случаев он был очень хорош и приводил к поразительным успехам, но здесь не сработал.

Повышение точности — доведение ее до 10 — 20 процентов — требовало совсем других методов. Группе Зельдовича справиться одной с такой задачей оказалось не под силу. В это время — в середине 1950 года — решением высокого начальства в Арзамас-16 в длительную командировку направили Померанчука. Исаак Яковлевич очень тяготился своим пребыванием там. Незадолго до того произошел мощный прорыв в науке — в квантовой электродинамике: появились работы Д. Швингера, Р. Фейнмана и Ф. Дайсона. Исаак Яковлевич

<sup>6</sup> Автор благодарен Г. А. Гончарову за эту информацию. См. также G o n c h a r o v G. A. Thermonuclear Milestones. — «Physics Today». Vol. 49, 1996, November, p. 44 — 61.

<sup>7</sup> Гуревич Исая Израилевич (1912 — 1992) — физик, член-корреспондент АН СССР и РАН. Основные труды — по ядерной физике, теории ядерных реакторов.

<sup>8</sup> Зельдович Яков Борисович (1914 — 1987) — физик-теоретик, академик, автор фундаментальных трудов по ядерной физике, астрофизике и газодинамике.

очень хотел разрабатывать эти вещи, обсуждать их с Ландау и другими физиками, а тут, на базе, приходилось заниматься совсем иным делом. Кроме того, у него были и личные причины, по которым он очень хотел вернуться в Москву. И Померанчук выступил перед руководством с предложением, что он со своей группой в Теплотехнической лаборатории (ТТЛ) беретесь в сотрудничестве с группой Зельдовича решить проблему при условии, что его отпустят с базы.

Предложение Померанчука было одобрено, он вернулся в Москву и подал на оформление список участников группы. Дело в том, что, хотя все ее члены уже имели достаточно высокие секретные допуски — мы занимались реакторами, — это дело проходило по особой, самой высокой степени секретности: все документы по этой тематике шли «под четырьмя буквами» («с. с. о. п.» — «Сов. секретно, особая папка»), а главные отчеты писались от руки, их нельзя было доверить даже самым засекреченным машинисткам. (Заключительный отчет Померанчук писал сам от руки в трех экземплярах, без копирки.) В группу Померанчука из физиков вошли В. Б. Берестецкий, А. Д. Галанин, А. П. Рудик и я. Математическую часть возглавлял А. С. Кронрод. Математический расчет в этой проблеме был важен и труден; Кронрод охотно взялся за решение подобной задачи: для него она явилась своего рода вызовом. И действительно, он придумал эффективный метод численного решения. В то время никаких ЭВМ не было и вычислительная техника сводилась к клавишным счетным машинам. М. В. Келдыш, возглавлявший комиссию по математическому обеспечению атомной проблемы, выделил мощное вычислительное бюро Л. В. Канторовича, будущего лауреата Нобелевской премии, в Ленинграде, в котором было около сорока расчетчиц. В решении этой задачи Кронрод проявил высочайший класс и намного превосходил Канторовича. Я неоднократно присутствовал при их обсуждениях, и всегда идеи выдвигал Кронрод, а Канторович был не более чем квалифицированным исполнителем. Может быть, это было связано с тем, что Канторович, мягко говоря, не испытывал по отношению к подобной задаче никакого энтузиазма. (Хотя ему передавались материалы в таком виде, в котором физика была скрыта, — всего лишь «под двумя буквами», но я думаю, он догадывался, что делает.)

Из физиков Галанин вообще не участвовал в этой проблеме — он был целиком занят реакторным делом. Берестецкий решал отдельные связанные с этим частные задачи. Поэтому работать начали мы с Рудиком. Сначала нам предстояло проверить отчет Ландау, Лифшица, Халатникова и Дьякова, в котором было вычислено сечение комптоновского рассеяния на электроны в плазме. Проверая его, мы обнаружили, что расчет неверен. И тут произошло неожиданное. Мы начали работать, не дожидаясь официального разрешающего допуска — работа не терпела отлагательств. Допуск пришел на всех, кроме Рудика. Рудик в нем было отказано. Алексей Петрович Рудик, по происхождению из казаков, в то время секретарь комсомольской организации ТТЛ, не получил допуска, а я, Иоффе Борис Лазаревич, беспартийный, никогда не бывший даже комсомольцем, — получил! Было чему удивиться. Так что из физиков в нашей группе я фактически остался один. Померанчук участвовал в обсуждении результатов, особенно на конечной стадии, но реально не работал. Вычисления были завершены в конце 1952 года. В результате баланс энергии оказался отрицательным, то есть, если принять за единицу энергию, выделяющуюся в ядерных реакциях, то энергия, вылетающая из трубы, составляла 1,2. Система не шла, такую бомбу принципиально нельзя было сделать. Человечеству страшно повезло, или, может быть, Бог смилостивился над ним.

Теперь я хочу остановиться на том, как разные люди относились к «трубе». Прежде всего А. И. Алиханов. Работа велась в ТТЛ (Алиханов являлся директором ТТЛ), и, как всякая крупная работа — а по тем временам это была очень крупная работа, — она никак не могла проходить мимо директора. Однако Абрам Исаакович с самого начала занял очень четкую позицию: «Вы хотите вести эту работу — вы можете это делать, но я не имею к этому никакого отношения и иметь не хочу». Он издал распоряжение, по которому все бумаги по этой части шли за подписью Померанчука, минуя его, Алиханова, и

отстранился от этой деятельности вплоть до самого конца, когда надо было подписать заключительный отчет с отрицательным результатом.

Ландау участвовал на начальном этапе разработки задачи, но затем отошел. В конце, когда стало ясно, что система не идет, то, поскольку баланс энергии был лишь слабо отрицательным, возник вопрос, нельзя ли найти какие-либо неучтенные физические эффекты, которые могли бы улучшить баланс или же как-то видоизменить систему с этой же целью. В 1952 — 1953 годах эти вопросы неоднократно обсуждались. В обсуждениях, помимо людей из групп Померанчука и Зельдовича, участвовали Б. Б. Кадомцев и Ю. П. Райзер из Обнинска. Они изучали сходную систему — «сферу». Хотя с этой системой с самого начала было ясно: она требует очень много трития и в ней нельзя добиться того эффекта, на который надеялись в «трубе» — неограниченной силы взрыва, — у нее, с точки зрения теоретического расчета, оказалось много общего с «трубой». Для участия в этих обсуждениях приглашался и Ландау. Когда в ходе дебатов к нему обращались с вопросом, может ли тот или иной эффект повлиять и изменить ситуацию, его ответ оказывался всегда одинаковым: «Я не думаю, что этот эффект мог бы оказаться существенным». После того, как выяснилось, что «труба» не проходит, Померанчук сказал, что у него нет идей, как улучшить систему, и поэтому продолжать эту работу он не может. Он предложил мне заняться изучением оставшихся не вполне ясными вопросов (таких, как возможность существования в системе сильных магнитных полей или их искусственного создания) и добавил, что организует мое назначение начальником группы, ведущей эти исследования. Но я отказался, заявив, что у меня тоже нет идей. Так как желающих продолжать работу не нашлось, проблему закрыли.

Позиция Ландау здесь была очень важна. Когда он говорил, что не думает, будто такой-то эффект может оказаться существенным, то даже у тех, кто вначале хотел заниматься таким расчетом, подобное желание пропадало. Сходную позицию занимал Е. М. Лифшиц — он по возможности старался оставаться в стороне, во всяком случае, не проявлять собственной инициативы.

В США после того, как атомная бомба была создана, а война окончилась, у многих физиков возникли сомнения в необходимости дальнейшей работы над атомной проблемой, в особенности в создании водородной бомбы. Ряд ученых вернулся в университеты продолжать прерванную войной научную деятельность и преподавание. Многие считали ненужным и даже вредным для самих США создание водородной бомбы. Широко известна дискуссия между Р. Оппенгеймером и Э. Теллером по этому поводу и последующее «дело Оппенгеймера»<sup>9</sup>.

В СССР ничего подобного не было. Возникает вопрос: почему? Естественный ответ на него — потому, что боялись, — не может нас полностью удовлетворить. Более того, ссылка на укоренившуюся в советском человеке привычку исполнять приказы не думая, как сказано в известной песне: «А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела», — также не проясняет ситуацию. Если бы работа ученых по атомной проблеме сводилась только к подневольному труду, то таких успехов, достигнутых за столь короткие сроки, не было бы. В высокой степени этот труд связан с творчеством, инициативой, невозможными при подневольном труде. Наконец, объяснение, что «это очень хорошая физика» (слова Ферми), также неудовлетворительно, поскольку оно в равной степени относится к физикам США и СССР. Мне кажется, все объясняется тем, что большинство создателей водородной бомбы — это люди поколения 30-х годов, в большей или меньшей степени, но верившие в социализм и его построение в СССР. Лишь постепенно и нередко в результате мучительной переоценки до них доходила истина, что страшное оружие, которое они создают, попадет в руки отъявленных злодеев. Воспоминания Сахарова, написанные очень искренне, в этом отношении весьма характерны: из них видно, что у

<sup>9</sup> Rhodes R. Durk Sun. The Making of Hydrogen Bomb. Simon and Schuster, New York, London, 1985.



Андрея Дмитриевича такое понимание стало появляться только в 60-х годах. (У некоторых, правда, это произошло раньше.) Такие взгляды были не только у людей науки. В еще большей степени это относится к писателям, поэтам, деятелям искусства. Вспомните «если враг не сдастся, его уничтожают» Горького или «по оробелым, в гуще бегущим грянь, парабеллум» Маяковского. Но не только у этих двух, но и у значительно более, по нашим современным понятиям, добропорядочных деятелей литературы и искусства можно найти высказывания, относительно которых кажется совершенно непонятным, как такое можно было написать или сказать. И редким исключением были те, кто сумел сохранить ясность мысли, честность поступков и суждений.

Теперь перейду к другой составляющей атомного проекта в СССР — созданию атомных реакторов. Лаборатория № 3, куда я поступил на работу, была организована в декабре 1945 года. В 1950 году Лабораторию № 3 переименовали в Теплотехническую лабораторию, а в 1958 году — в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). Лаборатория № 3 подчинялась Первому главному управлению (ПГУ) Совета Министров СССР, ведавшему атомным проектом. Начальником ПГУ был Б. Л. Ванников, его первым заместителем — А. П. Завенягин, но фактически хозяином атомного проекта до своего падения летом 1953 года являлся Берия. В 1954 году Первое главное управление было переименовано в Министерство среднего машиностроения. Основная задача, поставленная перед Лабораторией № 3, — создание тяжеловодных атомных реакторов с целью производства плутония и урана-233 для атомных бомб. Я был принят на работу в Лабораторию № 3 1 января 1950 года и несколько месяцев в основном занимался чистой теорией. Но в мае 1950 года сверху поступил приказ в кратчайшие сроки представить проект реактора по производству трития. Всех теоретиков ТТЛ бросили на это дело, и с тех пор на протяжении десятилетий параллельно с чистой наукой мне приходилось заниматься физикой ядерных реакторов.

В последнее время в печати интенсивно обсуждается вопрос, какую роль в осуществлении советского атомного проекта сыграла информация, добытая шпионами, или, как иногда утверждается, добровольно переданная некоторыми западными физиками. Харитон<sup>10</sup> публично признал, что такая информация при создании первой советской атомной бомбы была крайне существенной, более того, эта бомба явилась точной копией американской. В физике атомных реакторов дело обстояло не совсем так. Действительно, ряд важнейших идей об использовании плутония для бомбы и его производстве в атомных реакторах пришел «оттуда». Но многое из реализованного в физике, и особенно в теории атомных реакторов, — это, как уже говорилось выше, результат творчества советских ученых и инженеров. Я мало что могу сказать о конструкции атомных реакторов в этом аспекте. Про конструкцию графитовых реакторов, сооруженных по проектам Лаборатории № 2 (ЛИПАН), я не могу сообщить ничего определенного: были ли тут шпионские данные, и если были, то какую роль они сыграли — не знаю. В Лаборатории № 3 имелся чертеж канадского тяжеловодного исследовательского реактора, и при сооружении первого в СССР реактора такого типа отсюда кое-что было позаимствовано: общий размер бака для тяжелой воды, размер графитового отражателя. Однако другие важнейшие элементы конструкции, как крышка реактора (через нее загружаются и выгружаются урановые стержни и осуществляется регулирование), уплотнение урановых каналов и многое другое, было изобретено и сконструировано в Лаборатории № 3. При сооружении промышленных тяжеловодных реакторов никаких заимствований не было вообще, они итог собственных работ. Что касается теории атомных реакторов, то я со всей определенностью могу свидетельствовать, что созданная в СССР теория атомных реакторов была оригинальна и, более того, превосходила американскую. Первые работы, в которых сформулированы основные положения теории цепной реакции де-

<sup>10</sup> Харитон Юлий Борисович (1904 — 1996) — физико-химик, академик АН СССР и РАН, научный руководитель Российского федерального ядерного центра.

ления урана на теплых нейтронах в ядерном реакторе, написаны и опубликованы Зельдовичем и Харитоновым еще в 1940 году. Это последние открытые работы по данной проблеме — на Западе публикация статей на эту тему прекратилась еще раньше. В этих работах была получена знаменитая формула трех множителей для вычисления коэффициента размножения в ядерном реакторе. (Позднее Г. Н. Флеров добавил к ней четвертый множитель.) Теория резонансного поглощения нейтронов в урановых блоках реактора была построена Гуревичем и Померанчуком в 1943 году. В ней заложена определенная физическая идея, тогда как аналогичная теория, выдвинутая Ю. Вигнером в США, — это, по сути дела, просто интерполяционная формула. Теория Гуревича и Померанчука в отличие от формулы Вигнера — настоящая физическая теория, которую можно было развивать, улучшать, что и происходило. При построении теории диффузии тепловых нейтронов в реакторе очень плодотворной оказалась предложенная Ландау идея: характеризовать урановый блок одной величиной — тепловой постоянной. В построении теории ядерных реакторов в 1945 — 1947 годах участвовали также Е. Л. Фейнберг, И. М. Франк, В. С. Фурсов, но основной вклад был сделан И. Я. Померанчуком. В 1945 — 1947 годах А. И. Ахиезер и И. Я. Померанчук написали книгу «Теория нейтронных мультиплицирующих систем». К сожалению, она никогда не была издана: в то время о ее публикации не могло быть и речи — она считалась «совершенно секретной», а впоследствии авторы утратили к ней интерес. Работа эта существует только в виде текста, в значительной части написанного от руки, и хранится в единственном экземпляре в Институте теоретической и экспериментальной физики. В ней систематически изложены все вопросы теории ядерных реакторов. В дальнейшем более тонкие проблемы теории — теория гетерогенных решеток и другие — были исследованы А. Д. Галаниным и С. М. Фейнбергом. Так что при расчете конкретных реакторов использовалась только «отечественная теория», никаких заимствований не было.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и сказать о роли Померанчука. В конце 40-х годов почти одновременно с созданием теории ядерных реакторов он занимался другими, чисто теоретическими, вещами: теорией жидкого  $^3\text{He}$  (трое физиков — два американца и француз, — которые экспериментально реализовали теоретические идеи Померанчука, в 1996 году получили Нобелевскую премию), теорией синхротронного излучения и, что особенно важно, квантовой теорией поля и теорией элементарных частиц. Он был первым в Советском Союзе, кто понял важность нового развития квантовой электродинамики, начатого работами Швингера, Фейнмана и Дайсона. Он ориентировал молодых людей на работу в данном направлении, и именно благодаря ему в начале 50-х годов в эту сторону в значительной степени сместился круг интересов Ландау. Мне кажется, что в начале 50-х годов одновременно с тем, как Померанчук стал все более заниматься чистой наукой, к нему приходило и более ясное понимание общей ситуации.

Единственным местом в расчете ядерных реакторов, где использовались шпионские данные (мы называли их «экспериментальные данные»), были величины сечений захвата и деления тепловых нейтронов ураном и плутонием, а также число вылетающих при делении нейтронов. Существовали и данные измерений этих величин, выполненных в СССР (ЛИПАН и ТТЛ), но точность их была несколько ниже, и мы больше верили «экспериментальным данным». Однако цифры по резонансному поглощению использовались свои, в основном полученные в ЛИПАНе и частично в ТТЛ.

Шпионские материалы, которые поступили в Лабораторию № 3 в 40-х годах, шли обычно за подписью Я. П. Терлецкого. Терлецкий, профессор МГУ (он читал там курс статистической физики), по совместительству работал в МГБ. В его обязанности входило сортировать поступающие из-за границы материалы по атомному проекту. (Терлецкий не был специалистом по ядерной физике и никакого иного участия в атомном проекте не принимал.) В 1945 году Терлецкого (с рекомендательным письмом от П. Л. Капицы) послали в Копенгаген к Н. Бору, с целью выяснить у того, что он знает по атомной проблеме.

(Беседа Терлецкого с Бором опубликована в газете «Московский комсомолец» от 29 июня 1994 года.) Подавляющее большинство ответов Бора носит общий характер и малоинформативно. Но один ответ представляет интерес и мог бы дать полезную для того времени информацию (если, конечно, она уже не была известна). Терлецкий спросил Бора, через какое время извлекаются урановые стержни из атомного реактора. Ответ Бора был, что точно он не знает, но вроде бы примерно через неделю. Эта информация важна по следующей причине. В урановых стержнях при работе реактора накапливается плутоний-239, который затем химически извлекается из них и используется как заряд в атомной бомбе. Однако за счет захвата нейтронов плутонием-239 происходит также накопление другого изотопа плутония —  $^{240}\text{Pu}$ . Этот изотоп вреден для бомбы, и при большом его содержании взрыва не будет — будет «пшик». Химически эти два изотопа не разделяются, извлекается смесь обоих изотопов. Для обеспечения взрыва бомбы нужно, чтобы отношение  $^{240}\text{Pu}$  к  $^{239}\text{Pu}$  не превысило определенной величины. Концентрация  $^{240}\text{Pu}$  растет квадратично со временем выдержки уранового стержня в реакторе, а концентрация  $^{239}\text{Pu}$  — линейно. Поэтому время выдержки плутония, пригодного для получения бомбы, не может быть очень большим, и его величина — существенный параметр, определяющий, какова допустимая концентрация  $^{240}\text{Pu}$  в бомбе<sup>11</sup>. Таким образом, Бор сообщил нечто важное. Но ответ Бора был грубо неверен! То ли Бор сам не знал, то ли умышленно ввел Терлецкого в заблуждение. Последнее не исключено, поскольку, скорее всего, Бор должен был относиться к Терлецкому с предубеждением (Терлецкий из МГУ, а оттуда незадолго до того изгнаны всех крупных физиков: Ландау — ученика Бора, Тамма, Леонтовича и других). Замечу, что в Лаборатории № 3 о поездке Терлецкого ничего не знали.

Остановлюсь на эпизоде, относящемся к прибытию в СССР Б. Понтекорво<sup>12</sup>. Как известно, в конце 40-х Понтекорво жил в Англии. Примерно в начале 1950 года он поехал с семьей в Финляндию, якобы на отдых. Там их ждал советский пароход «Белоостров», на котором они и прибыли в СССР. Операция по выезду из Финляндии была проведена нелегально, и лишь потом, когда Понтекорво исчез, западные спецслужбы определили, что исчез он именно таким образом. В нашей печати никаких сообщений о его приезде не было, и я, например, узнал об этом значительно позже из американского журнала «Science News Letters». По прибытии в СССР Понтекорво жил и работал в Дубне. Выезд из Дубны ему был запрещен примерно до 1955 года, он пребывал там как бы в ссылке. Его фамилию упоминать запрещалось. Померанчук, который в то время часто ездил в Дубну, по возвращении оттуда неоднократно говорил, что обсуждал такой-то вопрос с «профессором» или что «профессор» сказал то-то. «Профессор» — это был Понтекорво, но имени его Померанчук не произносил: табу сохранялось до 1954 года.

Где-то в 1950 году Галанина неожиданно вызвали в Кремль. Такой вызов был весьма необычным: вызывали в разные места, но в Кремль — никогда. Поскольку Галанин занимался реакторами, было очевидно, что вызов связан с реакторным делом. Обычно Галанин все реакторные проблемы обсуждал с Рудиком и мной: мы тоже вели расчеты реакторов — иначе просто нельзя было бы работать. Но тут он вернулся из Кремля — и молчит. В то время у теоретиков ТТЛ действовал введенный Померанчуком принцип: не спрашивать. Как говорил Исаак Яковлевич, «кому нужно, я сам скажу». Поэтому мы и не спрашивали. Молчал Галанин долго — несколько лет, но потом все-таки разговорился. Оказывается, его вызывали в Кремль на допрос Понтекорво. Там со-

<sup>11</sup> По этой же причине плутоний, образующийся в реакторах атомных электростанций, где выдержка очень велика, крайне трудно использовать для создания бомбы. До 90-х годов этого вообще не умели делать. Сейчас научились делать бомбы даже из сильно загрязненного плутония  $^{240}\text{Pu}$ , но они требуют значительно большего количества активного вещества.

<sup>12</sup> Понтекорво Бруно (1913 — 1993) — физик, академик АН СССР и РАН. Родился в Италии. С 1940 года работал в США, Канаде, Великобритании; с 1950 года — в СССР. Труды по замедлению нейтронов и их захвату атомными ядрами, ядерной изометрии, слабым взаимодействиям, нейтринной физике, астрофизике.

бралась группа физиков, и им предложили задавать Понтекорво вопросы о том, что он знает по атомной проблеме. Но Понтекорво знал только общие принципы. Собравшихся же в основном интересовали технические детали — например, как изготавливаются урановые блоки реактора, какова технология того или иного процесса и т. д., а этого Понтекорво не знал и ничего полезного в разговоре не сообщил.

Контакты Понтекорво с физиками были сильно ограничены — например, он не мог общаться с Ландау, тот в Дубну не ездил. Понтекорво не мог публиковать никаких научных статей — на пять лет его имя полностью исчезло из науки. Тем не менее он не изменил своих коммунистических взглядов. Позже, в 1956 году, мы были вместе с ним на конференции по физике элементарных частиц в Ереване и жили в одном номере гостиницы. Понтекорво перед этим вернулся из поездки в Китай, куда ездил в составе советской делегации. Как-то вечером, уже лежа в постели, он стал рассказывать мне о своих впечатлениях. Он был в восторге от того, что увидел: как хороши коммуны, с каким энтузиазмом народ строит коммунизм и т. д. Не выдержав, я заметил: «Бруно Максимович! Если смотреть на страну извне или быть в ней гостем короткое время, можно очень сильно ошибиться». Бруно Максимович прервал разговор, сказав: «Давайте спать». Он не простил мне этого замечания: наши отношения, которые до того были очень хорошими, больше уже никогда не восстановились. Конфликт с Китаем разразился примерно через год-два после этого разговора.

По части наших отношений с Китаем Померанчук был намного дальновиднее. Еще в начале 50-х годов, в эпоху песни «Москва — Пекин», он предсказывал серьезные конфликты и, может быть, даже войну с Китаем в будущем. Правда, такое предсказание есть в книге Оруэлла «1984», вышедшей в 1949 году. Но в то время мы и не знали о ее существовании.

Раз уж зашла речь о Дубне, изложу историю, которую мне рассказали как вполне достоверную, — о том, как был организован Международный объединенный институт ядерных исследований в Дубне, он назывался тогда Гидротехническая лаборатория (ГТЛ) — видимо, потому, что расположен был на Волге, никакой гидротехники там и в помине не было. Институт организовали по предложению И. В. Курчатова для изучения физики элементарных частиц и атомного ядра, и, по сути дела, проводившиеся там исследования не имели отношения к атомному оружию. (Хотя начальство длительное время убеждено было в обратном.) Когда принималось решение о создании института, естественно, возник вопрос о месте, где его построить. Для изучения вопроса создали специальную комиссию. Берия собрал совещание, на котором комиссия представила свои рекомендации: предложили три возможных места размещения будущего института. Выслушав комиссию, Берия попросил принести карту, ткнул пальцем в место будущей Дубны (его не было среди рекомендованных комиссией) и сказал:

— Строить будем здесь.

— Но, — робко возразил кто-то, — здесь болота, неподходящий грунт для ускорителей.

— Осушим.

— Но сюда нет дорог.

— Построим.

— Но здесь мало деревень, трудно будет набрать рабочую силу.

— Найдем, — сказал Берия.

И он оказался прав. Это место было окружено лагерями, именно поэтому Берия его и выбрал. Еще в 1955 году, когда я впервые смог поехать в Дубну, по дороге тянулись лагеря, стояла охрана, которой следовало говорить: «Мы едем к Михаилу Григорьевичу». (Михаил Григорьевич — это был М. Г. Мещеряков, директор ГТЛ.)

*(Окончание следует.)*

---

---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

## «...НЕПОВТОРИМЫЙ В СВОИХ СОЧЕТАНИЯХ МОМЕНТ»

*Письма А. К. Герцык к родным и друзьям*

Вынесенные в заголовок слова из письма Аделаиды Казимировны Герцык (1874 — 1925) к Валерию Брюсову свидетельствуют, насколько дорожила она тем, что было так присуще культуре ее эпохи; позднее, в письме к Л. Ф. Пантелееву 1913 года, она так же страстно и горячо защищает главную, как ей казалось, ценность своего времени — новое искусство.

Ее друзьями были поэты Максимилиан Волошин и Марина Цветаева, философы Сергей Булгаков и Николай Бердяев и, конечно, объединяющий эти два творческих начала Вячеслав Иванов, ставший для многих, в том числе и сестер Аделаиды и Евгении, учителем и наставником — и в вопросах поэтики, и в вопросах мистики, и в вопросах жизни.

Приведенные здесь выдержки из писем Аделаиды Герцык 1905 — 1914 годов охватывают этот период культурной жизни обеих столиц и существенно дополняют картину творческих поисков и интимных переживаний творческой интеллигенции Петербурга и Москвы, уже неоднократно восстановленную в многочисленных томах «Литературного наследства», мемуарах, научных монографиях специалистов...

Знакомство с Вячеславом Ивановичем Ивановым и его женой Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал в начале 1906 года в Петербурге на Таврической было очень значительным событием жизни Аделаиды. Отсюда ведет она отсчет своей настоящей жизни. Этот восторг отразился в ее стихотворении «Тихая гостья, отшельная...»: «...Из немых глубин / Вознеслась душа / На простор вершин, / Где горят снега, / На отроги скал, / Где орлуют орлы, — / Где гибель ликует / Среди вихрей света, / Носясь, хмелея / На буйной воле...»

Прошел год, и тема смерти уже реально вошла в жизнь — неожиданно умерла Лидия Дмитриевна, и Вячеслав Иванович под влиянием Анны Рудольфовны Минцловой, известной мистическими прозрениями и откровениями, через оккультные сеансы пытается удержать духовную связь с умершей. Сестра Аделаиды Евгения так описывает те ночи «на башне»: «...тушится лампа. Зажигают свечи в бра на стенах — Вячеслав Иванович любит их теплый медовый свет, — Минцлова за рояль, и поток бетховенских сонат. Не соблюдая счета, ритма, перемахивая через трудности, но с огнем, с убедительностью. В. И. неслышно ходит взад и вперед по большому коври, присаживается ко мне, шепотом делится поправкой в последнем сонете, на клочке бумаги пишет опьяняющие меня слова... В третьем часу ночи я ухожу... И знаю, что еще до света они будут шептаться, она его будет водить по грани, то насильственно волочить к ней, то ограждать, запеленывать...» (Герцык Евгения. Воспоминания. М., 1996, стр. 121).

Невольно в этот процесс оказываются вовлечены окружающие, в письме к подруге, В. С. Гриневич, от 6 февраля 1908 года Аделаида Казимировна описывает и свое участие в таком сеансе. Так появляется стихотворение с посвящением «В. И. и А. М.»:

*Правда ль Отчую весть мне прислал Отец,  
Наложив печать горения?  
О, как страшно приять золотой венец,  
Трепеща прикосновения!*

---

Вступительная статья, составление, подготовка текста, публикация сотрудника Дома-музея М. И. Цветаевой Татьяны Никитичны ЖУКОВСКОЙ, примечания Н. А. БОГОМОЛОВА и Т. Н. ЖУКОВСКОЙ.

*Если подан мне знак, что я дочь царя,  
Ничего, что опоздала я?  
Что раскинулся пир, хрустаем горя,  
И я самая усталая.  
Разойдутся потом, при ночном огне,  
Все чужие и богатые...  
Я останусь ли с Ним? Отвечайте мне,  
Лучезарные вожатые!*

В конце лета 1908 года поэт приехал в крымский дом Герцыков в Судак и пробыл там до начала октября. Сохранилась фотография, снятая на Судацкой генуэзской крепости, где кроме Вячеслава Иванова и А. Р. Минцловой присутствуют все члены семьи Герцыков и Д. Е. Жуковский. К этому времени Аделаида Герцык и издатель Дмитрий Евгеньевич Жуковский приняли решение о соединении своих судеб и в августе из Судака отправились за границу, где пробыли год и где в августе 1909 года родился их первенец.

В письме к В. С. Гриневиц в мае 1913 года, после посещения в Риме новой семьи Ивановых, Евгения Герцык пишет: «Но я настаиваю на том, что тоска Вяч. не от их неудачного брака, пот<ому> что это неудача в земном именно должна была пробудить в нем устремленность вверх, к творчеству и восхождению. И в то же время он прав в своей защите себя, когда гов<орит>, что в этой тихой пассивности он правдивей, чем когда властно утверждает что-ниб<удь>, что ему нехорошо быть волевым. А с отсутствием воюющей воли связана для каждого человека, перешедшего какой-то перевал к старости, — связана тихая грусть и сознание тленности всего... и в этом есть правда. Он проникнут теперь духом Экклезиаста — все суета сует. И там сказано еще: как человеку одному согреться? Нехорошо человеку быть без жены. Вот такой их брак — в тихой покорности тому, что счастья все равно нет. Но от этой безрадостности яснее единая реальная связь человека, его, Вячеслава, с Богом, с Христом. Мне лично Вяч. оч<ень> много дал и стимулирующего, будящего желаний быть лучше, чище, и печально-ласкающего, и строгого. Он без конца побуждал меня писать и в последний вечер заключил со мной договор, по которому мы взаимно требовали друг от друга разные вещи. Родная моя, мне больно твое неприязненное чувство к Вяч., но я уверена, что оно пройдет».

И еще через несколько дней: «Та любовь к Вяч. умерла, и было страшно, что обеднеет от этого дух, и я благодарна и радостна тому, что все чувство, не растраченное, возродилось на другом пути. И даже я узнала, что вообще он не был (но, значит, вообще никто) никогда женихом, желанным. И вот это отсутствие возможности настоящей, полной любви — очень страшное — налагает трудную ответственность найти, осуществить другое, неличное... Но не думай, что я говорю этим, что не люблю никак Вяч., не жалею его, не забочусь о нем и не буду до смерти издали — знает он это или не знает — оберегать его и помогать ему. Он очень все время удивлялся мне, и в его новом каком-то уважении ко мне я узнавала, как многое действительно отпало».

Весной 1910 года Аделаида Герцык издает книжечку своих стихов «Стихотворения», и Вячеслав Иванов на правах наставника выражает неудовольствие, что это не было согласовано с ним. Впрочем, не такое уж настойчивое неудовольствие, да и круг общения на этот период у них оказывается несколько разным. Вячеслав Иванов продолжает жить в Петербурге, а Д. Е. Жуковский с женой и детьми — в Москве. Дмитрий Евгеньевич работает в журнале «Русская мысль», в доме Жуковских часто собираются сотрудники этого журнала: в Москве живут Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, наездами бывают Алексей Ремизов и Максимилиан Волошин. В начале 1911 года последний знакомит Аделаиду Герцык с Мариной Цветаевой. Все они — частые посетители квартир Жуковских в Москве, где проводятся диспуты, поэтические вечера, чтения новых статей. Квартиры снимаются осенью, и адреса меняются каждую зиму: Ивановский переезжает, Собачья площадка, Кречетниковский переулок. А весной семья уезжает на все лето в Витебскую губернию, Рижское взморье или Судак, где с конца 1913 года решено строить большой дом — ведь в семье Жуковских уже двое маленьких детей.

Тогда же, в конце 1913 года, Вячеслав Иванов с семьей, вернувшись из-за границы, поселяется в Москве, на Зубовском бульваре, 25. Контакты возобновляются, естественным образом Иванов принимает активное участие в московской интеллектуальной жизни. Вместе опереживаются события: начало и ход Первой мировой войны,

смерть Скрябина и Верхарна, убийство Распутина и волнения на улицах. Круг друзей еще крепок, еще есть вера в разумное завершение безумных событий, еще есть силы на издание юмористически-шутливого домашнего журнала «Бульвар и переулок», куда писали и известные мужья, и их занятые домашними заботами жены. Но время неотвратимо вело их всех к весне 1917 года, когда, разъехавшимся на летний отдых, не всем суждено было вернуться в Москву.

И первыми переселенцами оказались Герцыки-Жуковские, оставшиеся зимовать в Крыму. Летом в Судаке отдыхали М. О. и М. Б. Гершензоны с детьми. Вернувшись в Москву, в октябре 1917 года М. О. Гершензон описывает судачанам московские состояния умов: «Вяч. прочитал реферат умный, он говорит, что революция наша враждебна народу, не выросла из его духовных глубин и еще только должна быть углублена. Дальше следовала словесность: она должна быть углублена религиозно, и тогда все будет хорошо, — а что значит «религиозно», этого он, конечно, не сказал, да и не мог сказать. Но первая его мысль верна. Затем начались прения. Бердяев, Вышеславцев, приват-доцент Кечекьян, профессор Алексеев и другие до часа ночи жесточайшим образом поносили революцию, революционную интеллигенцию, которая растлила народную душу (это Бердяев криком, стуча кулаком по столу: „ее мало вешать, мало расстреливать” и т. д.), и народ, показавший свой звериный лик (это Вышеславцев)».

Проведя пять холодных и голодных зим в Судаке, в январе 1922 года Аделаида Казимировна с детьми перебирается в Симферополь, где ее муж, Д. Е. Жуковский, получил работу ассистента на кафедре Александра Гавриловича Гурвича, известного биофизика. Его брат, Лев Гаврилович, работал в Бакинском университете и жил там рядом с Вячеславом Ивановым. Приезжая к брату в Симферополь, он рассказывал Жуковским о жизни Вячеслава Иванова в Баку.

Круг друзей распался. Шестов, Бердяевы, В. С. Гриневич, С. Н. Булгаков пишут уже из-за границы: Париж, Берлин, София, Прага. Вячеслав Иванов, потерявший в голодные годы жену и верного друга М. М. Замятнину, спасая детей и себя, выезжает в Италию и переписку уже не поддерживает. В России остались Гершензоны, Волошин, Герцыки-Жуковские... У всех свои житейские проблемы, все по мере возможностей продолжают творить, но голоса их друг для друга в пространстве теряются и все больше затихают.

*Пусть эти речи отзвенели  
И мир отвергнул их, презрев,  
Но слаще сладостной свирели  
Звучит медлительный напев, —*

писала в своих последних стихах Аделаида Казимировна, до конца оставшаяся верной своей культурной эпохе, своим идеалам.

Журнал «Новый мир» продолжает знакомить читателей с материалами и письмами семьи Герцык-Жуковских: см. публикацию прозы Д. Жуковского (1997, № 6), писем Л. Ю. Бердяевой к Е. К. Герцык (1998, № 7). Письма, публикуемые в настоящей подборке, извлечены преимущественно из домашнего семейного архива, за исключением: автограф письма № 1 хранится в ОР РГБ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 23; № 25 — РГАЛИ, ф. 131, ед. хр. 110.

## 1

### В. Я. БРЮСОВУ

28 ноября <1905. Москва>.

В последних стихотворениях Ваших в «Вопр<осах> ж<изни>» Вы сказали, что живете «грядущим» и что это делает Вас гордым и свободным, несмотря на то что варвары будут «творить мерзость во храме и складывать книги в костры»...<sup>1</sup>

Ваши слова, прозвучавшие среди многоголосого шума, исходят именно оттуда, откуда со страхом ждут теперь слова все, кому дорого и нужно наше искусство. Что делают, что думают «хранители тайн и веры»? Где и как будут любить то, чему отдавали себя до сих пор?

Не на общественные темы собиралась я говорить с Вами; я так же, как все, хочу того, что хотят они, эти «невольники воли», и знаю, что они повинны ни в чем, и знаю, что другого пути теперь нет. Я обращаюсь к Вам с другим. Вы — из того мира, которым я жила и за ростом которого следила с радостным волнением. Вот почему я пишу Вам. Больно видеть, как с вторжением этого правого безумия в жизнь грубеет и душа, топчется все лучшее, с любовью взрощенное. Иногда кажется, что присутствуешь на похоронах чего-то дорогого и безвозвратного.

Конечно, это — временно, грубые голоса смолкнут, газетная обличительная литература перестанет заполнять жизнь, но вернется ли нежное, утонченно-прекрасное, умное и художественное, что понемногу благодаря вам, нашим поэтам, благодаря «Весам» все шире разливалось в жизни и из роскоши, доступной избранным, обращалось в духовную потребность для многих? Наши странные, недоговоренные пророчества, недопетые песни, что будет с ними? Вы скажете, что для истинного поэта то, что мы переживаем, послужит лишь новым источником творчества; для слабого же, лишённого самобытности, будет лучше, если его сметут хлынувшие волны. Да? Вы скажете это? Или, быть может, пожалеете многое бессильное, неокрепшее, но все же милое и близкое в нашей поэзии, что не выдержит напора жизни и смолкнет. Останется мало — всего два, три — и ждешь с тревогой, что они сделают? Как применятся к жизни? Как преломится она в них? Такая страшная жизнь, как наша, может найти себе воплощение лишь через много лет, когда она останется далеко позади (ведь нынешние отклики на действительность и на злобы дня в прозе и стихах не могут же иметь художественного значенья!).

Да и потом, культура, которая возродится после, когда люди устроят свою жизнь и захотят опять красоты и вечности, будет уж другая, и выражение ее, и слова, и облик, и прозрения будут новыми. А безгранично дорог именно наш, неповторимый в своих сочетаниях, момент, в его случайности, в его чуде.

Вы сами пишете:

Погибнет то, что ведомо лишь нам, — и вот с этим не мирится душа; она жила вами и хочет узнать до дна все, что ведомо вам, ее пророкам и певцам; она имеет право на это, потому что взлелеяна ими. Вы говорите, что надо унести свой свет в пустыни и пещеры<sup>2</sup>, чтоб его не загазили, не затоптали здесь. Но нужна смелость, чтоб уйти и продолжать любить то, что теперь звучит так одиноко, так изменнически. Вяч. Иванов пишет, что теперь время соборного искусства<sup>3</sup>. Едва ли он прав. Моменты, когда поэт, зажженный судьбой народа, сливается с ним, не порождают истинного искусства. Пропасть непереходима, все одиноки, всякий более, чем когда-либо, индивидуалист. Вы — наш самый большой индивидуалист, в вас нет стихийности, кот<орая> на время дает иллюзию слияния с миром. Вы — всегда в себе, замкнутый, неразстворимый. И я верю, что у Вас будет мужество проявить искренность — «последнюю, крайнюю», какую требовал Ницше. Трудно сказать и спросить все в письме, и потому решаюсь просить Вас зайти ко мне когда-нибудь в свободную минуту, если это не слишком затруднит Вас. Мое участие в «Весах»<sup>4</sup> (хотя и такое незначительное) дает мне смелость просить Вас об этом. Я не вижу и не знаю никого, кто бы разделял мою любовь ко всему «беспокойному», чуждому современной жизни. А мне по-прежнему интересны вопросы эстетики; я так жду Ваши новые переводы Верхарна и «Энеиды»...<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Имеется в виду цикл стихотворений В. Я. Брюсова «Из современности», опубликованный в № 9 «Вопросов жизни» — ежемесячного литературно-политического журнала, выхо-



дившего в Петербурге в 1905 году. Его издателем был Д. Е. Жуковский. Образы письма основаны на не всегда точно цитируемом тексте стихотворения «Грядущие гунны».

<sup>2</sup> Погибнет то, что ведомо лишь нам... — Видимо, измененная строка из «Грядущих гуннов»: «Бесследно все гибнет, быть может, / Что ведомо было одним нам»; ...пророкам и певцам... — скорее всего, парафраз строки этого же стихотворения: «А мы, мудрецы и поэты...»; ...надо унести свой свет... — отсылка к тому же стихотворению: «Унесем зажженные светы / В катакомбы, в пустыни, в пещеры».

<sup>3</sup> Речь идет о статье В. И. Иванова «Кризис индивидуализма» («Вопросы жизни», 1905, № 9), где заявлено: «Индивидуализм, в своей современной, невольной и несознательной метаморфозе, усваивает черты соборности: знак, что в лаборатории жизни вырабатывается некоторый синтез личного начала и начала соборного. ...Мы... стоим... под знаком соборности...»

<sup>4</sup> В фактически руководимом В. Я. Брюсовым журнале «Весы» Герцык сотрудничала в 1904 — 1907 годах в рубрике «Новые книги».

<sup>5</sup> В 1905 году Брюсов опубликовал ряд переводов из Верхарна, в том числе цикл «Лики жизни» (в «Вопросах жизни», № 10-11). Фрагменты из перевода «Энеиды» Вергилия появились лишь в 1912 году.

## 2

## Л. Д. ЗИНОВЬЕВОЙ-АННИБАЛ

25 мая <1907. Судак>.

Мне кажется, что я всю жизнь ждала эту книгу — так *нужно* было, чтоб кто-нибудь рассказал обо всех темных путях и богоборстве детской души, о таких играх (и мы так играли!), о такой воле плененной...<sup>1</sup>

Я так жадно хваталась за все, что бывало о детях, и все это было не то — Сологуб, и Гиппиус, и у немцев<sup>2</sup>. И вдруг зажглись эти небывалые страницы! Нет человека, кот<орый> бы мог без волнения, без изумления прочесть Вас! Каким чудом достигается эта жгучесть впечатления. С замиранием сердца читаешь об уродах-головастиках в банках — и не потому, что Бог или зло, а за них самих и за ту девочку бесценную и безумную, кот<орая> жадными, светлыми глазами смотрела на них сквозь стекло... И как верно, как верно все! — вздрагиваешь вся от отдельных слов, оборотов — неотъемлемых, нежных до слез и режущих бичом.

Я еще не знаю, что надо сделать с ней, с Вашей книгой, что-то еще узнать из нее, что-то крикнуть о ней, чтоб все узнали. Дорогая! и сколько в ней стихов пленных, — Вы спешите, избыточная, и Вам некогда их высвободить, и они, дикие, растут и осыпаются, так и не узнав про себя, что и они были розы...

<sup>1</sup> Речь идет о книге Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Трагический зверинец» (СПб., «Оры», 1907).

<sup>2</sup> К этому времени Герцык опубликовала две статьи по «детской» теме в журнале «Русская школа»: «Дети в произведениях Ибсена» (1900, № 9) и «Из мира детских книг» (1906, № 3).

## 3

## В. С. ГРИНЕВИЧ

10 февр<аля> 1907. Москва>.

Только что ушел от нас Шестов. Его вызвали в Москву прочесть отрывки из его новой книги в Литер<атурно>-худож<ественный> кружок<sup>1</sup>, и он доверчиво отозвался на это предложение и, не зная даже, кто организаторы и какая публика, с благодарностью приехал... Он показался мне очень постаревшим, скорбным, но, как и в прошлый раз, оставил впечатление удивительного благородства, величия и трогательности. Ты знаешь, как во всем великом, одиноком есть что-то детское и наивное. Такие мелкие рядом с ним Бердяев,

Жук<овский>, а главное — все шестовцы (люди его школы — Мирович, Лундберг<sup>2</sup>). В этот раз он просидел недолго, рассказал Жене кое-что из своего прошлого (но не интимное и говорил о себе легко и весело), хвалил Бердяева, рассказывал о новой книге... Бердяев, когда был у нас, удачно выразился, что всех шестовцев характеризует «жадность, обида — они смотрят на жизнь и как бы ждут подачи от нее»... Но если б ты знала, до чего это не подходит к *нему самому* и как бы он по праву мог сказать, что он не «шестовец»... Вообще, родная, ты полюбила бы его и его правоту...

<sup>1</sup> Московский Литературно-художественный кружок — место встреч московской интеллигенции (Б. Дмитровка, д. Востряковых), где постоянно устраивались лекции, рефераты, концерты и проч. Реферат Л. Шестова состоялся 13 февраля 1907 года. Об этом выступлении вспоминали Е. К. Герцык («Воспоминания», стр. 107), Р. Н. Гринберг (Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Т. I. Paris, [1983], стр. 71) и — бегло — сам Шестов в письмах к А. М. Ремизову от начала января и 14 февраля 1907 года («Русская литература», 1992, № 3, стр. 174, 176; публ. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского). В первом из названных писем говорилось: «А я от скуки в Москву собираюсь доклад делать в Лит<ературном> кружке. Получил приглашение на казенный счет приехать. Поеду — афоризмы новые читать. Глупо, знаю, что глупо, — но от скуки и не на такие глупости пойдешь».

Подробный отчет о докладе Шестова опубликован в газете «Новь» (1907, № 37, 38). Безымянный рецензент писал в частности: «Несвязные внешне афоризмы его объединены основной мыслью — враждой ко всякого рода догмам и нормам».

<sup>2</sup> Мирович Варвара Григорьевна (Малахова-Мирович; 1869 — 1954) — журналистка, поэтесса, писательница; Лундберг Евгений Германович (1887 — 1965) — писатель, литературный критик.

## 4

## В. С. ГРИНЕВИЧ

14-го фев<р>аля 1907. Москва>.

Моя родная, моя дорогая! Теперь вечер. Только что Женя уехала с Шестовым в Худ<ожественный> театр на драму Кнута Гамсуна<sup>1</sup>; он завтра уезжает, и это их последний вечер и, как она говорит, — прощальный. От него это тайна, но она *про себя* с ним прощается, пот<ому> что он слишком большой и важный, чтоб быть не единственным, чтоб быть — между прочим... И она приносит его в жертву Вячеславу, говорит, что надо уметь отказываться от самого ценного, чтоб любовь к Вяч. была «дорогой, дорого купленной» (так говорил еще Ал<ексей> Мих<айлович><sup>2</sup>), узнаешь ты во всем этом Женю? Главное же, она теперь сама не «шестовская», она теперь «суетна», как она сама говорит, и недостойна его. Он обедал у нас и так просто, хорошо говорил обо всем — о Ремизове, о своих переживаниях, о своем реферате. Вечер с его рефератом не удался уж потому, что едва ли 10 человек среди публики были знакомы с его книгами и идеями и, видимо, ничего не понимали. Женя говорит, что ужасная была аудитория, невероятно глупые возражения делали, но что он оказался прекрасным актером и оратором — с жестами, мимикой и волнующим гибким голосом. Она сказала ему, что он — для толпы, что в нем скрытый Сократ... По содержанию и форме новая книга его оч<ень> похожа на «Апофеоз»<sup>3</sup>. На вечере был и Айхенвальд и предложил ему печатать эти отрывки в Рус<ской> мысли<sup>4</sup>... Женя сама напишет тебе подробней о своих разговорах с ним. У него такой тихий, невнятный голос, что я сегодня за обедом не слышала ни слова...

<sup>1</sup> Вероятно, Е. К. Герцык и Л. Шестов смотрели поставленную в МХТ в 1907 году пьесу К. Гамсуна «Драма жизни».

<sup>2</sup> Ал. Мих. — Бобринцев-Пушкин Алексей Михайлович (1851 — 1903), известный юрист, поэт. О нем подробнее см. в «Воспоминаниях» Е. Герцык.

<sup>3</sup> «Апофеоз беспочвенности», одно из основных философских сочинений Л. Шестова (1905). На вечере он читал отрывки из книги «Начала и концы» (1908).

<sup>4</sup> Айхенвальд Юлий Исаевич (1872 — 1928) — критик, сотрудник журнала «Русская мысль», где в четвертом номере была напечатана статья Л. Шестова «Предпоследние слова». С нее началось сотрудничество философа с журналом.

## 5

Е. А. ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК<sup>1</sup>

25 октября, 4 часа дня. <1907. Петербург>.

Час назад вернулись с похорон, дорогие наши, выпили чаю и теперь лежим изнеможенные. Мы выехали в 1/2 10-го утра на Николаевский вокзал, где гроб стоял в товарном вагоне, и там прождали больше часу на платформе. Все уж собрались, но не хватало священника, паникадил и еще чего-то. Вячесл. подошел к нам — спокойный, просветленный, мягкий, благодарил, что мы приехали, и долго говорил о Лидии, что «самые счастливые» дни для них были ее последние дни; она хотя горела вся и металась, но была озаренной, говорила вещи слова, благословила его и сказала, что они оба заглянули туда, куда людям нельзя заглядывать, вообще он говорил, что ее жизнь в это лето была интенсивна и горяча как никогда... Много было родни ее (Аннибаловской)<sup>2</sup> — важные генералы и дамы, из детей лучше всех маленькая, его дочка (она очень плакала), и Вера<sup>3</sup> — кажется, славная, энергичная и уверенная. Разные писатели. Потом понесли на кладбище в Лавру и там в церкви часа 2 длилась служба и панихида. Церковь вся была в пальмах, цветах, коврах, дивные певчие, 4 священника служили — вообще таких богатых похорон мне не приходилось видеть. Потом долго стояли у могилы, но речей не говорили. Городецкий рыдал как маленький. Был Манассеин<sup>4</sup>, Розанов долго говорил с Вяч. Были Ремизовы, Чулковы, Венгеров, Кузмин, Блок, Сомов, все молодые декаденты и Леонид Андреев. Венков и цветов — очень много. От Вяч. был огромный венок из пунцовых роз с надписью: «Мы две руки единого Креста»<sup>5</sup>.

Когда все кончилось и все стали расходиться — Вяч. удержал нас. Ему хотелось к нам вечером, но он еще не дезинфицирован и боится заразить детей, хотя Вера<sup>6</sup> сказала ему, что не боится за них. Хотел, чтоб мы приехали к нему в гостиницу, но Замятнина<sup>7</sup> (подруга) убедила его, чтоб он уж переехал к себе в квартиру, только чтоб переоделся и взял ванну. И они все взяли слово, что мы приедем к ним вечером, чтоб узнать все о Лидии. Вера сказала нам: «Не проходило дня, чтоб мама не говорила со мной о вас!» А маленькая в двух светлых косках все плакала. Так мы уехали последние, и только Вяч., дети и Замятнина еще остались у могилы. Усталость страшная, дорогие, — надо отдыхать. Погода сырая, осенняя, но довольно теплая. — Маргариты<sup>8</sup> не было. Верно, телеграмма опоздала.

<sup>1</sup> Лубны-Герцык Евгения Антоновна (урожд. Вокач) — мачеха сестер Герцык. Состояла в Теософском обществе, с 1910 года печаталась в журнале «Вестник теософии». Письмо написано под впечатлением от похорон Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, умершей 17 октября 1907 года от скарлатины на даче в Загорье, Могилевской губ., в имени тетки М. М. Замятниной. Похороны состоялись в Александро-Невской Лавре. О кончине Зиновьевой-Аннибал см. подробный рассказ В. И. Иванова, записанный М. А. Волошиным (Волошин Максимilian. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1990, стр. 280 — 281). О похоронах Зиновьевой-Аннибал см.: «Литературное наследство». Т. 92, кн. 3, стр. 313 — 314; Герцык Евгения. Воспоминания, стр. 120; Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 1998, стр. 107.

<sup>2</sup> Ошибка автора. Имеется в виду семейство Зиновьевых. Брат Зиновьевой-Аннибал, А. Д. Зиновьев, был военным губернатором Петербургской губернии.

<sup>3</sup> Дочка — Иванова Лидия Вячеславовна (1896 — 1985), впоследствии композитор, автор воспоминаний об отце; Вера — Шварсалон Вера Константиновна (1890 — 1920), дочь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака, позже стала женой В. И. Иванова.

<sup>4</sup> Манассеин Михаил Петрович (1860 — 1917) — врач, искусствовед.

<sup>5</sup> Из сонета «Любовь» В. И. Иванова: «Мы — две руки единого креста; / На древо мук воздвигнутого Змия / Два древние крыла, два огневые. / Как чешуя текущих роз чиста!», который позже стал магистралом «Венка сонетов».

<sup>6</sup> Вера — Гриневиц Вера Степановна, у которой сестры Герцык останавливались в Петербурге.

<sup>7</sup> Замятнина Мария Михайловна (1862 — 1919) — близкий друг семьи Ивановых, жила в их семье.

<sup>8</sup> Маргарита — Сабашникова Маргарита Васильевна (в замуж. Волошина; 1882 — 1973), художница, поэтесса. О причинах своего отсутствия на похоронах она вспоминала: «Моим первым движением было — немедленно ехать к нему. Но Минцлова, которой я безгранично верила, воспротивилась и поехала одна, обещая мне телеграфировать, как только понадобится мой приезд. Но никаких известий от нее я так и не получила. Лишь позднее я узнала, что она обещала моей матери помешать моему возвращению к Ивановым. А кроме того, она сама хотела выступить в роли утешительницы» (Волошина Маргарита (М. В. Сабашникова). Зеленая Змея. История одной жизни. Перевод М. Н. Жемчужниковой. М., 1993, стр. 166).

## 6

## Е. А. ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК

26-го 9 час. утра, в кровати.

Мы вернулись от Вяч. вчера в третьем часу ночи. С непривычки почти не спала и теперь спешу докончить, чтоб пошло сегодня же. Было грустно, мы сто раз порывались уехать, чтоб дать им отдохнуть, но нас не пускали, а Замятнина прямо намекала, что мы нужны для пользы Вяч. Мы сидели весь вечер вчетвером: она, он и мы, потом пришел Сережа<sup>1</sup>, старший сын Лидии, студент. Вяч. рассказывал во всех подробностях последние дни и все лето Лидии, читал нам ее дневник, прерванный за день до болезни, ее стихи (и дневник, и стихи полны им), показывал ее карточки. К счастью, сын снимал ее несколько раз летом, и вышло очень хорошо. Но сам Вяч. какой-то неосвобожденный смертью от жизни, т. е. почти житейски удрученный, без того горестного подъема, кот<орый> дает смерть, порывая на время все жизненные пути. Не знаю, понятно ли вам — какой он, но в таком состоянии (т. е. когда душа не обрела пафоса, или высшего спокойствия, или покорности), конечно, единственное спасение — дело, напряженная работа. И к этому надо его теперь направлять (и Замятнина потихоньку просила нас об этом), он очень неохотно, без любви думает о «Руне»<sup>2</sup> и о собственном творчестве. Конечно, и это понятно. Сегодня вечером он придет к нам, и будем говорить о деле и уговаривать его не отказываться от «Руна», тем более, что он сказал, как ему нужны деньги. Он имеет вид страшно одинокого и бездомного. Замятнина — добрая, преданная, ставит сама самовары, но как пусто в доме без Лидии! Он получил телеграмму от Анны Рудольфовны<sup>3</sup>, что она завтра утром приедет (одна) и остановится прямо у него <...>

<sup>1</sup> Сережа — Шварсалон Сергей Константинович, сын Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака, студент Дерптского университета.

<sup>2</sup> Литературно-художественный журнал «Золотое руно», издававшийся в Москве в 1906 — 1909 годах меценатом Н. П. Рябушинским (1877 — 1951), в 1907 году испытывал затруднения с сотрудниками и настоятельно приглашал к работе В. И. Иванова.

<sup>3</sup> Минцлова Анна Рудольфовна (ок. 1860 — 1910) — оккультистка, ученица Р. Штейнера, переводчица. См. о ней: Богомолов Н. А. Anna-Rudolph. — «Новое литературное обозрение», 1998, № 29. После смерти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал на долгое время стала ближайшей спутницей В. И. Иванова и отчасти его духовной наставницей.

## 7

## В. С. ГРИНЕВИЧ

9 ноября <1907. Москва>.

<...> Все эти 3 дня мы не видели Вяч. — он не заезжал к нам, и мы не были у него. В день твоего приезда мы оч<ень> ждали их, но вечером пришла телеграмма: «Будем завтра». Ввиду этого вчера весь день мы были дома, и бедная

Женя томилась, но он не приехал и не дал знать. Наконец сегодня днем приехала Вера с Чеботаревской<sup>1</sup> и пробыла у нас до семи часов. Она рассказывала, что Вяч. грустный, усталый, был 2 раза у Рябушинского, у Айхенв<альда>, сегодня должен быть у Брюсова; а вечера проводит дома с Ан<ной> Руд<ольфовной> — Рябуш<инский> необычайно любезен, идет на все условия, но это не радует Вяч., т. к. делает отступление невозможным, а он все больше сознает, какое это насилие для него... Ты понимаешь, родная, как больно, обидно Жене узнавать все его впечатления из чужих рук — от Чеботаревск<ой>, от Веры, когда она так привыкла, чтоб он переживал с ней самой непосредственно все самое близкое. Конечно, все это понятно и естественно, т. е. то, что он не находит времени заехать, а у себя дома весь поглощен Ан<ной> Руд<ольфовной>, но это понимание не облегчает, а только лишает утехи обвинения и горечи. Как любить человека, как ласкать его, как быть легкой и светлой с ним, когда столько условий железными тисками сжимают всякое движение, слово, поступок и когда знаешь, что самое интимное он переживает с другой. Вера сказала, что Ан<на> Руд<ольфовна> получила известие из Коктебеля, что там так холодно, что больную везут в Москву<sup>2</sup>, а Маргарита переселяется в Феодосию, и она решила не ехать туда совсем. Значит — все время, непрерывно будет она и в Петерб<урге> опять поселится с ним... Женя лежала совсем угнетенная картиной жизни, кот<орая> ей предстоит в Петерб<урге>, и ужасалась, куда же ей уйти, когда назад все пути заказаны... И я убедила ее сейчас же поехать к нему и еще раз постараться узнать, понять все... Вера сказала, что Ан<на> Руд<ольфовна> приедет в 9 час. — значит, к 12-ти их сеанс будет окончен; она уедет обессиленная, а он, мож<ет> б<ыть>, будет рад Жене и будет с ней откровенен (при Вере и Чеботар<евской>?). И она немного оживилась и поехала. Видишь, родная, как трудно все, каким все сейчас кажется безотрадным. Такая жизнь. Вера была мила, разговорчива и очень понравилась Бобе<sup>3</sup> и Е<вгении> А<нтоновне>. Мне кажется, она сильная, волевая натура, несмотря на свою застенчивость и кротость. Много говорили с нею о Лидии <...>

<sup>1</sup> Чеботаревская Александра Николаевна (1869 — 1925) — переводчица, близкий друг В. И. Иванова, жена поэта Ф. Сологуба.

<sup>2</sup> Речь идет об Анне Николаевне Ивановой (1877 — 1939), племяннице отца М. В. Сабашниковой.

<sup>3</sup> Боба — Владимир Казимирович Герцык (1885 — 1976), сводный брат А. К. Герцык.

## 8

## В. С. ГРИНЕВИЧ

10 ноября <1907. Москва>.

10-го утром. Женя вернулась в 3-ем часу, я уж спала. Она застала Вяч. оч<ень> утомленным, Ан<ны> Руд<ольфовны> уже не было. Он много рассказывал о свидании с Брюсовым и эти 2 дня будет всецело погружен в работу, кот<орую> тот ему дал: перевод драмы «Francesca da Rimini» d'Аннунцио для театра Коммиссаржевской<sup>1</sup>. Перевод должен быть готов ко вторнику, Брюсов один не знал как справиться и стал просить Вяч. взять на себя половину. С каждого представления он будет получать по 25 руб. и за перевод — 30 коп. за строчку. Таким образом в 2 дня он много заработает, но надо сидеть неотрывно. С «Руно» все еще не решено, хотя Рябуш<инский> на все согласен и обещает доставлять ему ежемесячно весь материал, чтоб за ним было последнее слово. Потом Вяч. увел Женю в другую комнату и спросил ее, что она думает об его отношениях к Ан<не> Руд<ольфовне>? боится ли за него? упрекнул ее в равнодушии к нему, что она могла бы видеть его гибель и не сделала бы шагу, чтоб спасти его. Потом дал ей понять, что его духовная связь с А. Р.

не долго продлится, что он уже предчувствует время, когда оставит ее и пойдет один, но что она страшно много дает ему это время, открывает ему «бездны», в кот<орые> он не мог бы проникнуть один, и его мучает, что он так требователен, жесток и груб с ней... Верно, сказал что-ниб<удь> ласковое и Жене, т. к. она воспряла духом, но все укоряет себя, что не сумела ему ответить и сказать то, что нужно.

---

<sup>1</sup> Трагедия Г. Д'Аннунцио «Франческа да Римини» была переведена совместно Брюсовым и В. И. Ивановым в конце 1907 — начале 1908 года, опубликована издательством «Пантеон» осенью 1908-го и поставлена московским Малым театром и петербургским театром В. Ф. Коммиссаржевской в сентябре 1908 года. Подробнее см. в переписке В. И. Иванова с В. Я. Брюсовым («Литературное наследство». Т. 85, стр. 507 — 512 (публикация С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева, А. В. Лаврова).

## 9

## В. С. ГРИНЕВИЧ

22 ноября <1907. Москва>.

Вчера Женя не могла кончить, пот<ому> что приехал к обеду Макс с матерью и Violet<sup>1</sup>. Он накануне просил позволения привезти их, вероятно, они давно в Москве, но не решались без него быть у нас. После довольно томительного обеда Макс прочел нам последний акт своего перевода (первые 2 он читал в Судаке) — самый метафизический и отвлеченный, оч<ень> образно и «мудро», и он сумел хорошо передать, но, конечно, эта последняя часть не всем будет доступна<sup>2</sup>. Потом я его увела к себе, и мы долго взволнованно говорили. Он сказал, что вчера, выйдя от нас, Вяч. на прощание стал задавать ему торопливые смущенные вопросы о Маргар<ите>, но он сразу оборвал его, сказав, что не нужно этого спрашивать, что он должен не знать, а доверять и ни о ком и ни о чем не беспокоиться. «Я понял сразу, что у него нет больше любви к ней, — сказал Макс, — и именно потому счел долгом спрашивать о ней, но он должен почувствовать, что я являюсь не напоминанием, не обязательством, что я несу ему свою безграничную, ни о чем не спрашивающую любовь и что между нами может быть только радость. И она будет!» Макс говорил о себе, о жизни, о Маргарит<е> так возвышенно-просветленно, так освободительно от житейских, затемняющих сознание чувств и боли, что правда на миг все сделалось «радостью», и мы, взявшись за руки, смотрели др<уг> другу в глаза восторженные и полные веры. Потом это прошло, и опять началась жизнь...

Родная, так невместимо, непередаваемо все то, что происходит, — таким безумием должны донестись до тебя эти обрывки... Два дня назад Женя была с Вяч. у Рябуш<инского> (я не пошла). Вяч. заставил ее говорить об идеях и направлении будущего «Руна» и потом сам прочел им (были Ряб<ушинский>, Тастевен и худ<ожник> Милиоти<sup>3</sup>) популярную лекцию о значении античности. Оказывается, что он каждый раз «развизает» их и устраивает в редакции школу. Рябуш<инский> был оч<ень> любезен с Женей, особенно когда она припомнила одно его стихотворен<ие> и похвалила его. Она предложила ему в сотрудники Шестова, Бердяева, одобрила его за «преодоление индивидуализма» — вообще, как мне на другой день сказал Вяч. — держала себя оч<ень> хорошо и с достоинством. Но сами они (и Ряб<ушинский> и Таст<евен>) ужасны. Женя расскажет тебе подробно об их вандализме. Спешу страшно, дорогая, чтоб послать сейчас, а то ты и завтра не получишь.

Женя, Вяч. и Вера выедут в субботу, я останусь на неск. дней, чтоб кончить Клоделя. Но ты увидишь, какая Женя измученная, почти обессиленная,

и узнаешь, как вообще много больного и непреодолимого, кроме того, что мы пишем.

---

<sup>1</sup> Макс с матерью и Violet — Максимилиан Александрович и Елена Отгобальдовна Волошины, а также близкая знакомая Волошина, ирландская художница Вайолет Харт (в замуж. Полунина).

<sup>2</sup> Судя по всему, имеется в виду перевод драмы Ф.-О.-М. Вилье де Лиль-Адана «Аксель», заверченный Волошиным в 1909 году и не опубликованный при жизни. Подробнее см.: Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л., 1988, стр. 601 — 604.

<sup>3</sup> Тастевен Генрих Эдмундович (1880 — 1915) — литературный критик, журналист, секретарь редакции журнала «Золотое руно»; Милиоти Василий Дмитриевич (1875 — 1943) — художник-график, зав. художественным отделом журнала «Золотое руно». В результате переговоров В. И. Иванова с Рябушинским и другими сотрудниками «Золотого руна» его сотрудничество с журналом так и не состоялось.

## 10

### В. С. ГРИНЕВИЧ

24 ноября <1907. Москва>.

Через несколько часов Ж<еня> уезжает. Я тихонько оделась, не будя ее, хотя уже 11 ч., но, кажется, она заснула только под самое утро. Родная моя! у нас так тревожно и неясно на душе, и так нужна ты, твоя помощь, твое неослепленное сознание. Я остаюсь еще на неск<олько> дней здесь, чтоб прийти в себя немного, мне так нужно наедине с собой понять все, чтоб кончить Клоделя?<sup>1</sup> (ты поймешь, что при жизни этих дней мы не прикасались к нему), и потом — я вообще не знаю, ехать ли мне теперь, для чего это нужно? Боюсь пошевелиться, мне кажется, что каждое неверное движение теперь порвет какие-то незримые нити, и потом, Жене так ненавистна всякая «соборность», а ее и так уже *de trop*!<sup>2</sup> Ты увидишь, голубка моя, до чего она уже извелась, какая измученная и бессильная, и я так горячо прошу тебя убеждать ее, как ей нужно силой воли взять себя в руки, погашать свою боль и волнение, — ведь это еще только начало, ее путь к Вяч. еще так долог, и только постепенно будет яснеть, определяться все и рассеется вся эта стая заслоняющих его, «берегущих» его людей! Я знаю, что словами нельзя ничего сделать, что нужны хоть проблески, хоть миги веры, уверенности в себе и в нем, а эти дни последние, да и вся Москва так мало дала в этом отношении. Я надеюсь, что сегодня в вагоне он откроет ей другую, интимную сторону своей души.

---

<sup>1</sup> Неизвестно, был ли выполнен перевод Клоделя.

<sup>2</sup> Чересчур (*франц.*).

## 11

### Е. К. ГЕРЦЫК

24 ноября. 1 час ночи. <1907. Москва>.

Милая, милая, ты сидишь в душном тесном вагоне рядом с измученным Вяч. (он был ужасен на платформе — мы боялись, что ему будет дурно) — и я думаю о том, какая ты сама бледная, усталая, исчерпанная. Так страшно, так больно на душе... Только что ушел Алексей<sup>1</sup>, и Боба не пускал меня раньше спать, заставлял говорить с ним об «оккультизме», но он сам все знает и математически, формулами объяснял нам происхождение вселенной (вроде эволюции в «Отче наш»). Брат горд, что Брюсов ему крепко пожал руку на вокзале, хотя они потрясены с Еничкой<sup>2</sup> его плебейским и пантерным видом. Я шла назад до извозчика с Ан<ной> Руд<ольфовной>. Она сказала, что Маргар<ита>, вероятно, придет во вторник и что уже решен ее отъезд прямо из Москвы за границу с больной, что это лучше для нее, потом она сказала, что так

спокойна и счастлива, что ты с Вяч., «ты одна можешь совсем заменить ее и даже дать больше» (ее буквальные слова), потом сказала, что вызовет меня на днях к себе, а чтоб 30-го я ехала вместе с ней. Она велела это, и я не знаю, si j'aurais la force de resister<sup>3</sup>. Но она мне не нравится, не нравится, или я не понимаю, не знаю ее...? <...>

<sup>1</sup> Вероятно, Алексей Васильевич Сабашников (1883 — 1954), брат М. В. Сабашниковой.

<sup>2</sup> Е н и ч к а — домашнее имя Е. А. Лубны-Герцык.

<sup>3</sup> Будет ли у меня сила сопротивляться (*франц.*).

## 12

## Е. А. ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК

5 декабря <1907. Петербург>.

Мы вернулись вчера в 11 час., не досидев до конца, после второго акта. Так что-то стало тоскливо, и пьеса<sup>1</sup> сама неудачная. Лучше всего было, когда после второго акта стали вызывать Ремизова, и он вышел на сцену (в аду) и стоял в длинном шевиотовом сюртуке, странно сложив руки на груди, с торчащими волосами, а у его ног легли все 40 чертей, участвовавших в этом акте, — ужасные хари, хвостатая нечисть окружила его, но он казался самым настоящим из всех чертей. Черные глаза его горели, и он стоял неподвижно, не кланяясь, а театр гудел, стонал от восторга, и ему поднесли огромный венок. Декорации рисовал Добужинский по лубочным картинкам <...>. Посылаю программу. Весь литерат<урный> мир был налицо, но, конечно, Вяч. не приехал. Во втором ряду сияла толстая Серафима<sup>2</sup> в шали, зашитой золотом (они будут получать 25 р. с предст<авления>), в 3-ем — Поликсена и Манасеина<sup>3</sup>, Чулков с декадентской дамой делал «тайгу»<sup>4</sup>, красивый холодный Блок ходил молча и недоступно. Дмитрий сновал среди всех, веселился, здоровался решительно со всеми и заставил нас выпить скверного чаю с коктебельскими дамами. На сцене был танец чертей, они держались за хвосты и «творили пакости»... Но все-таки нам стало так тяжело, дорогие, что мы еле сидели <...>

<sup>1</sup> Премьера пьесы А. М. Ремизова «Бесовское действо» состоялась в театре В. Ф. Коммиссаржевской 4 декабря (подробнее см.: Дубнова Е. Я. А. М. Ремизов в драматическом театре В. Ф. Коммиссаржевской. — «Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник-1992. М., 1993). В своих «Воспоминаниях» М. В. Добужинский подробно описал постановку «Бесовского действа» (См.: Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987, стр. 229 — 232).

<sup>2</sup> Серафима — Ремизова Серафима Павловна (1876 — 1943), жена А. М. Ремизова.

<sup>3</sup> Поликсена — Соловьева Поликсена Сергеевна (псевд. Allegro; 1867 — 1924), поэтесса; Манасеина Наталья Ивановна (1869 — 1930) — детская писательница. Были связаны долгой интимной дружбой, совместно издавали детский журнал «Тропинка». Подолгу жили в Крыму, где поддерживали знакомство с семьей Герцык.

<sup>4</sup> «Тайга» — драма Г. И. Чулкова, изданная в 1907 году. Кто была «декадентская дама», непонятно. Известно увлечение Чулкова в это время Л. Д. Блок.

## 13

## Е. А. ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК

1 февраля <1908. Петербург>.

Милая, милая... Сегодня страшный день. Теперь 5 час. В 8 1/2 начало концерта. Последние оба дня проходят в непрерывных хлопотах, и среди этих реальных хлопот по устройству еще переживаются драмы душевные — у меня, и у



Жени, и у Вяч., и у всех. Вчера она ездила к нему, чтобы с ним «порвать». Пришли разные известия от Маргариты, и опять поднялись у нее укоры, вина, страданье, чувство несправедности своей любви. До 3-х ч. ночи говорили они с Вяч., и она вернулась просветленная, успокоенная, хотя все было «строго и благочестиво» и еще мож<ет> быть, как она говорит, что он совсем уйдет от жизни, от любви, от личного — к Богу. Но все равно. Ощущение красоты и понимания превышает боль и все личное. Но сейчас об этом нельзя и некогда.

## 14

## В. С. ГРИНЕВИЧ

6-го <февраля 1908>, в вагоне.

Меня провожали на станции Юрик<sup>1</sup>, Жуковск<ий> и Женя. Утром приходил Алек<сандр> Леонт<ьевич><sup>2</sup>, завтракал с нами, был игрив и оч<ень> любезен, восхвалял свой вечер и просил устроить ему обед с Кузминым. Потом была Violet. Потом мы слетали в фотографию, где нас больше часу ждал Дмитрий<sup>3</sup>, снялись и вернулись укладываться. Потом пришла Джина с чудным букетом роз для меня. Жук<овский> тоже привез цветов на вокзал, так что около меня сейчас лежит благоухающая красота, и мне так жаль, что они завянут в душном вагоне. Это все было сегодня, а вчера, дорогая, был страшный вечер (б. м., я только потом пойму всю его значительность для себя) и страшная ночь. Мы попали на башню в 10 час., раньше были у Олив<sup>4</sup>, Ан<на> Руд<ольфовна> увела меня к себе, а Вяч. — Женю. Но это было недолго. Она была возбуждена, что-то старалась вспомнить, почти не слушала моих вопросов и наконец сказала, что мы должны идти к Вяч., пот<ому> что он хотел, чтоб она о чем-то говорила со мной при нем. Мы пришли к нему в спальню. Он в это время говорил Жене, что понял, что не будет «монастыря», а будет жизнь. Вчетвером мы говорили о «практическом» — о Москве, о Судаке. Вяч. уже назначил, что придет туда 17-го апреля<sup>5</sup>, и т. д. Потом Женя ушла, и мы остались втроем и были так долго — до 2-х часов ночи. Душная маленькая комната, золотая голова Вяч. на коленях у А<нны> Руд<ольфовны> и ее каменное, как изваянное лицо с строгими, знающими глазами. Он хотел, он властно требовал, чтоб она мне открыла о смерти, о жизни. Сначала он говорил сам о нетленности «тела», о расцвете после смерти, о единственно возможном слиянии нетленного с нетленным. «Я был для вас учителем, но теперь я сам становлюсь учеником, и Ан<на> Руд<ольфовна> будет говорить вам то, что я хочу, чтоб вы знали». И он сел у ее ног и прижался к ней весь, прильнул, и она — холодная, огненная, как мрамор белая, острым шепотом стала говорить. Она так дрожала вся, так безумно волновалась, что это передалось мне, и напряглась вся душа, стремясь уловить и принять в себя ее пророчества. Но я ничего не слышала от волнения, а она не могла повысить голоса — и тогда Вяч. стал записывать, писать под ее диктовку отрывочные тихие слова, обмениваясь с ней взглядами, спрашивая, возражая. Я сидела на ковре около нее и ждала. Потом он дал мне лист, и я читала, он принес стихи свои о том же и пояснял их... Потом зоркими вопросами они (больше он) стали узнавать мою душу, ступень, на кот<орой> стоит она, сферы, открытые ей? Самыми бедными, неукрашенными словами, самыми честными отвечала я, заботясь только, чтоб была правда. Как перед судом, как перед Богом. И так темна и убога казалась я сама себе и жизнь моей души, что были страданье и стыд. Не знаю, поняли ли они, сумела ли я сформулировать. Но они (говорил, собственно, Вячеслав, но все время спрашивая ее, как бы творя ее волю, обращаясь к ней, а не ко мне) сказали, что я уже нахожусь на мистическом пути и миссия моя — любовь, чистая, безграничная, не хотящая ничего для себя любовь. Они сказали, что я еще не имею права воспитывать, формировать чужие души,

влиять на них, но я должна пока только «благовествовать о смерти и любви» и гореть огнем, кот<орый> зажегся во мне. Вяч. ушел наконец, и мы еще побыли вдвоем. Но у меня был такой упадок сил физических, что я молчала, а она говорила о Вяч.: об изумительном мистическом творчестве его духа, она никогда ничего не открывала ему — он сам прозревал, называл все... Потом она долго глубоко и строго смотрела на меня, и мне казалось, что я даю обет — чего? Я не знаю... Мы пришли пить чай, но слабость у меня была такая, как после обморока. Женя провела вечер с Верой и Кузминым. Потом мы поехали с ней и дома еще до утра были вместе... Нет теперь определенной формы, имени, грани для их любви, нельзя говорить об отречении или о жизни, даже о себе, о своей боли или надежде... Все тонет в волнах мистического чувства, которым он охвачен, всякая возможность, на миг принявшая реальную форму, опять распадается... И ты понимаешь Женину покорность, и страданье, и незнание, и боязнь «тронуть» словами...

<sup>1</sup> Юрик — Юрий Павлович Гриневиц, сын В. С. Гриневиц.

<sup>2</sup> Мендельсон Александр Леонтьевич — врач, часто бывавший в Судаке.

<sup>3</sup> То есть Д. Е. Жуковский.

<sup>4</sup> Олив — крымские знакомые сестер Герцук.

<sup>5</sup> Поездка В. И. Иванова в Судак состоялась только в конце лета 1908 года.

## 15

### В. С. ГРИНЕВИЧ

9 февраля <1908. Москва>.

Не знаю, голубка моя родная, сумела ли я тогда ночью в вагоне верно написать, что было, поняла ли ты? Все сомнения, вся боль, поднявшиеся в душе после башни и на другой день, — вытекали из сознания своего несовершенства. Я как бы в первый раз осознала, какая бездна разделяет мое «романтическое», радостное «предчувствие», чаяние веры и света от знания их — истинного, незыблемого, прошедшего через все искушения, строгого, налагающего неизмеримые обязательства. Не столько содержание, смысл слов, сказанных ими, волновало меня (мне казалось, да и теперь кажется, что я все уже знала), как то глубокое значение, кот<орое> они придавали им, тот трепет, то действие, какое они вызывали в них самих. Ты понимаешь? И это парализовало, сковывало меня, — я же сознавала, что они видят, слышат в этом то, чего я, слепая, еще не могу воспринять... В то же время глубокая торжественность минуты, сознание, что я в первый раз принята и признана в мире Духа, — отнимало у меня всю силу, подавляло физически. Только что пришло письмо от Ан<ны> Руд<ольфовны>. Посылаю его тебе, дорогая. Я тогда прождала ее напрасно и на вокзале написала ей открытку, что «тосковала по ней в тот день и что моя угнетенность после вчерашнего разговора есть признак слабости духа, неспособности принять и нести высшее знание», — и дала Юрику бросить. Ее письмо — ответ на это. От Жени я не получала еще ни строчки, и в душе растет тревога за нее, хотя я так глубоко верю, что все должное совершится и их пути неразделимы.

## 16

### В. С. ГРИНЕВИЧ

5 марта, утро. <1908>.

<...> Сегодня я вместо себя посылаю тебе Женино вчерашнее письмо, чтоб ты слышала из ее уст такие слова: «все стало счастьем и золотом, золо-

том». Ты понимаешь, как много, если она говорит так, и как нам с тобой нужно запомнить это, чтоб хранить ее дар и тогда, когда она сама его забудет. Я боюсь, что она под влиянием тревоги о тебе и Толе не напишет тебе подробно, как было, а ты должна знать об этом торжестве (высшем для женщины) — сознать всю силу творческого гения любимого человека, видеть его воздействие на других и знать, что он несет тебе в душе. Я почти гнусь иногда под тяжестью богатства, кот<орое> она сыплет на меня, — мне негде размякаться, разместить его, кроме снежных улиц, куда я уйду, и я не успеваю превратить все в «пламень и росу».

## 17

## В. С. ГРИНЕВИЧ

7-го марта <1908. Москва>.

Голубка моя, родная, сегодня пришло твое письмо и так успокоило меня. Ты уж знаешь, верно, что Женя отложила свой отъезд и приедет только в понедельник вместе с Ан<ной> Руд<ольфовной> и Дмитр<ием>. Сегодня от нее пришло страдальческое, виноватое письмо. Ее угнетает растущее чувство любви к ней у Дмитрия, и она винит себя, что не умела отстранить его, и ей кажется чудовищным, что для нее существует боль отречения от него, что для нее это — жертва. Он был так нежен, чуток эти дни, ежедневно присылал ей розы и анемоны, приезжал каждый день и или сидел с ней, или отвозил ее на башню. Рассказал ей всю свою жизнь и страшную психическую наследственность, передавшуюся ему от матери, — глубокую тупую меланхолию и умственный упадок, кот<орый> им овладевает при жизненных неудачах и утратах. И уж было у него так раз после одной неразделенной любви, — и отсюда началась его косность и мертвенность... Ты понимаешь, как ее мучает сознание, что для него страданье — бесполезно, ненужно, что оно не к просветлению, а к гибели поведет его. Ему нужно счастье и удача личная, чтоб подняться и окрепнуть душой. Я ответила ей, что не могу допустить, чтоб у нее не нашлось такой почвы, таких слов, такого чувства, в кот<орых> бы разрешилось все и не создалась бы новая возможность другой близости, дающей ему радость и поддержку. Он уж почти доведен до той грани, за пределами которой нет больше разлуки, утраты, пот<ому> что есть общий свет, в любви к кот<орому> сливаются люди. Я так люблю любовь всякую, так ясно вижу, что она неугасимый пламень, на кот<ором> очищаются все части души нашей и чистым дыханием возвращаются туда, откуда пришли к нам. И ею мы восстанавливаем в себе утеранный и искаженный лик Бога. Поэтому не могу я его не благословлять — этот священный пламень, на котором сгорает человек, расходуя себя <...>

## 18

## Е. А. ЛУБНЫ-ГЕРЦЫК

<Январь 1909. Париж.>

Сегодня в 2 ч. дня была наша свадьба, дорогие мои, очень тихая и целомудренная... Обручились рабы Божьи. Присутствовали только: Макс, зять Дм<итрия> Цытович<sup>1</sup> с племянницей<sup>2</sup> и Дима с Юриком. Шаферами были Макс и Юрик, оплакивали меня Любочка и Дима, свидетелем был — Цытович. Он генерал, так что все-таки был свадебный генерал. Я была без вуали, но с белыми розами, и М-me Holstein прислала мне великолепный букет мимоз и роз, а Макс принес мне un gerbe<sup>3</sup> вишневого цвета. Из церкви все вместе на большом автомобиле вернулись домой, выпили кофе и малаги, и потом все разошлись. Дм<итрий> ушел на лекцию Bergson'a, а меня оставили отды-

хоть, и вот я одна сижу, верней лежу, и на пальце у меня горит толстое блестящее кольцо. Но мы бросим их в море, и Дм<итрий> закажет другие, железные. Вечером еще придут к нам Цытовичи: надо соборно обсудить и оправдать наш брак. Любочка (она оч<ень> хорошая) взволновала меня тем, что на коленях умоляла меня еще сегодня отказаться и не быть женой Дмитрия, говоря, что я буду несчастна, что она по своей матери видит, как тяжел ее брак с его братом, а они похожи. И в то же время сам Цытович (Дм<итрий> называет его «гением морали», и он имел на него огромное влияние) убеждал Дмитрия, что между нами должна быть только духовная дружба; все другое будет со стороны Дмитрия — преступлением, что меня не надо приковывать к жизни, что ее реальность меня раздавит и т. д. Теперь, раз уж все свершилось вопреки всему, мне хочется открыто и прямо поговорить при них о наших отношениях, тем более что они ко мне, видимо, оч<ень> расположены. Мы оба не могли спать сегодня ночью и все приходили др<уг> к другу возвращать свободу. Но самый ритуал как-то прошел незаметно, неторжественно, не было певчих, и не было молитвенного настроения. Дм<итрий> был бледный и расстроенный. Пока кончаю, родные мои, обнимаю вас горячо, преданно. Ваша воля исполнена. Пишите.

Ваша Адя.

Думаю на следующей неделе уехать из Парижа, п<отому> что мне здесь очень утомительно и я себя все хуже чувствую. Об этом напишу.

<sup>1</sup> Цытович Владимир Николаевич (1855 — 1941) — генерал в отставке, муж сестры Д. Е. Жуковского.

<sup>2</sup> Племянница Люба — дочь брата Д. Е. Жуковского, ставшая впоследствии женой брата Аделаиды.

<sup>3</sup> Букет (франц.).

## 19

### Е. К. ГЕРЦЫК

4 февраля <1909. Цюрих>.

Бесконечное молчание легло между нами, любимая моя сестра, и мне кажется, что я разучилась говорить *так*, как мы должны говорить с тобой.

Милая! я так понимаю, что ты не можешь теперь без экстаза, без слов о Боге, что только так переносима тебе жизнь... Но пойми же, что нет Бога вообще. Есть Бог для каждого отдельный, и обращаться к Нему и называть Его можно только про себя, в одиночестве, а твой Бог, как ты Его чувствуешь, вероятно, хочет от тебя другого, чем тот Бог, которого знаю я и который теперь безнадежно замолк надо мною. Конечно, это самое страшное — потерять с Ним связь, стать глухой и немой от боли, не знать, куда обернуть лицо, чтоб увидеть Его... Не пиши, что ты ликуешь моему материнству. Не усиливай этим моей боли над тем, чему не должно совершиться <...>

<...> Если из этих снегов придет ко мне что-ниб<удь>: приказ, запрет, просветление, — тебе первой скажу об этом. И если вместо этого возрастет жажда смерти и уничтожения — ты не удивишься и поймешь. Все, что ты писала, все, что не писала мне, друг мой нежный, я переживала горячо с тобой, и всегда, всегда среди личного во мне жила боль за тебя и сознание непосильного подвига и одиночества глубокого, которое ты несешь, любя Вячеслава. И для тебя тоже я не вижу, не знаю будущего, той точки, где ты испытала бы мир, где прекратится страдание твое. Как и у тебя, во мне сквозь все живет вера в Вяч., в его высшую правоту и его гений, и, окруженная его врагами в Париже<sup>1</sup>, я про себя так скорбно и доверчиво думала о нем. И не писала тебе, пока ты была на башне, пот<ому> ч<то> он в гневе запретил мне переступить его порог, если я затемню в себе лик Божий, дам погаснуть своему святильни-

ку... Умоляю тебя — пиши, пиши все, что можешь, о нем, о себе, о самом страшном и о прекрасном. Мне это нужно просто, чтобы жить дальше. Не давай зарастать тропе, соединяющей нас. Прими меня такую, какая я теперь, если можешь. Вся твоя — сестра. Так было в год, когда «новой весной — жизнь омрачилась моя»... <...>

---

<sup>1</sup> Вероятно, среди врагов В. И. Иванова Герцык имеет в виду М. А. Волошина, А. В. Гольштейн и, возможно, Д. Е. Жуковского.

## 20

А. В. ГОЛЬШТЕЙН<sup>1</sup>

17 марта <1909. Цюрих>.

Дорогая, в Вашем письме Вы высказываете мнения, против которых я не могу не протестовать. Называйте Россию истерзанной, жалкой в общ<ественном> и политич<еском> отношении, но не «затхлою» и не говорите, что все это лишь «буря в стакане воды — да еще нечистой!». Верю, что русские религиозные споры издали и вчуже оскорбляют Вас, кажутся площадными и бесплодными, но не *должно*, не *может* это быть Вам «одинаково» (по слову Шевченки, приводимому Вами), и самая страстность, с какой Вы возмущаетесь, доказывает это. О чужом и далеком нельзя так спорить. Вы совершенно правы, что религия — дело внутреннего просветления и требует углубления в себя, а не публичности. С этого начинается она. Но думаю, что не правы Вы, что теперь время *единоличных* религ<иозных> переживаний. Чую всем сердцем, что настала пора, когда в душе встает потребность выйти из своего одиночества, нарушить разобщенность и в слиянии с другими укрепить силы духа своего. Чую это по самой себе. И у меня года два назад, когда впервые пробудилось мистическое чувство, — оно хотело уединения, ревниво защищало себя от внешнего прикосновения. Теперь, вместе с ростом его, ощущаю, что надо выйти из своей норы, откуда смотрела на жизнь, надо объединить разрозненное. В целом — творчество и бессмертие, а отдельная душа — лишь осколок, помнящий свое родство с целым и тоскующий по нем. Это то чувство общности, из которого создается церковь. И не давно ли пора создаться новой церкви, новой религиозной общине, которая бы разорвала узы прежней мертвой догматики?.. Весь вопрос, значит, в том, допустимо ли перенесение религ<иозных> вопросов на открытую арену, можно ли громко обсуждать и пререкаться по поводу того, что составляет дело совести и глубоких тайных переживаний? Я долго думала, что нет. И меня тоже возмущает эта смесь имен: Мереж<ковский>, Вяч. Ив<анов>, Белый, а теперь еще против них выступили народники, марксисты, почему-то назвавшие себя «богостроителями»... Господь с ними! Ужасно то, что, вступая в борьбу, впадаешь в рабство и как будто принижаешь свою веру, — приходится стать на один уровень с противником (будь он и похуже Белого!), считаться с глупостями, которые он скажет... Но *можно* ли, *позволительно* ли всегда молчать, запершись в своей *tour d'ivoire*<sup>2</sup>, в своей отъединенности от людей? Не есть ли это непростительный эгоизм? не в деянии ли истинная вера? Имеет ли человек право хранить про себя, не отдавая, то, что он считает высшей правдой и молчать не оспаривая, когда эту правду всенародно топчут и унижают невежественными словами?! И Христос спорил с фарисеями. А что при этом, т. е. при публичности, неизбежна профанация лучших идей, что всегда найдутся пошлые люди, кот<орые> сделают их шутовскими, — так это неизбежно! И, право, время смоем, снесет всю скверную накипь и останется только истинно ценное. Не о «двуперстиях» спорят, как Вы думаете, а о наболевших у всех вопросах: как соединить свое

отрешение от мира с утверждением себя в жизни? (пот<ому> что отвергнут теперь аскетизм и сама религия требует полноты жизни). — Как примирить личное (и общее, конечно) страдание с благословением миру. О Христе, о слиянии с народом говорят много и по-новому...

Я не знаю, собственно, сама, какие темы встают и вызывают споры, — ничего написанного еще нет, — но верю, что в душах лучших русских людей зреет и наливается новое, неумолимо строгое к себе сознание. И знаю, что для них это не праздный обман слов, а выстраданные вопросы всей жизни. Конечно, не пророки они, а просто ищущие, жаждущие света люди, но, м. б., среди них зреет и пророк. И неужели только когда он будет назван и признан всеми, поверите и Вы в значительность этого движения?!

Слушайте, дорогая, милая Александра Васильевна, я не хочу голословно, необоснованно спорить с Вами, не приводя реальных доводов, и потому... от-малчивалась до сих пор, когда Вы одним каким-нибудь метким словом уничтожали Россию, но я жду про себя, втайне, как великого счастья того дня, когда у меня будут не одни только чаяния, а живые дела, слова, запечатленные духом, и я приду к Вам с ними, и Вы, прочтя их, признаете высоту и чистоту современной русской души, ее силу и устремленность ввысь — и поклонитесь ей. Верю, что так будет, и жду этого. Я первая принесу Вам тогда эту весть, хочу, чтоб от *меня* узнали Вы и удивились тому, что считаете теперь безнадежно затхлым. Правда, что у нас теперь такие извращения и уродливости в литературе, каких нигде нет, ...но, б. м., это и указывает на то, что нигде нет и такой ломки, такого брожения, ниоткуда нельзя ждать такого возрождения, как от нас. Вот от непогрешимой чистоты французской мысли, застывшей в своем изяществе, от честной немецкой глубины не дожدهшься бури!.. Впрочем, я, кажется, уже впадаю в партийность!

<sup>1</sup> Гольштейн Александра Васильевна (урожд. Баулер; 1850 — 1937) — переводчица, журналистка, жившая с 1870-х годов в Париже. В одном из писем к Е. А. Лубны-Герцк Адelaide пишет: «Недалеко от нас живут Бальмонты и М-ме Гольштейн. Это такая общеизвестная старая дама, подруга всех русских писателей». См. о ней подробнее: «Обнимаю вас и матерински благословляю...». Переписка Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал с Александрой Васильевной Гольштейн. Публикация, подготовка текста, предисловие и примечания А. Н. Тюрина и А. Н. Городницкой. — «Новый мир», 1997, № 6.

<sup>2</sup> Башня из слоновой кости (франц.).

## 21

### Е. К. ГЕРЦЫК

31 марта / 13 апр<еля> 1909. Цюрих<е>.

Вчера мы вернулись из Фрайбурга, где провели 2 дня. Сначала Дм<итрий> поехал один, я так радовалась остаться одна и отдохнуть от него, но он в тот же день вызвал меня туда телеграммой, считая, что мне нужно развлечься и самой посмотреть город. День провели в осматривании разных пансионов и Heim'ов<sup>1</sup>, заходили далеко за город и упивались ароматами цветущих яблонь, вишен, слив и каких-то еще экзотических небывалых цветов... Никогда не было такого пира для обоняния, — я пьянела от запахов, все время шел маленький дождь, и у нас не было зонтиков, — мы слегка мокли, но зато не было жарко, и ходили до изнеможения. Красивый маленький городок — и кругом зеленые холмы Шварцвальда. Почти недозволенный мир, идиллия, благополучие немецкое. Потом я устала очень и лежала долго, а вечером пошли к Шестову<sup>2</sup>. Накануне, когда Дм<итрий> приехал один и прямо к Шестову, тот встретил его смущенно и сознался под страшной тайной, что у него семья. Он 12 лет женат (!) на русской бывшей курсистке (она — хирург), и у него две дочери — 11-ти и 9-ти лет<sup>3</sup>. Он должен скрывать эту семью от России

из-за отца, которому 80 лет и он не перенес бы такого удара, что она не еврейка и что брак гражданский, и потому до его смерти он решил держать их за границей. Они всегда живут в Швейцарии, и он приезжает к ним. Теперь он перевел их во Фре, чтоб девочки учились. Я увидела жену его: лет 38 — 40 (?), простое русское лицо, молчащая, но все знающая (и о Мережковском, и о декадентах) — с затверделым розовым лицом, гладко причесанная, деревянная. Девочек не видела, но Дм<итрий> их видел накануне и говорит, что хорошие, похожие на него. Он ходит с ними в горы, учит их сам русскому и истории, и странно — ему оч<ень> подходит быть семьянином. Мы сидели в его уютном голом кабинете (у них маленькая квартира) — Дм<итрий>, он и я сидели у его стола и говорили о наших писателях, п<отому> что это единств<енная> тема, на кот<орую> он охотно и оживленно отзывался: сплетничал о Бердяеве, Философове, рассказывал о Шпете и т. д. А жена и сестра его (бернская курсистка, написавшая сочинение о Риккертe, — оч<ень> еврейского типа — тоже безмолвная) сидели в стороне на кушетке и молчали. Потом, уходя, я с ним на минуту осталась одна, и он горячо стал спрашивать о тебе: приедешь ли ты сюда? что ты поешь? правда ли, что ты сблизилась с Берд<яевым>? У меня было с собой «Руно» с твоей статьей, он страшно обрадовался и взял у меня, обещая скоро прислать. Потом мы ушли с Дм<итрием> под дождем и на другое утро рано уехали.

Милая, теперь про тебя. Мне *страшно* хочется, чтоб ты приехала, я думаю — тебе необходимо это и для себя (я уж не говорю обо мне!) — только уехав совсем в другую жизнь и условия — ты отдохнешь, узнаешь глубже, спокойней про себя и про Бога. Милая, и разве тебе не заманчиво весенним утром походить по одинокому хвойному лесу (я бы тебя много оставляла одну, и ты именно только *здесь* испытала бы то одиночество и тишину, кот<орые> тебе всего нужнее) <...>

<sup>1</sup> Домов (нем.).

<sup>2</sup> Свое общение с Герцык Л. Шестов описывал А. М. Ремизову в недатированном письме: «У меня тут гости были: Д. Е. Жуковский с супругой. Понравился им Фрейбург, совсем остаться хотели. Да, видно, передумали. Уехали в Цюрих <...> Аделаида Казимировна давала мне только отдельные статьи сестры своей и В. Иванова о „русской идее“. Статья хорошая» («Русская литература», 1992, № 3, стр. 187 — 188).

<sup>3</sup> Об обстоятельствах семейной жизни Шестова см.: Баранова-Шестова Н. Цит. соч. Т. I, стр. 23 — 39, и др.

## 22

### Е. К. ГЕРЦЫК

<Май 1909. Фрайбург.>

Для меня вся Россия, все возвращение сосредоточилось в тебе, взволнованно и горячо жду встречи с тобой, но хочу, чтоб это было, когда ты отдохнешь, побудешь одна, когда сама захочешь меня... Господи! если бы ты сейчас могла быть здесь, эту неделю, что я одна, — какие проникновенные, грустно-светлые дни провели бы мы на сосновых дорожках и готических узеньких улицах... Милая, когда и где это будет?

<...> Милая, сегодня пришло твое письмо — чуткое и покорное, о том, как вы с Вяч. тихо врозь идете к одному и узнаете Христа. Такая мистерия — единая, неповторимая — духовный брак ваш, и так страстно принимаю я вся к тебе, узнавая об этом... Мне стало стыдно, что я так молча живу близ Шестова, слыша, как он отвергает самое существование истинно религиозного чувства, и ничего не возражаю ему на это. Еще вчера он заходил на минуту с женой, говорил о Бутовой<sup>1</sup> — что ее мистическ<ое> чувство — художественная фантазия — недостоверная, нелогичная, как будто нельзя захотеть и полюбить Бога вопреки логике и всем слепым нормам, не хотеть ничего *своего*, даже

рассудка и логики, перестать быть собой, отказаться от самоутверждения и от доказательства ради веры. Я так чувствую, что исходная точка — в этом полном доверии, возжаждавшем Бога превыше всего... Это первая волевая победа над рассудком, эгоистично дрожащим за свою целостность, — и уж *потом*, поверив, загораясь, можно думать дальше и *понять*, во что и как я верю? Да? Я не знаю, сумею ли я сказать, я совсем разучилась, нужно ли это, но пойду завтра к нему и в первый раз спрошу и скажу строго и страдальчески то, что ощущаю, не знаю, ибо только чувством, не философствованием дохожу до веры. Дм<итрий> меня парализует, и я молчу при нем.

<...> И было бы почти нецеломудренно обсуждать теперь наши отношения или строить для них внешние рамки, и я благодарна ему, что он никогда не заговаривает о будущем, не строит никаких планов и зима как бы не существует для нас. Конечно, в *нем* все проще, чем во мне, верно, он не видит трудностей там, где я уже ощущаю всю их тяжесть, и не сознает еще неотвратимости того, что будет. Теперь о твоём письме. Все, что ты говоришь, сестра дорогая, оч<ень> разумно и справедливо. Я глубоко понимаю, что между тем, куда я тяготею, и *его* миром полный антагонизм, и что моя близость к Вяч., встречи с ним разлучили бы меня с Дм<итрием>, и что примирение их невозможно, и что живое общее дело, общие друзья необходимы для жизненности нашего союза и т. д. Я *со всеми* твоими словами согласна теоретически, т. е. когда выхожу из тех категорий, в кот<орых> живу, и заставляю себя стать на житейскую почву. Но пойми, друг мой, что никакая *Verdinglegung*<sup>2</sup> для меня теперь невозможна; когда я начинаю *конкретно* думать о том, как и что будет, мне кажется, что я, как жена Сольнеса<sup>3</sup>, устраиваю пустые детские комнаты, где никогда не будет детей, — помнишь? Разве возрождение идет извне? и разве не трагичны благоустроенные, содержательные внешние формы, когда не освещены, не осмыслены они внутренним общим огнем? разве «кружок», дело, литература не будут тоже механическим скреплением? Это так страшно, что я искренне говорю, что мне милей наша неустроенная, полная колебаний, не нашедшая себе воплощения, готовая *Untergang*<sup>4</sup> теперешняя жизнь, чем те разумные внешние условия, о которых ты говоришь. Конечно, так продолжаться не может, — я знаю это и жду...

<sup>1</sup> Бутова Надежда Сергеевна (1878 — 1921), актриса МХТ. О ней см. в книге Б. Зайцева «Улица святого Николая».

<sup>2</sup> Жертва (*нем.*).

<sup>3</sup> Сольнес — герой драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес».

<sup>4</sup> Крушению (*нем.*).

## 23

### А. В. ГОЛЬШТЕЙН

Август 1909. <Фрайбург>.

Дорогая Александра Васильевна, хотя большую часть времени провожу еще лежа, а сегодня чувствую себя особенно слабой, — хочется написать Вам несколько строк, не откладывая больше. Спасибо, дорогая, за поздравления и добрые пожелания, — от всей ласки и любви, которая так щедро бьется отовсюду на меня и маленького Ярослава (одобряете ли такое торжественное имя?). Пусть и он будет «мудрым» — в нас усиливается *vitalité* и радость, и доверчиво бьется сердце навстречу новой жизни<sup>1</sup>. Такой сложный конкретный мир новых забот обступил нас, и такая я еще в нем неумелая, что не различаю пока точно, что существенно и что можно оставлять без внимания. Знаю только, что та свобода внутренняя, к которой всегда я стремилась и которая безлична, пуста, пока она ни для чего, ни на что не направлена, — обрела смысл и силу. Впрочем, не буду пытаться объяснить или обосновать свое состояние;



такая еще бездумная, блаженная усталость и в мыслях, как и во всем теле, — только слушаешь, как теплой волной приливает иногда нежность и умиление к душе! И спорить сейчас не стану; мне хотелось возразить Вам по поводу Ваших нападков на русских поэтов и заступиться за «островитян», но весь строй жизни, а главное, слабость физическая призывают к миролюбию и в зародыше убивают всякую борьбу. Знаю, что Вы меня понимаете, дорогая, и простите мою неумность. Мальчик наш здоров, хорошо кушает (кормлю его сама), хорошо спит и звуками выражает свое удовольствие или гнев. Обнимаю Вас горячо. Где-то, и когда, и как увидимся мы с Вами?

<sup>1</sup> Письмо написано вскоре после рождения сына Даниила-Ярослава 9 августа.

## 24

## Е. К. ГЕРЦЫК

11 ноября <1909. Канашово>.

Моя любимая, дорогая. Пришло вчера вечером твое письмо, которого я так страстно ждала, и как я ни восприняла твою интенсивную, не нарушимую ничем близость с Вяч., и эти «полюсы», среди которых живете вы, и внешний прекрасный облик учителя (высшую школу поэзии) и т. д. — мне кажется, что все еще продолжается молчание и незнание между нами... Мне кажется, что я живу в тридесятном царстве, что ко мне ведут «дороги непроезжие», — это почти правда, и вчера на знакомую даму-помещицу в глухом лесу в 10-ти верстах от нас напали 5 разбойников, т<ак> что спас только револьвер — и далеко, за этими снежными полями в маленьком мезонине старого дома сижу я, и рядом в колясочке спит Далик. Дм<итрий> где-то далеко внизу, и нам так трудно дойти др<уг> до друга (лестница, холодный коридор), что делаем это только для важного. <...>

<...> и говорила им белые снежные слова о радости тишины и раскрытия духа, о том, что в самой больной измученной душе таится путь в глубочайшую глубину, источник постижения мира — и, значит, освобождения от ига дней, людей и собственной судьбы. И, правда, это были не слова, п<отому> что я здесь почувствовала так интенсивно эту нашу власть раздвигать до беспредельности область зримого (глазами и душой), если с внимательностью, верой, освобожденно и преданно смотреть на мир... Я не умею и мне некогда сейчас хорошо сказать об этом. Так кончаются стихи, кот<орые> я написала здесь: Вся жизнь земная — богослужение / В душе поверившей, осенней, / Все безграничной и священной / Растет терпение.

## 25

## В. С. ГРИНЕВИЧ

26 августа <1910. Судак>.

От Дм<итрия> было одно письмо из Москвы после первого свидания со Струве<sup>1</sup>. Он пишет, что отказался от «представительства» и взял только ведение хозяйствен<ной> части журнала (бухгалтерию) и, следовательно, — только половину жалованья. Я не вполне ясно понимала по письму Струве, что означает это представительство, думаю, что самолюбие Дмитрия и его неуверенность в себе заставили его отказаться. И, м. б., он прав — ведь надо сознаться, что он оч<ень> неподготовлен, оч<ень> отстал от всего за эти годы, и его равнодушие к разным жгучим вопросам делает его плохим редактором. Еще он сообщил, что заведование художеств<енным>, критич<еским> и библиограф<ическим> отделом Струве *всецело* возложил на Брюсова<sup>2</sup>. Это тоже

неприятно. Значит, ни малейшего влияния и участия в этой единственно доступной мне стороне дела я оказывать не могу. Брюс<ов> оч<ень> неприятный для личных сношений, не терпящий вмешательства, сухой и педантичный человек. Но даже если отбросить личное чувство — я не рада этому назначению в интересах самой «Р<усской> м<ысли>». Он внесет в нее ту же скучную мертвенную умеренность, кот<орая> составляет его сущность. Она особенно ярко выступила, когда мы вчера прочли с Женей в новом «Аполлоне» его возражение на статьи Вяч. и Блока о символизме<sup>3</sup>. Помнишь — эти горячие статьи, зажегшие нас? И его ответ — такой убогий, недаровитый, со скудной, робкой мыслью. Так что видишь, голубка, мы будем стоять гораздо дальше от «Р<усской> м<ысли>» и меньше играть роли в ней, чем это предполагалось. Но, м. б., это и хорошо. Стоя в стороне, легче присмотреться, подготовиться, понять самой, куда принадлежишь, чему сочувствуешь, на что имеешь право. А главное — излечиться от своей беспринципности, кот<орая> недопустима в таком деле. Я уверена, что если почувствовать себя готовой и способной к участию в редакции, то это сделается само собой... Какой-нибудь один разговор со Струве может многое изменить.

<sup>1</sup> Струве Петр Бернгардович (1870 — 1944) с 1906 года стал главным редактором журнала «Русская мысль».

<sup>2</sup> О сотрудничестве В. Я. Брюсова в «Русской мысли» см.: Брюсов В. Я. Письма к П. Б. Струве. Публикация А. Н. Михайловой. — «Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения». [Вып.] 5. М. — Л., 1960.

<sup>3</sup> Речь идет о статьях В. И. Иванова «Заветы символизма» и А. Блока «О современном состоянии русского символизма» («Аполлон», 1910, № 8 [июнь]) и полемической по отношению к ним статье В. Я. Брюсова «О „речи рабской“, в защиту поэзии» («Аполлон», 1910, № 9). Чтение статей Иванова и Блока произвело сильное впечатление на всю семью Герцык и на жившую тогда с ними А. Р. Минцлову, о чем Е. К. Герцык (см.: «Литературное наследство». Т. 92, кн. 3, стр. 368) и Минцлова сообщали Иванову.

## 26

Л. Я. ГУРЕВИЧ<sup>1</sup>

25 сент<ября> / 10 окт<ября> 1910. Судак<.>

<...> Наша судьба так сложилась, что мы будем жить эту зиму в Москве. Дм<итрий> Евг<еньевич> взял на себя по просьбе Струве ведение хозяйственной издательской части «Рус<ской> мысли»; редакторство худож<ественного> отдела передано Брюсову — не знаю, приятно ли будет иметь с ним дело. Верней всего, что мы будем совсем в стороне от участия в редакции. Д<митрий> Е<вгеньевич> не очень охотно взялся за дело; я же рада пожить хотя год в Москве, — там есть очень для меня привлекательный тесный кружок (Бердяев, Булгаков, Эрн, Белый, Рачинский), живущий очень интенсивной жизнью. Вот уж месяц, как у нас в Судаке Бердяев с женой, а от него я узнала, какой дух, какие идеи царят теперь в литературном мире Москвы...

<sup>1</sup> Гуревич Любовь Яковлевна (1866 — 1940) — литературный и театральный критик, писательница, в 1890-е годы — издатель журнала «Северный вестник».

## 27

## А. В. ГОЛЬШТЕЙН

<Конец 1910. Москва.>

Теперь я опять вольна и знаю (по крайней мере на время) — что можно, чего нельзя и «что есть истина»<sup>1</sup>... Нужно поделиться с Вами нашей жизнью, и

не знаю, с чего начать. Мы, собственно говоря, еще не живем, а приноровляемся, устраиваемся, знакомимся, избираем... Много было утомления за это время и забот — эмпирических; особенно у Дм<итрия> Евг<еньевича>. Ведь пришлось строить жизнь с самого начала, приобретать всю обстановку и т. д. Мнится мне, что не очень прочно наше существование в Москве, и мы оба чувствуем иногда тяготение к тихой, древней, эпической жизни в деревне. Впрочем, пока я рада очень, что здесь. Из знакомых чаще видимся с Бердяевыми; Брюсов же оказался так же деревянен и сух, как его поэзия, и с ним совсем нет охоты сближаться. Макс (Вы, конечно, знаете уже, что он здесь) утонул с головой в «Мусагете» — новое, молодое издательство в Москве с Андр<еем> Белым во главе<sup>2</sup> — бывает у них на академических вечерах, где изучаются все тонкости стихосложения, на диспутах и т. д. Настроение у него бодрое; после долгого коктебельского заточения радуется по-детски людям и всему городскому, но определенной литерат<урной> работы пока не удалось ему найти, если не считать некоторых мелких статей в газете. Я пока еще мало что успеваю делать, перевожу своего вечного Ницше, собираюсь кое-что писать и увлекаюсь Ваадег<sup>3</sup>’ом<sup>3</sup>, ибо наконец встретила религиозное учение всецело приемлемое, близкое и понятное мне. Даниил наш (он уж, право, совсем больше не Ярослав) бегаёт по комнатам, веселит нас и страстно любит двери и ключи, что дает мне надежду, что он будет метафизиком, «вещим ключарем».

<sup>1</sup> Ин. 18: 38.

<sup>2</sup> «Мусагет» — издательство московских символистов, организованное на средства, полученные музыкальным критиком Э. К. Метнером от его немецкой подруги Я. Фридрих в 1909 году. Во главе издательства стояли, помимо Метнера, Андрей Белый и Эллис (Л. Л. Кобылинский; 1879 — 1947). Деятельность издательства не сводилась к изданию книг, философского ежегодника «Логос» и журнала «Труды и дни»: вокруг него существовало несколько кружков, руководимых «старшими».

<sup>3</sup> Ваадег — Баадер Франц Ксаверий (1765 — 1841), немецкий философ-идеалист, продолжал линию немецких мистических философов, в начале XX века пользовался особой популярностью среди «религиозно настроенной интеллигенции». Перевод «Избранных сочинений» Баадера был заказан Е. К. Герцык С. Н. Булгаковым от книгоиздательства «Путь». Перевод был закончен летом 1914 года, но не вышел из-за начавшейся войны (см.: Голлербах Евг. Религиозно-философское издательство «Путь» (1910 — 1919). — «Вопросы философии», 1994, № 4, стр. 140, 158).

### Е. К. ГЕРЦЫК

14 апреля <1911. Выропаевка>.

<...> В общем, думаю, что перевожу неплохо, п<отому> что с большой любовью. На днях получила письмо от Булгак<ова>, кот<орое> растрогало меня, он говорит слова, кот<орые> мне именно нужны, напр<имер>, подтверждает несовместимость худож<ественного> творчества с истинным христ<ианским> сознанием, необходимость последнего отречения и подвига молчания, чтоб приблизиться к Нему... Я лично для себя чувствую в этом гораздо больше правды, чем в победном гордом утверждении Бердяева, что всякое творчество дает новый религ<иозный> опыт, что в нем участвует сам Бог, что в творч<еском> подъеме — есть и аскетизм, и отречение от мирского и потому Бог требует его от нас. Да, внутреннего, религиозного, — но не всякого... Ах, как мне хочется и как нужно о многом говорить с тобой!.. Булгак<ов> уезжает в М<оскву> 28-го и боится, что не удастся заехать к тебе, хотя очень хотелось бы. <...>

## 29

## В. С. ГРИНЕВИЧ

10 июля <1911. Выропаевка>.

<...> эта поездка в Москву как-то прервала, нарушила мою прежнюю хорошую жизнь и мир душевный, и я не могу восстановить его, — даже написать тебе и Жене была не в силах. Глубокая неудовлетворенность собой, неспособность принудить себя делать и думать то, что нужно, и т. д. Надеюсь, что теперь это вынужденное прилежание и устремление мысли дисциплинирует меня и опять захочется делать свое. Вчера наконец кончила и сегодня пошлю письмо Булгакову, — я им недовольна, пот<ому> что оно вышло как-то ни к чему, ни о чем, и отвечать на него нечего. Но для меня самой оно было полезно, а главное — уяснило мне, что маловерие и недостаточность убеждения происходят не от сомнений, не от вопросов, на которых не находишь ответа. Ответы, как бы они ни были остроумны, не разрешат ничего в смысле и значении божественного. Это как бы из другой плоскости: с одной стороны — душа жаждущая, верящая и неверящая, с другой — ум рассуждающий и допытывающийся. И утоление одного не меняет другого. Присутствие таких вопросов служит лишь показателем, что слабо, неинтенсивно идет жизнь там, в душе, и не рождает сама тех истин, которые своим воздействием незаметно перестроили бы и разум. И я не задаю ни одного вопроса Булгакову, хотя их у меня было множество. <...>

## 30

## В. С. ГРИНЕВИЧ

28 мая <1913. Ассерн>.

И вот я подумала, отчего сама я (которой предстоит то самое, что ты считаешь чудом)<sup>1</sup>, — отчего я не вижу в этом для себя указания свыше, не загадуюсь творческим чувством, не угадываю в этом Бога? Ты скажешь, что это оттого, что между мной и Дм<итрием> не было «нежной тайны»<sup>2</sup> и это не есть результат долгого страдания, одиноких дней, безумной, подавленной любви... Но все равно, дорогая, я не могла бы почувствовать в этом другое, б. м., свое возрождение, свой путь... Знаю наверно одно, что ты не могла бы серо, покорно и бессмысленно нести бремя переживания, не пронзив его внутренним прозрением, не вознеся молитвенно Богу. Ты воистину — религиозный тип, в лучшем, глубочайшем смысле слова.

А я вчера, бродя близ моря, придумала эти строфы, такие созвучные все-му прежнему, неумолимо повторные...

Тихо брожу по песчаным дюнам,  
Море колышется дымно-серое...  
Станет ли сердце свободным и юным?  
Вспыхнет ли вновь горячею верою?  
Мнится мне, здесь в далекие годы  
Я уж грустила в пустынных дюнах,  
Ветер играл на хвойных струнах,  
Сердце просило огня и свободы...  
Мнится — все будет, как все уже было,  
Вслед за дремотой — тревога священная,  
Пенные волны и берег застылый...  
Боже! и я среди всего неизменная!

И знать, дорогая, что это те грани, тот круг, в котором замкнута жизнь моего духа... Мало того, что это признание своего бессилья — моя отправная точка, мой пафос, единственное для меня средство познания, проникновения в иные

миры, стимул творчества... Как для Розанова половое чувство. И было бы лучше, если бы я не пыталась заслонять его будничными чувствами, si je le laissais parler<sup>3</sup>. Теперь, под влиянием немецких романтиков, мне захотелось описать свой роман <с> Беттиной<sup>4</sup>, и так досадно, что нет нужных книг. Буду ждать, когда ты поедешь в Судак, и тогда попрошу достать в нашем доме и прислать мне то, что нужно для этого.

<sup>1</sup> В эти дни Герцык ожидала рождения второго ребенка.

<sup>2</sup> «Нежная тайна» — название сборника стихов В. И. Иванова (1912).

<sup>3</sup> Если бы я позволяла ему говорить (франц.).

<sup>4</sup> Имеется в виду давний интерес Герцык к образу немецкой писательницы Беттины фон Арним (1785 — 1859). В 1915 году в журнале «Русская мысль» (№ 2) был опубликован труд Герцык «История одной дружбы. (Беттина Brentano и Каролина фон Гюндероде)».

## 31

### В. С. ГРИНЕВИЧ

16 августа <1913. Ассерн>.

Вчера по приезде взялась за «Серафима» Маргариты<sup>1</sup> и прочла всю книжечку не отрываясь. Есть ли она у тебя? Прислать тебе? И впечатление, несмотря на художественность изложения, осталось неприятное, мучительное. Чувствую, что нельзя так писать о подвижниках, покрывая их святое, смиренное, непонятное нам житие своими толкованиями, теософскими теориями, ссылками на Штейнера. Хотя она, конечно, во всем права какой-то безнадежной правдой и верностью, но не радует ее «мудрость» в применении к Серафиму, и хочется думать, что было в нем что-то еще главное и сокровенное, что осталось непонятным и закрытым для нее. Что говорит Женя о ней? Как распадается самая идея и душа православия от соприкосновения с теософией!

<sup>1</sup> Имеется в виду книга Маргариты Сабашниковой «Серафим Саровский» (М., 1913).

## 32

### В. С. ГРИНЕВИЧ

21 мая <1914. Судак>.

Я с большим интересом читаю Флоренского<sup>1</sup> это время, и такое странное двойственное впечатление — с одной стороны, подчиняет себе его ум, подчас гениальность, и испытываешь радость оттого, что самые неясные, антиномичные понятия и догматы открываются углубленными и мудрыми, как озарение; с другой — я нигде не чувствую его души, т. е. его душевной эволюции, его религиозного пути, и не знаю, как он пришел к разным открытиям и действительно ли пережил их. Во всяком случае, это единственная в своем роде книга, оччень важная для понимания церкви и пленительная своей талантливостью, но правда не умиляющая, не волнующая, как, например, Angele, кот<орую> я читала перед ним. В первый раз от него я поняла и почувствовала, что значит «ад», и поверила в него, а также в «спасенную точку», кот<орая> есть в каждом из нас и которой задано направление для нашей совести и жизни. И бессилие, небытие греха стало ясным из него...

<sup>1</sup> Имеется в виду книга о Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи» (М., «Путь», 1914).

## В. С. ГРИНЕВИЧ

6 августа <1914. Судак>.

Каждый день после получения газеты и писем я как пьяная (вот и сейчас тоже) — помимо разных вестей с войны, вселяющих ужас и восторг в душу, пришло письмо от Булгакова — такое пламенное и взволнованное, что нельзя его читать без слез. Он пишет, что более торжественных, радостных в ужасе и скорби дней не переживала родина, и можно умереть от счастья и нужно умереть от ужаса! «Приближается брачный час и для православия, — явлены знамения. Наступило время, когда перестаешь удивляться чудесам, а берешь их естественно»... и т. д. Он называет это «чудом призвания родины» и сопоставляет с чувством, кот<орое> пережил при смерти любимого сына. И ликует, что кончилась европейская «культурность» и мир страшно приблизился к концу. Зимой Булгаков говорил, что ему грозит соблазн Шатовщины (по поводу «Бесов»), и мне кажется, что он уже впадает в этот соблазн, — т. е. еще немного — и он поставит наш «богоносный» народ над Богом и сотворит себе кумира из него. По поводу немцев он говорит, что даже их гнусность, безвкусице, жестокость нужны духовно для отрезвления нашего общества. Я согласна с этим, но думаю о немцах еще многое другое и страшно напряженно прислушиваюсь к их судьбе. Ты чувствуешь, дорогая, что для них этот час не менее важен, чем для славянства. Их и наша судьба на карте. Мы возносимся, они же падают так низко, как еще никогда, — но не для того ли, чтоб потом опять подняться на большую высоту и дать нового Гёте, б. м., Экхарта? Помнишь, у Ницше: «Je mehr er hinauf in die Höhe will, um so starker streben seine Wurzeln erdwarts, abwärts, ins Dunkle, ins Böse»!... Нельзя безнаказанно так низко пасть, за этим должно быть вознаграждение или полная гибель. А мы — как к многому обязывает нас русское благородство и кротость и как страшно, что не сумеем пронести это до конца... Я перечитывала эти дни письма и дневники Ницше во время франко-прусской войны, и поражает, как он, несмотря на свою молодость и взрыв патриотизма, ясно видел сущность немецкого (главным> образом> прусского) духа. «Что можно ждать от этих грубых, бездушных лакеев культуры, — говорит он, — от людей, не понимающих красоты и добра?»

---

<sup>1</sup> Чем больше он стремится вывысь, тем сильнее стремятся его корни к земле, вниз, в темное, в злое (нем.).

## В. С. ГРИНЕВИЧ

20 августа <1914. Судак>.

И среди всего Ильины<sup>1</sup>, кот<орые> то сидят у себя в комнате, то приходят ко мне и Жене с бесплодными мучительными разговорами о вещах, на кот<орых> мы все равно сойтись не можем и никогда не пойдем друг друга. Я чувствую, что надо раз навсегда формулировать коренную разницу в их и в нашем религиозном сознании и этим пресечь самую возможность осуждения наших друзей и единомышленников. Впрочем, говорить много об отвлеченном не приходится, — во-первых — он оч<ень> жалок и угнетен — его рукопись Гегеля пропала, затем он ждет призыва на войну (уже одного знакомого приват-доцента взяли) и физически весь издерган. Главное же, война затопила все, и нет других жгучих тем. С половины дня, когда приходят газеты, до ночи нет

других разговоров. Читаем вместе и врозь, волнуемся. И под конец я лежа дочитываю и неизменно плачу над рассказами раненых, над проявлениями героизма, над всем ужасом свершающегося. Иногда кажется, что душа начинает истекать кровью всех этих бесконечных жертв, хочется крикнуть: довольно ужасов, крови, убийств и страданий. Уже искуплена прежняя тьма, уже очищен дух! Кажется, что еще немного — и нельзя будет жить дальше. А временами такое чувство, будто прорезают этот ужас молниеносные светлы, идущие от самого начала мира, — и что то, что теперь происходит, мы уже давно пережили в духе, и теперь только объективация вовне тех внутренних мистерий, на кот<орых> сгорала душа наша.

---

<sup>1</sup> Ильины Иван Александрович (1882 — 1954) и Наталия Николаевна (урожд. Вокач) в середине августа заезжали в Судак по дороге из Италии через Одессу.

---

*Работа с историческими документами более всего похожа на изготовление мозаики: в какой-то момент появляется камушек — и становится ясно, что именно здесь его не хватало, что он должен быть включен в изображение на пустующее место, и если все дано точно, то картина начинает играть новыми красками, о которых ранее можно было догадываться, но видеть их не было дано никому.*

*Сказанное в полной мере относится ко впервые публикуемым письмам из семейного архива Жуковских, потому что они замечательным образом заполняют лакуны нашего знания об эпохе начала века, когда сестры Аделаида и Евгения Герцык жили, активно писали, участвовали в культурной жизни Москвы и Петербурга, печатали стихи и статьи, беседовали с наиболее известными людьми своего времени.*

*Их жизнь сама по себе достойна тщательного описания, которое пока еще не создано. Лишь частично его заменяют «Воспоминания» Евгении Казимировны, которые даже в очень несовершенном парижском издании стали одним из принципиальных источников для изучения эпохи, и две небольшие, далеко не все сохранившееся включающие книжечки стихов и прозы А. К. Но, может быть, еще более существенно было бы нарисовать их портреты на фоне панорамы времени, выпавшего им на долю. Тогда можно было бы понять, каким образом, оставаясь в тени и для современников, и для потомков, они в то же время создают перспективу и объемность пейзажа, своим присутствием обозначая ту жизненную среду, вне которой искусство начала XX века не могло существовать, превращалось в более или менее убедительные эксперименты.*

*Уже довольно давно представление о начале века как о времени с какой-то внутренней червоточинкой стало чуть ли не общим местом. Если прежние по-ленински воспитанные сочинители обличали всю тогдашнюю культуру в забвении великих принципов народности, социальности, демократизма, то ныне сделалось модно акцентировать стремление к дионисийности, безудержность религиозных и квазирелигиозных исканий, ведущие к забвению, а то и искажению вековой нравственности, присущей народу.*

*Не будем отрицать, что какая-то доля истины в подобных обвинениях есть. Но в то же самое время совершенно очевидно, что искания даже самых крайних толков в первую очередь были ориентированы на то, чтобы обозначить границы, в которых человек все еще остается человеком. Не случайно так пристально люди начала века читали Достоевского. Не случайно наряду с гармонически уравновешенными Пушкиным или Фетом они снова и снова обращались к опыту тайных чувствований Тютчева и Баратынского. Сама действенность делала необходимой испытание неведомых прежде глубин, среди которых были не только мистические светлые, но и предельно темные, от которых хочется закрыться обычному, слабому человеку. И если для Владимира Соловьева еще был возможен герой, просто и открыто возглашающий: «Детушки, Антихрист!», то для тех, кто следовал за ним, становилось понятно, что такой прямой ответ для них и для их современников уже невозможен. Становилось необходимым пропустить через себя и соблазны революции, и социальные утопии, и*

мистические сомнения, и психологические извивы, и многое другое, чтобы вернуться к убежденности в нетленности тех ценностей, которые, казалось, пошатнулись под бурей неизведанного.

Что говорить, далеко не все выдержали такие испытания. Но сегодняшним людям, попавшим в испытания нисколько не менее (но и не более!) жестокие, чем их предшественники, стоит понять: смысл их жизненного дела состоял не в создании образцово-показательных житий, а в проживании своей, неповторимой жизни, где напряжение достигает предельных значений, и его можно выдержать или не выдержать, но в любом случае почувствовать накал становится необходимым.

В подобных ситуациях особенную роль приобретают женщины. Не те, конечно, которых мы прежде всего вспоминаем, — Нина Петровская или Маргарита Сабашникова, Любовь Блок или Ася Тургенева, Черубина де Габриак или Майя Кудашева, — а те, что самой женской природой смягчали страстность исканий, напоминали о том нераздельном и вечном, что делает земное существование продолжающимся из рода в род. Аделаида Герцык принадлежала к их числу. Свидетельница многих всплесков жизненно-творческой энергии своих современников и современниц, она вместе с тем знала радость материнства и семейственности, была причастна крымской земле и московским переулкам — одним словом, ведала то «земное счастье», которого так часто недоставало самым знаменитым писателям и философам ее времени.

Потому и письма ее должны восприниматься, как кажется, сразу в нескольких планах. С одной стороны, это ценнейшие свидетельства того, как развивалась культурная жизнь эпохи, как воспринимались чуткой читательницей и слушательницей события, для нас уже отодвинувшиеся вглубь времен и потому кажущиеся легендарными. Одновременно читатель писем очень отчетливо чувствует, чего так жадно искали люди начала века в творчестве, почему оно в какой-то момент становилось необходимым едва ли не для любого, задумавшегося о собственных проблемах. Наконец, это документы частной жизни, хуже всего сохраняющейся для потомков. Мы оказываемся в центре семейственных, дружеских, любовных, интеллектуальных связей небольшого круга людей, который в какой-то момент становится для своих членов прибежищем от надвинувшегося мрака.

По этим письмам мы еще не видим его, но в читательской памяти обязательно должны присутствовать, пусть и на заднем плане, «Подвальные очерки», с поразительной силой рисующие переживания революционных лет. Следует помнить, что сын Даниил, о появлении которого на свет мы узнаем из этих писем, ставший незаурядным мыслителем, был уничтожен, не прожив и тридцати лет. Да и сама А. К. умерла слишком рано, сделав далеко не все, что могла.

Пока что мы находимся в относительно спокойной жизни, среди наиболее изысканного интеллектуального круга Москвы и Петербурга, где особое место занимает, конечно, Вячеслав Иванов. Именно он был инициатором первой поэтической публикации А. К. — цикла «Золот ключ» в альманахе небольшого, почти домашнего издательства Ивановых («Цветник Ор. Кошница первая». СПб., 1907). Случайно или нет, но он оказался в центре литературно оформленного мифа о жизни на ивановской «башне», представавшего в различных ипостасях: почти реалистической, мистической, иронической, дионисийской...

В той части письма к Зиновьевой-Аннибал от 25 мая 1907 года, которая не вошла в публикацию, А. К. писала: «И „Кошница“ взволновала меня. Вторая часть, башенная (начиная с „Осла“), так жутко близко, что кажется, что делаешь что-то непозволительное, читая и любя. Будто подсматриваешь цвет папоротника в Купаль-с<кую> ночь» (РГБ, ф. 109, карт. 15, ед. хр. 75, л. 3). Для наших целей сейчас не слишком важно, что именно здесь имелось в виду, — гораздо существеннее само ощущение того, что стихи А. К. оказались в этой атмосфере предельно интимных переживаний, вдруг вынесенных на суд досужих зрителей. Одновременное существование в двух мирах — невыразимо потайном и предельно открытым — делало таким же и саму жизнь, свидетельницей которой становилась поэтесса. Каждое переживание теперь осмыслялось не просто как индивидуальное чувствование, а как свидетельство каких-то важнейших происшествий и в своем внутреннем мире, и в жизни тех, среди которых проходит жизнь. Видимо, именно поэтому сестры Герцык считают себя вправе не просто быть свидетелями интеллектуальной жизни Вяч. Иванова, но и вме-



шиваться в нее, понимая всю почти невыносимую тяжесть такого вмешательства, но в то же время не будучи в состоянии отказаться от того, что понимается как собственная миссия. Особенно, конечно, серьезно было это для Е. К. Герцык, у которой преклонение перед Ивановым перешло в отчетливо чувствуемую любовь, но и для А. К. отношения с Ивановым представляли серьезную проблему. И здесь немаловажно отметить, что они, судя по всему, стали членами той организованной оппозиции, которая противостояла А. Р. Минцловой, пытавшейся сделать Иванова членом некоей эзотерической общины, подготовить его к служению высшему предназначению. Один из центральных моментов этой эпопеи пришелся на лето 1908 года, когда Иванов и Минцлова вместе оказались на даче Герцык в Судаке. Мы не знаем в подробностях, что именно тогда произошло, но очевидно, что, с одной стороны, Минцлова стала относиться к сестрам Герцык как к открытым врагам, а с другой — охладилась отношения между А. К. и Ивановым. Очень соблазнительно было бы представить этот эпизод в виде акта самопожертвования, когда Герцык ради отделения поэта от его оккультной руководительницы жертвует собственными интересами — но проверить это мы пока не можем.

Но факт остается фактом: постепенно, вернувшись осенью 1908 года в Петербург, Иванов и Минцлова периодически начинают конфликтовать, и корни этого об-наруживаются в судакском лете.

Все это составляет контекст писем 1907 — 1908 годов, рассказывающих об отношениях с Ивановым и его домашними. Но они дополняются и несколькими исповедальными письмами, где А. К. предстает перед читателем как страстный искатель творческого начала как в собственной жизни, так и в окружающей действительности. Эти поиски, идущие независимо от того, в какой круг попадает искатель, ведутся и за границей, и по возвращении в Россию.

Во время пребывания за границей происходит несколько событий в жизни А. К., которые заставляют ее по-иному воспринимать действительность. Прежде всего — это рождение сына, ожидание которого поначалу было воспринято с опаской, а потом на долгое время одушевило переживания уже немолодой матери. А во-вторых (хотя и произошло ранее), — это наступление поэтического молчания, из-за которого, как следует из писем, А. К. разошлась с Вяч. Ивановым, а потом уверилась в своей правоте после бесед с С. Н. Булгаковым. Если ранее мы узнавали о ее переживаниях не только из писем, но и из стихов, то теперь на довольно долгое время жизненное творчество становится единственной сферой проявления ее таланта.

Попадающие в тексты писем имена писателей и философов фиксируют лишь некоторые ориентиры, от которых творческое сознание теперь будет отталкиваться, чтобы попытаться создать свою собственную интеллектуальную вселенную, для которой в равной мере важны и впечатления семейственной жизни, и рефлексии прочитанных книг, и разговоры (странные, должно быть, разговоры, ибо А. К. была практически глухой). Именно эта вселенная постепенно восстанавливается для людей, желающих воспринять атмосферу «серебряного века» как нечто цельное. Именно в ней (хотя, конечно, не в ней одной) лежит, на наш взгляд, ключ к истинному пониманию той эпохи, которая определила судьбу России в XX веке.

Н. А. Богомолов.



---

---

# ПОЛЕМИКА

МИХАИЛ ЗОЛОТОНОСОВ



## КНИГА О «ГОЛУБОМ ПЕТЕРБУРГЕ» КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

**В** принципе книга К. К. Ротикова «Другой Петербург» (СПб., «Лига Плюс», 1998, 576 стр.) любопытна по замыслу: путеводитель по «гомосексуальному Петербургу» с рассказами обо всех известных автору гомосексуалистах. Материала за последние пять лет издано предостаточно, было чем воспользоваться. Впрочем, никакого нового качества от соседства различных фактов, относящихся к различным временам, не возникло. Поэтому не стоило бы вообще об этой компилятивной работе писать статью, если бы не одно странное, на первый взгляд, обстоятельство.

По прихоти малообразованной читающей публики этот путеводитель в короткий срок стал книгой «культурной». Фанаты (причем не только из гомосексуальных кругов) не жалеют похвал и уже сравнили рецензируемый текст с «Душой Петербурга» Н. П. Анциферова. Причину моды и «масскультуловский» успех я усматриваю исключительно в одном — в неосведомленности «фанатеющих» читателей. Ибо автор на девяносто процентов смастерил свое сочинение путем цитирования давно изданных путеводителей, энциклопедий и мемуаров, которые *выдал, шутя, за свое*, чем и произвел на профанов (не читавших ни путеводителей по Ленинграду Павла Канна, ни «Лермонтовской энциклопедии», ни «Самоубийства Чайковского» Александра Познанского, ни, скажем, увража 1913 года «Столетний юбилей торгового товарищества „Братья Елисеевы“», ни многого другого) впечатление исключительного эрудита. Довольно было Ротикову не дать ни одной ссылки на использованную литературу — и эффект первооткрытия был достигнут: «Он столько знает!»

Пишу об этом подробно, поскольку феномен для нашего времени примечательный. При этом Ротиков умышленно использовал нехитрый прием, безотказно действующий на неопитов, — интонацию развязного рассказчика, якобы знающего все, в том числе и самые интимные подробности, как бы *из первых рук*. Вот, скажем, о Жуковском: «Странная вообще фигура, этот наш добрейший Василий Андреевич. Счастливым новобрачным стал он в 58 лет, что, кажется, довольно поздно и наводит на размышления, как же он до этого обходился».

Или о М. Горьком. За то, что Алексей Максимович в статье «Пролетарский гуманизм»<sup>1</sup> патетично одобрил постановление Президиума ЦИК «Об уголовной ответственности за мужеложство» (от 7 марта 1934 года), он назван «старым снохачом» (имеются в виду слухи о связи Горького с Н. А. Пешковой, женой сына Максима).

Столь доверительный тон, видимо, и внушает читателю представление об исключительности познаний автора, добравшегося до самых откровенных и самых потаенных источников.

---

Золотонос Михаил Нафталиевич — литературовед, критик. Родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил Политехнический институт; кандидатскую диссертацию защитил в Институте театра, музыки и кинематографии (1989). Публикуется с 1979 года. Литературный обозреватель газеты «Московские новости», автор нескольких книг. Любимые научные темы — культурология секса и СРА (субкультура русского антисемитизма).

<sup>1</sup> Опубликована 23 мая 1934 года, и не только в «Правде», как думает Ротиков, но еще и в «Известиях», и в «Ленинградской правде», и, вероятно, в других газетах. Тоталитаризм есть тоталитаризм.

Для массового же читателя выбран и особый ракурс на гомосексуализм персонажей. Ротикову он интересен и ценен сам по себе, как некая хорошо продающаяся на рынке непристойность. В норме писать о гомосексуализме того же Петра Ильича Чайковского или Михаила Кузмина имеет смысл только в одном случае: если это требуется для объяснения логики биографии или художественных особенностей конкретного произведения. Ротикову же произведения не важны вовсе, главное — причислить к своим побольше знаменитого народу, доказав, что они *малы, как мы, и мерзки, как мы*. Отсюда несколько странное (если не сказать — тягостное) чувство от книги.

Еще в начале 1993 года, когда ст. 121 УК РСФСР предусматривала уголовное наказание за мужской гомосексуализм, были распространены призывы прогрессивной общественности отменить это наказание<sup>2</sup>. Характерно, например, что в книге Я. Гилинского и В. Афанасьева «Социология девиантного (отклоняющегося) поведения» (СПб., 1993), в которой гомосексуализм был помещен в один ряд с алкоголизмом, наркоманией, самоубийством, преступностью и проституцией, содержались обязательные для того времени (как немного ранее — к отмене 6-й статьи Конституции) призывы *защитить права сексуальных меньшинств*. В середине 1993 года ст. 121 была-таки модернизирована, что и стало началом процесса легализации. По причине шестидесятилетнего запрета он неминуемо приобрел характер агрессивной обороны: гомосексуалы начали отвоевывать жизненное (культурное) пространство, чем занимаются уже более пяти лет.

Именно по этой причине и пафос книги Ротикова заключен в продолжении культурной экспансии: «Всюду наши! — словно восклицает автор, — наши везде!» Ротиков в специфическом смысле помечает территорию Петербурга, пытается доказать, что этот город с самого своего основания был городом массового гомосексуализма: строили его в конце XVII века одни мужчины, женщин не было (!), а если мужчин собрать вместе, то гомосексуализм заводится сам собой.

Впрочем, путеводитель — это лишь форма подачи абсолютно разнородной информации, не более чем композиционный прием. Выбран он, в общем, правильно, иначе как в одной книге соединить Кузмина, князя Мещерского, Павла Вяземского, Мережковского и Гиппиус (к «гомосексуальному тексту» вообще не относящихся), Мейерхольда (тоже не относящегося), Дягилева, Эйзенштейна, сюжет гибели Лидочки Ивановой (пришедший в масскульт из кузминоведения) и многое другое. Как видим, значительная часть материала к «гомосексуальному тексту» вообще никак не относится, с темой «другого Петербурга» вообще не соприкасается. Но автора это не волнует, а полуобразованная «читательская масса» благодарна за любые сведения, пусть и выданные навалом.

Псевдоним, за которым скрылся автор, взят, как известно, из романа К. К. Вагинова «Козлиная песнь». Там был описан Костя Ротиков, в образе которого были использованы черты переводчика Ивана Алексеевича Лихачева (о чем подробно написал Т. Л. Никольская). Собственно, этим псевдонимом и исчерпывается та «эстетическая и литературная игра», которую автор многозначительно обещает читателю<sup>3</sup>. При этом — что весьма характерно — автор, знающий о всеобщей малограмотности, на стр. 135 популярно объясняет, откуда этот Ротиков взялся и в чем, так сказать, соль анекдота. Ход «моветонный», но вынужденный: ина-

<sup>2</sup> Для истории отмечу некоторые культурные симптомы движения к легализации мужского гомосексуализма: «Путешествие в перевернутый мир» Л. Самойлова в журнале «Нева», 1989, № 4; статья С. Карлинского «Ввезен из-за границы...?» в журнале «Литературное обозрение», 1991, № 11; спектакль «Служанки» Р. Виктюка в начале 1992 года; статья Робинсона Харлоу «Молчание — это смерть: движение сексуальных меньшинств в России» в журнале «Общественные науки и современность», 1992, № 4; беседа с Борисом Моисеевым «Я люблю богатых мужчин...» в «Аргументах и фактах», 1992, № 20, май; книга Н. Берберовой «Чайковский», выпущенная в начале 1993 года петербургским издательством «Петро-риф». Список заведомо неполный.

<sup>3</sup> Хотя можно было предположить, что будет предложена мистификация вроде «Писем и записок Оммер де Гелль», сочиненных П. П. Вяземским, или «Истории советской фантастики» Р. С. Каца, на самом деле написанной Р. Арбитманом. Но ничего такого у Ротикова нет: не тот уровень мастерства.

че большая часть читателей вообще ничего не поймет. Отсюда, кстати, становится очевидной сугубо *просветительская* установка автора.

Но это не единственная задача, которую решал автор. Второй задачей Ротикова было создание «гомосексуального краеведческого текста». Сразу скажу, что неудача, которая постигла автора на этом пути, заставляет сформулировать то, что уже давно надо было огласить со всей определенностью: никакой гомосексуальной *литературы*, ни художественной, ни краеведческой, ни любой другой, нет и быть не может. Так же, как, скажем, «Венера в мехах» — это не некая особенная «мазохистская литература». Гомосексуализм как форма сексуальной жизни, как этос (основанный на игре, в которой мужчины играют роли и активного и пассивного начал), как психология — это существует. Но для конституирования какой-то особенной литературной формы у авторов-гомосексуалистов просто нет средств. Не говоря уж об отечественных образцах — Евг. Харитонове или А. Ильянене, — этот постулат доказывает даже «Святой Жене», в репрезентативных образцах изданный в последние годы<sup>4</sup>. Есть специфическая тематика, но никакой особой литературы или культуры в целом нет.

В этом смысле примечателен инструментарий, который Ротиков использует для того, чтобы создать свое особенное, как ему кажется, «гомосексуальное краеведение». Это, в о-п-е-р-в-ы-х, целая серия *томительно-сладких* описаний, маркированных и ценных в определенной среде:

«Вряд ли можно с уверенностью сказать, что пленяет нас в любимом человеке: губы, нос, изгиб ушной раковины, хрупкая шея с тонко вибрирующим кадыком. Однако все же где-то внутри себя приятнее одно, нежели другое: целовать, допустим, любимому мизинец на ноге, чем щекотать за ухом». «Мы полагаем, что для Клюева удовольствие париться в бане с нагим Сереженькой (Есениным. — М. З.) превосходило иные — а бывали все мыслимые — формы контактов». «Как не прогуляться здесь: рядом мореходное училище — гардемарины в черных бушлатах... а эти тельняшки, из выреза которых открывается жадному взору точеная крепкая шея...»

Автор словно не выдерживает и пускается в описание того, что его волнует на самом деле и по-настоящему, в результате чего все прочее оказывается поводом. Ясно, что к литературе или краеведению это отношения не имеет, а лишь неуклюже описывает этос среды гомосексуалистов. Выразительные же средства для этого применяются самые тривиальные. При этом если в реальности, на уровне поведения, за гомосексуальными *ласками* действительно стоит игра, основанная на исключении женщины, всегда для *них* слишком реальной, слишком физиологичной и потому слишком грубой, вносящей агрессию и заставляющей бороться за господство (нарушая идиллическое равенство), то в тексте Ротикова все процитированные «сладости» выглядят пародийно, а то и противно.

В о-в-т-о-р-ы-х, для придания путеводителю еще одного качества *гомосексуальности* Ротиков ввел в текст целую серию антисемитских замечаний. У меня есть гипотеза, откуда они взялись: «культурный» для наших «голубых» (в том числе и для Ротикова) Евгений Харитонов был антисемитом<sup>5</sup>. Возможно, это стало обязательным для подражания образцом, а юдофобия — приправой, без которой не мыслится настоящего «гомосексуального текста». Потому Ротиков и ссылается на «выдающегося юдофоба и гомосексуалиста Евгения Владимировича Харитонова», проводя сквозь всю книгу серию соответствующих замечаний. То ни к селу ни к городу

<sup>4</sup> Особенно преуспело петербургское издательство «Инапресс»: я имею в виду издания романов Жана Жене «Кэрель» (СПб., 1995) и «Чудо о розе» (СПб., 1998). Во втором издании опубликован также перевод поэмы «Смертник» — прелестный натюрморт, на котором уютно-красиво и вдохновенно изображены дерьмо и мерзость.

<sup>5</sup> Отсюда, кстати, забавный параллелизм публикаций текстов Харитонova в «Независимой газете» и «Дне»: мельтешивший там и сям несколько лет назад скандальный Ярослав Могутиn подготовил публикацию с одним и тем же названием (но несколько разным содержанием) «Под домашним арестом» для обеих этих газет и обе публикации появились: в «Независимой газете» — 7 апреля 1993 года вместе со статьей Могутиnа «„Другой“ Харитонов и его непечатное творчество», в «Дне» — 13 июня 1993 года (№ 23) с предисловием того же Могутиnа.

укажет на то, что от царского манифеста 17 октября 1905 года «начинается история еврейской лавочки, до сих пор именуемой „Государственной Думой”»<sup>6</sup>, то с серьезным злорадством раскроет читателю глаза на то, что жена Г. Зиновьева лишь скрывалась под вывеской «товарищ Равич», а на самом деле была Саррой Наумовой, то поименует Манасевича-Мануйлова сыном «ковенской жидовочки». И все с каким-то странным подмигиванием... Игра, не вполне обычная для путеводителя по Петербургу, пусть даже и *другому*. Впрочем, не игра, а самовыражение, то и дело вклинивающееся в просветы между заимствованиями из старых путеводителей. Только если Гоголь писал отступления о птице-тройке, то Ротиков — о вибрирующих кадыках юных матросов и любви российских евреев скрываться за псевдонимами. А еще о вреде воздержания и онанизма, каковые филиппики тут же перерастают в настоящий гимн гомосексуализму. А еще о том, кто самодостаточнее — мужчины или женщины: «У мужчины и так все при себе. Женщина, разумеется, тоже может доставить себе приятные ощущения наедине с собой, но у нее все же есть (никуда от этого не деться) некий орган, предназначенный для деторождения, и полное его удовлетворение без мужчины никак невозможно. Поэтому не мужчины, как принято считать, а именно женщины гоняются за противоположным полом».

Весь этот бред если и интересен, то только обнаружением скрытой (до выхода книги Ротикова) гомосексуальной мужской мифологии: должно быть, приятно, собравшись вместе в каком-нибудь «элитарном клубе» и нежно лаская губами мизинец на ноге сорок третьего размера, думать о брошенных во «внешнем» мире самках, неистово, но тщетно домогающихся мужичков. «А мы спрятались; у нас и так все при себе!..»

Так что с этой точки зрения книга Ротикова представляет собой нечто вроде манифеста гомосексуальной идеологии, изложенного в форме путеводителя по Петербургу. В этом заключена главная специфика рецензируемого текста: Ротиков хочет вместить в текст не только данные о датах постройки зданий и списках проживавших в нем знаменитостей, но еще и свое удовольствие и возбуждение. В итоге получается нечто в духе порнографического рассказа М. Армалинского «У гинекологического кресла»<sup>7</sup>.

Что касается фактических ошибок, неточностей и лакун, то их у Ротикова предостаточно. Ну, скажем, слово «мочка» этимологически никак не связано со словами «мощь» и «могучий». Говорить о специфической *близости* Мейерхольда и Эйзенштейна — это чистый бред<sup>8</sup>, а объяснять зверское убийство Зинаиды Райх «связью с некими молодыми друзьями старого артиста» — просто безнравственно. Безосновательно подозревать убийцу великого князя Сергея Александровича, Ивана Каляева, в гомоэротизме — так можно написать о ком угодно вообще. Ротиков немало слов уделил баням и общественным туалетам, но почему-то ничего не сообщил о мужских парикмахерских. Странно, что совсем не упомянуты в книге Капелла и «лесбийский дискурс», значительный в русской культуре; странно, что И. Гронский назван в книге «некто Гронский», ибо именно по воспоминаниям этого «некоего Гронского», ответственного редактора «Известий», опубликованным в «Минувшем»<sup>9</sup>, Ротиков и восстанавливает историю высылки Клюева. При этом безапелляционное утверждение Ротикова о том, что Клюев оказался «единствен-

<sup>6</sup> Тому, что парламент — это «иудейская проделка», посвящено много страниц в антисемитских трудах. Из недавних (уже «перестроечных») сочинений этого рода могу назвать: Мертвая вода. Часть II. Вписание. Концепция общественной безопасности. Кн. 1. СПб., 1992, стр. 82.

<sup>7</sup> См.: «Конец века». Независимый альманах. 1994, № 5, стр. 150 — 154.

<sup>8</sup> Сам Эйзенштейн, впрочем, был бисексуалом, и *особые отношения* связывали его с одним молодым, тогда очень популярным киноактером, сыгравшим в «Иване Грозном» роль женственного молодого человека. На этого актера (тоже бисексуала) Ротиков сделал в книге очень осторожный намек.

<sup>9</sup> См.: Гронский И. М. О крестьянских писателях. (Выступление в ЦГАЛИ 30 сентября 1959 г.). «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 8. Париж, 1989, стр. 148 — 150 (публикация М. Никё). Впрочем, Ротиков мог читать о высылке Клюева и в книге: Азатовский К. М. Николай Клюев. Путь поэта. Л., «Советский писатель», 1990, стр. 305 — 307.

ным, пожалуй, известным человеком, который был уничтожен в советской стране исключительно „за это самое”, то есть за гомосексуализм, более чем спорно. С гораздо большим основанием исследователи считают, что причиной стала антисталинская (точнее, «антиколлективизаторская») «Погорельщина». Неверно именовать Павла Петровича Вяземского, автора мистификации «Письма и записки Оммер де Гель», *русским маркизом де Садом*, поскольку сам он в садизме замечен отнюдь не был, а лишь поместил в указанной книге некоторые садистские фантазии<sup>10</sup>. «Гитлер перестрелял своих педерастов», как выражается Ротиков о подавлении ремовского путча и «ночи длинных ножей» 28 июня 1934 года, отнюдь не вследствие статьи Горького «Пролетарский гуманизм» и не для уничтожения гомосексуалистов (это абсолютно абсурдное утверждение самоупоенного автора), а чтобы уничтожить возможного конкурента, Эрнста Рема. Действительно, из книги Д. Ранкур-Лаферриера «Психика Сталина», которую Ротиков, по всей видимости, читал, можно сделать такой вывод (Ранкур-Лаферриер нафантазировал целый «нацистско-советский гомосексуальный пакт», посвященный одновременному уничтожению Гитлером и Сталиным гомосексуалистов), но это не значит, что так оно и было. Но на всякие глупости у Ротикова особое чутье.

Следует описать и то, как автор обошелся с важным и интересным архивным документом, который враздробь опубликовал в книге, сделав этот документ едва ли не стержнем всего сочинения. Речь идет о списке петербургских гомосексуалистов, составленном в 1894 году и найденном (отнюдь не Ротиковым) в личном фонде министра государственных имуществ М. Н. Островского, кстати, брата великого драматурга (РГИА, ф. 1683, оп. 1, ед. хр. 119). Указываю точные координаты документа, поскольку Ротиков по своей привычке их скрыл<sup>11</sup>.

Идея Ротикова использовать список для книги о «голубом» Петербурге весьма удачна. Ибо подробности здесь содержатся роскошные. Конечно, жаль, что документ «распылен» по книге, а не опубликован целостно. Жаль, что частично он излагается *своими словами* (как на стр. 155 и 269). Жаль, что он неверно датирован (у Ротикова — 1889 годом, хотя в списке указан князь Мещерский и дан его возраст — 55 лет, а это 1894 год) и вообще неправомерно назван *доносом*. Но даже не в этом дело. Хуже, что Ротиков исказил смысл документа — опять-таки в своих «экспансионистских» целях. Ему хотелось доказать, что «наши везде!», что сделать с «нами» власти ничего не могут и что такие попытки вообще вредны.

На самом же деле эта *памятная записка* (а не донос), написанная начальником некоего управления высокопоставленному лицу (Его Превосходительству), имеет иной смысл: побуждение к борьбе с «пороком мужеложства», который принял немалые размеры (прилагаемый список насчитывает около семидесяти фамилий). Приведу цитату, которая Ротиковым была разнесена по стр. 177 и 402 и по ходу дела сугубо иронически прокомментирована:

«Последствия этого зла, пустившего, по-видимому, глубокие корни в столице, в высшей степени разнообразны и вредны. Помимо извращения общественной нравственности и общественного здоровья оно в особенности вредно влияет на семейное положение молодых людей, воспитанников почти всех учебных заведений, и на дисциплину в войсках. Многочисленные случаи самоубийств молодых людей в нескольких случаях обнаруживали, что это были жертвы педерастии, жертвы невольные, не имеющие достаточно силы воли, чтобы высвободиться от развратных уз, в которые они попали, тем более, что главные развратители держали их в постоянном опьянении и не давали очнуться. В лучшем случае молодые люди вместо самоубийств покидали родительский дом, чтобы жить отдельно на счет своих содержателей-теток, и затем уже бесследно исчезали для своих родных надолго, если не навсегда.

<sup>10</sup> На роль русского маркиза де Сада годится только один человек — Константин Сергеевич Мережковский (1855 — 1921), брат Д. С. Мережковского, биолог с мировым именем, профессор Казанского университета (1902 — 1914) и «великий педофил», автор утопии «Рай земной» (Берлин, 1903) и дневника, в котором описаны изнасилования около тридцати маленьких девочек.

<sup>11</sup> Кстати, эта «единица хранения» еще в 1996 году была подготовлена к печати и прокомментирована сотрудником РГИА В. В. Берсеневым и с этого времени лежит в редакции журнала «Русское прошлое», ожидая выхода в свет восьмого номера.

Деморализация же в войсках представляется фактом, не требующим доказательств. Нижний воинский чин, проводящий время в бане вместе с офицером, своим непосредственным начальником, не может не быть деморализован до последней степени, так что о поддержании строгой дисциплины тут едва ли может идти речь» (л. 4).

Из сказанного неизвестный автор делал вывод о том, что «только мерами администрации может быть парализовано это зло, скрывающееся под благовидным покровом частных семейных вечеров и кутежей в гостиницах» (л. 4 об.).

Стоит также заметить, что из списка следует: практически все гомосексуалисты столицы начальнику управления известны и их, оказывается, не так уж и много. Но даже и это заставляет бить тревогу. При этом основной пафос записки вряд ли может быть оспорен и в эпоху сегодняшней «сексуальной революции»: в «сети развратников» вовлекаются дети и об этом больше всего печалится ее автор.

Все это *вовлеченный* Ротиков проигнорировал: ведь так приятно употребить хо-рошенького мальчишку... Однако почему-то тянет солидаризироваться с консерватизмом анонимного документа, а не с Ротиковым.

Что же касается возможного автора записки, таинственного «начальника Управления», то мы предполагаем, что это был Евгений Михайлович Феоктистов, в 1894 году занимавший пост начальника Главного управления по делам печати (тогда входило в Министерство внутренних дел). Между прочим, с М. Н. Островским, в фонде которого бумага отложилась, его связывали разнообразные отношения: своим назначением в 1883 году он был обязан именно министру Островскому; любившей Островского была жена Феоктистова<sup>12</sup>. Кому адресована записка, кто «Ваше Превосходительство» — сказать трудно (действительный тайный советник М. Н. Островский был «Высокопревосходительством»), это надо исследовать особо. Но характерно, что на уровне высшей имперской бюрократии с гомосексуализмом пытались бороться, и именно в этом смысл документа. Собирались агентурные сведения, их подавали наверх... Причем сам М. Н. Островский был строгим государственным, поэтому упования не на закон и суд, а именно на администрирование были вполне в его вкусе.

Так что документ, который Ротикова привел в восторг, на самом деле свидетельствует не о безудержной экспансии гомосексуализма, а о борьбе с ним и об агентурной слежке за гомосексуалистами в Петербурге в 1894 году. Если автор книги «Другой Петербург» читал архивный документ и *так* его преподнес читателю, значит, можно со всей определенностью говорить о недобросовестности. Возможно, на этот-то случай — когда рецензенты припрут к стене — и припасена фраза об эстетической игре, которую я давеча цитировал?

А в «Московских новостях» вдруг появились восторженные отклики писательницы Татьяны Толстой и историка Льва Лурье. «Давно не приходилось читать такой увлекательной, информативной и блестящей книги. Она делает честь российскому серебряному веку...»<sup>13</sup> — упивается графиня-внучка. «Произведение Константина Ротикова — лучший неканонический путеводитель по Петербургу со времен Анциферова», — подтягивает вторым голосом историк, видимо неспроста помянувший Н. П. Анциферова, поскольку сам имеет касательство к присуждению Анциферовской премии и, очевидно, уже наметил себе фаворита. И что им из того, что перед нами самая заурядная компиляция, наполненная ошибками! Да это же не ошибки, это же игра, блеск, озорство! Пародия на путеводитель — оттого и намеренные ошибки, чтобы проверить чувство юмора рецензента!

Неужели я так вяпался и не понял юмора?..

«Забытый в наше малокультурное время блеск изложения, артистическое озорство, мистификации», — развивает свою мысль графиня-внучка точно в стиле рекламы колготок «Golden lady» и собачье-кошачьего корма. Посмотрите, в какой она форме! Похрусти — не грусти! Она же вся такая *серебряно-вечная*, там ведь столько раз упоминается фамилия Кузмина! И про *жидовочку* есть, и про *еврейскую лавоч-*

<sup>12</sup> См.: Лакшин В. Я. Александр Николаевич Островский. М., 1982, стр. 498 — 500.

<sup>13</sup> См.: «Московские новости», 1988, № 42, 25 октября — 1 ноября.

ку, и про *старого снохача*. И все перечислено: кто кого и куда, кто с кем, кто активный, а кто в пассиве... Ах, сколько в этом игры ума! Сколько образованности, никому теперь, кроме нас, немногих, не доступной!..

А во врезке, еще более восторженной и куртуазной, и вовсе утверждается, что многие знакомые в Петербурге отвернулись от автора, так как он нарушил их privacy. Поскольку английские слова в «Московских новостях» кроме Т. Толстой употреблять некому (по причине малой культурности и отсутствия титула), можно предположить, что и врезку писала она. Однако спешу успокоить графиню-внучку и всех-всех-всех: никакой privacy Ротиков нарушить не мог по той причине, что почти ни одной фамилии живых людей не назвал. Разве что поэт Г. Н. Трифонова, который о своей ориентации заявил с предельной громкостью в первом номере журнала «Gay, славяне!»

Так что приходится предположить, что рекламные заметки в «МН» писаны людьми, которые книгу Ротикова не читали. И то сказать: это ведь уже классика, а классик — тот, кого хвалят не читая (Честертон).

Вот еще один феномен современной культуры: рекламная кампания, promotion, обман читателя. Взамен обычной литературной критики вполне заурядной «просветительской» книженции (правда, с добавлением *самовыражения* по сексуальному и еврейскому вопросам) — технология рыночной раскрутки.





---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



## СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ: КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

**В** октябре прошлого, 1998 года «Независимая газета» обратилась к некоторым литераторам-либералам с предложением оглянуться назад, вспомнить события пятилетней давности, заново оценить — их и свое тогдашнее отношение к ним.

Я ответил в том смысле, что считал и считаю октябрьские события поворотными в новейшей русской истории. Как тогда, так и теперь убежден: демократия не терпит политического безволия; пока есть возможность, нужно искать компромисс с оппонентом; когда такой возможности нет и оппонент взял в руки оружие (превратившись из оппонента в противника), необходимо применять силу. Беда не в том, что Ельцин в конце концов отдал приказ открыть огонь по вооруженному Белому дому, а в том, что ранней осенью 1991-го он не распустил Верховный Совет, избранный в другой стране и по Конституции СССР, и не решился начать декоммунизацию. В наилучшем случае он должен был распрощаться с Советами в мае 1993-го, вслед за референдумом и сразу после пролития крови на первомайской демонстрации. Тогда все обошлось бы без стрельбы. Но в любом случае, если бы не 3 — 4 октября 1993 года, мы сейчас жили бы совсем в другой стране. Фашизоидной, большевистской, по-настоящему голодной и не имеющей никаких перспектив — поскольку был бы упущен последний в XX веке шанс преодолеть отрыв от общемирового хода истории. Происходящая сейчас мягкая реставрация позднегорбачевского идиотизма — прямое следствие черномырдинской политики 1997 года, ельцинской усталости и политической апатии, олигархических игр (прежде всего — Березовского и Гусинского), самодовольства интеллигенции, особенно — ее пишущей и вещающей части, азартно проклинавшей «антинародный режим». А также, увы, массовой безответственности избирателей, сочинивших такую вот горькую Думу. Конечно нынешний кризис связан с тем, что последовало за октябрём 1993 года; с тем, как власть бездарно распорядилась плодами собственной победы. С самими событиями 3 — 4 октября теперешнее гниение не связано никак. Разумеется, уступи тогда Ельцин — никакого кризиса сейчас не было бы, — но по той простой причине, что вообще ничего бы не было. Ничего.

«Независимая», как я понимаю, предполагала, что нынешнее несовершенство российской жизни (политической, экономической, нравственной, религиозной) как бы спроецируется на трагические дни 3 — 4 октября 1993-го, сместит смысловые пропорции, побудит нас — теперешних — поменять отношение к тогдашним событиям.

Прямо скажем, все основания для таких расчетов у нее имелись. Достаточно было пролистать газеты и журналы, прочесть, что и как писали и пишут об октябрьских потрясениях фашизоидные сочинители из круга газеты «Завтра», — и сравнить с тем, что и как пишут литераторы, сумевшие понять и принять новое, некоммунистическое жизнеустройство; те, кого сам ход истории оттеснил на обочину, — и те, кто вписался в правый поворот.

Первые верны себе и однажды сделанному политическому выбору; от текста к тексту, по цепочке, как переходящее красное знамя, передается стереотипный набор лиц и положений, формирующий и закрепляющий в памяти поколений устойчивый образ эпохи. Белый дом — символ чистоты и стойкости, — как Брестская крепость, как сталинградский «дом Павлова»; нравственные колебания героев-бе-

лодомовцев лишь приближают их к читателю; враги — обмануты незримыми вожжами; сами вожди наделены демоническими чертами; позади — Империя, отступать некуда. На изображение Октября 1993-го спроецированы стилевые приемы, выработанные «военной» литературой конца 60 — 70-х годов. Явственный привкус «лейтенантской прозы» различим в новонаписанной пьесе Юрия Бондарева «Переворот (93 год)» («День литературы», 1998, № 11 — 12; 1999, № 1). В начале перестройки казалось, что Бондарев не только разучился писать, но и полностью утратил литературный азарт, внутренний стимул к сочинительству; писать о войне было уже невозможно — а мирную жизнь 70 — 80-х годов начальственный реалист Бондарев видел лишь из окна райкомовской машины; последние его вещи производили впечатление тяжко исполненного служебного долга. Талант, однажды изгнанный из пределов бондаревского творчества, так к нему и не вернулся; пишет Юрий Васильевич и нынче из рук вон плохо. Но зато вновь обрел азарт, кураж, как-то литературно помолодел — словно бы своими сверхжесткими решениями Ельцин вернул Бондареву, и не ему одному, — привычный смысл писательства<sup>1</sup>.

А что же либеральные издания? Немота, забвение, сон. В лучшем случае — полубрезгливое воспроизведение внешних «примет эпохи»: толпы ошарашенных людей на площади, сонмища не менее ошарашенных крыс на помойках. Одним из первых литературных откликов на октябрьскую трагедию стал роман Алексея Варламова «Лох» («Октябрь», 1995, № 2). Первая же фраза варламовского романа указывала на время и место: 1963, Москва. И затем «перечислительной хронологией» будут открываться многие главы «Лоха»: ...в тот олимпийский год Москва поела финский сервелат... в конце той вьюжной андроповской зимы... когда по телевизору показывали влезшего на танк Бориса... Между исчезнувшим финским сервелатом и освободительным Августом 1991-го поставлен знак смыслового равенства; в свою очередь, Август символизирует собою начало Апокалипсиса; эсхатологическая прямая, начавшись в колбасной точке, с неизбежностью ведет к Октябрю 1993-го. «Меченый» Михаил был хотя бы посланником Антихриста; самодовольный «деятель провинциального масштаба» Борис — всего лишь бессознательный пособник сатаны, задавшего целью развалить Империю и тем самым реализовать вторую часть метафоры «Москва — Третий Рим, а Четвертому не бывать»...

Но что Варламов, если и писатель совсем другого масштаба, иных образительных возможностей, Владимир Маканин, в одной из лучших своих вещей — романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» использовал Август 1991-го и Октябрь 1993-го как негативный исторический фон метафизического повествования! Его герой, Петрович, зажат между этими хронологическими полюсами, почти разорван ими; только на изломе 1993-го его судьба вновь начинает меняться (к лучшему ли, к худшему ли — суть не в этом, а в самой возможности движения, в преодолении страшной силы тяготения Истории). Главное цвето-световое ощущение, какое оставляет маканинское повествование, — мерцающая темнота, словно сгустившийся ужас намерен поглотить реальные очертания мира. Из этой первобытной темноты выплывают миражные образы — танки, толпы людей, демонстрации демократов, демонстрации коммунистов; выплывают — и лопаются, как мыльные пузыри...

Только не нужно понимать меня таким образом, будто я жду от литературы «единственно верного» изображения времени, в которое нам выпало жить. Каждый писатель вправе использовать реальность по своему усмотрению, работать с ней, как с податливым материалом. Но я совершенно согласен с теми, кто убежден: именно литература «создает» образ истории, по которому потомки в большинстве своем судят о минувшем. Историки могут в лепешку расшибиться, но никого теперь не убедишь, что «настоящий» 1812 год был заведомо не похож на свою литературную версию в исполнении Льва Толстого; что Кутузов был принципиально иным — и реальный Барклай ничуть не походил на того карикатурного «немца», какого видим мы в великой эпопее «Война и мир»; что люди иначе мыс-

<sup>1</sup> Стоит упомянуть и новый остросюжетный роман Александра Проханова «Красно-коричневый» («Наш современник», 1999, № 1 — 3, продолжение следует), целиком посвященный именно событиям осени 1993-го. (*Примеч. ред.*)

лили, иначе воспринимали жизнь, историю — и свое место в ней. Не переубедишь, потому что Толстой был гениальным писателем — и его роман об Истории гораздо убедительнее самой Истории.

А какой литературный образ нашей — несомненно великой — эпохи перейдет по наследству к потомкам?

Если завтра война; враги сожгли родную хату; бьется в тесной печурке огонь — сидит у остывшей белодомовской батареи командарм Хасбулатов, рядом с ним — политрук Руцкой в рваной шинелишке, думу думают; а тем временем простые русские ребята кладут свои молодые жизни за будущую Россию, и, несмотря на всю обреченность положения, именно они — истинные победители оккупационного режима...

Так что, повторяю, у «Независимой» были все основания рассчитывать на вполне определенный идеологический результат. Однако вышла ошибочка, знаменитая русская «загогулина»; большинство «ельцинистов», поменяв отношение к Ельцину лично, не отреклись от выбора, сделанного ими в те трагические дни. И не из-за идеологической «упертости», а благодаря хорошей памяти. Ибо трудно забыть, кто «оппонировал» тогда власти, как и те силы стояли за коммунистами-белодомовцами и какая будущность ждала всех нас в случае успеха их безнадежного дела.

Нам — трудно; многим профессиональным политическим журналистам, оказывается, легко. Стоило доблестному генералу вякнуть про «десяток жидов», а фракции КПРФ — отказаться от осуждения антисемита в лампасах, как либеральные газетчики и телевизионщики заговорили о «саморазоблачении коммунистов», предавших идеалы интернационализма и переродившихся в партию национал-социалистического типа. Наконец-то у нас есть основание их запретить — подытожил хорошо срежиссированную информационную кампанию известный политический интриган.

Но, простите, о каком перерождении может идти речь? Российские коммунисты никогда не были интернационалистами. Они были — циниками, которые меняли идеологию в зависимости от политических нужд; условие было одно: бесчеловечность. До войны НКВД убивало и сажало людей, прикрываясь интернациональными лозунгами. После — и с тем же азартом — большевики разыграли антисемитскую карту. Все ведущие члены Еврейского антифашистского комитета, созданного во время Отечественной войны, должны были погибнуть. Не важно, каким образом — в застенках или на свободе (великого актера Соломона Михоэлса убили в Минске, 13 января 1948 года, тело раздавили грузовиком и подбросили на окраинную улицу). Главное — чтобы затеянная большевиками антисемитская кампания по борьбе с «безродными космополитами» получила весомое организационное подкрепление, а «широкие народные массы» уверовали в реальность всемирного еврейского заговора, направленного против Советской России. (Академика Лину Штерн, к примеру, обвинили в подготовке к захвату Крыма с целью создания на оккупированной территории еврейско-фашистского государства.) Да что далеко ходить! Те же события 3 — 4 октября, организованные и возглавленные коммунистами, проходили под вполне фашистскими лозунгами. А завтра, если понадобится, товарищи снова поменяют идеологические знаки, организуют общество защиты евреев, развернут по всей стране сеть первичных ячеек союза красных филосемитов, юных друзей Сиона (сокращенно ЮДС) и любителей языка идиш. И тогда — не приведи Господь увидеть русский Бунд, бессмысленный и беспощадный...

Запрещать компартию поздно. Но помнить о ее метаморфозах необходимо. Потому что, как сказал бы товарищ Сталин, другой компартии у меня для вас нет.

И — добавлю от себя — не будет.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ

\*

## ДОСТОЕВСКИЙ И «ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ»

*Об одном факте, зафиксированном в «Летописи жизни и творчества  
Ф. М. Достоевского». — Об интересе Достоевского к феномену нимфофилии. —  
Об антропологии Достоевского*

...Федор Михайлович по какому-то поводу завел речь об отношениях между полами. Из особой горячностью, с какой он говорил об этих отношениях, я вижу, что он как будто очень интересуется ими.

*Из воспоминаний о Достоевском.*

1

**У**помянутая в подзаголовке «Летопись» — ценное собрание хронологически систематизированных сведений, день за днем охватывающих жизненную и творческую биографию Достоевского. Будучи важным источником для изучения различных аспектов деятельности писателя, она в то же время побуждает к размышлениям над некоторыми особенностями создания и данной «Летописи», и произведений этого жанра вообще.

Ясно, что их основу по необходимости должны составлять некие — если прибегнуть к терминологии Витгенштейна — «атомарные факты»<sup>1</sup>. Смысл термина прозрачен: речь идет о единичных фактах (событиях, обстоятельствах и т. п.), локализованных во времени и пространстве и поддающихся более или менее точному описанию. Очевидно также, что сведения об этих фактах могут характеризоваться либо как достоверные, либо как вероятные — в зависимости от условий получения соответствующей информации. В предисловии к «Летописи» авторы определяют ее как «строго выверенный хронологический свод дошедших до нашего времени и выявленных к моменту ее выхода в свет печатных и архивных данных о писателе»<sup>2</sup>. Означает ли здесь «строгая выверенность» безусловную достоверность всех без исключения приводимых данных? Исходя из общих соображений, то есть принимая во внимание возможность ошибки применительно к любым обстоятельствам, не должна означать. Да, по-видимому, и не означает, так как некоторые из приводимых сведений сопровождаются существенными модальными ремарками типа «вероятно», «не подтверждено» и т. п., что указывает на их возможную (допускаемую авторами) недостоверность<sup>3</sup>. Таких замечаний я насчитал около ста пя-

---

Свинцов Виталий Иванович — философ, литератор. Родился в 1928 году в Пскове. В 1951 году окончил философский факультет МГУ. Доктор филологических и кандидат философских наук. Автор книг «Курс логики» (1970), «Логические основы редактирования текста» (1972), «Смысловый анализ и обработка текста» (1979), «Логика» (1987, 1995) и др. Профессор кафедры философии Московского государственного университета печати. Публиковался в журналах «Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Новый мир», «Знамя», «Социум», «Новое время» и др.

<sup>1</sup> Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958, стр. 55.

<sup>2</sup> «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского». В трех томах, т. 1. СПб., 1993 — 1995, стр. 7 — 8.

<sup>3</sup> См., напр., оценку рассказа дочери писателя Л. Ф. Достоевской о том, что первый приступ эпилепсии был вызван у него еще в юности ссорой родителей («Летопись». Т. 1, стр. 29).

тиссяти. Это очень немного, если учесть, что на каждой из 1600 страниц трехтомной «Летописи» представлено (опять-таки по моим подсчетам) от 4 до 20 «атомарных фактов» разного рода. Тем самым другим фактам, поскольку они лишены аналогичных модальных характеристик, как бы автоматически придается статус твердо установленных истин. В принципе, это справедливо: подавляющее большинство данных, опирающихся на архивные и другие надежные источники, не вызывает сомнений в своей достоверности. Однако этого нельзя сказать о сведениях, основанных на единичных, не подтвержденных и, можно сказать, в определенном смысле случайных свидетельствах. По самой своей природе они не могут считаться «строгими выверенными».

Один из подобных фактов связан с достаточно любопытным аспектом творчества Достоевского. Ему-то и посвящены настоящие заметки.

## 2

Под рубрикой «Начало 1830-х годов» читаем: «Д. в салоне А. П. Философовой в 1870-е годы рассказывал об одном эпизоде своего детства: „...я играл с девочкой (дочкой кучера или повара) <...> Какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью <...> меня послали за отцом, но было уже поздно”<sup>4</sup>. Печальный эпизод с девочкой и есть тот самый «атомарный факт», о котором (хотя и не только о нем одном) пойдет речь.

Одно обстоятельство, связанное с оформлением этого факта в «Летописи», не может не броситься в глаза. Очевидно, что фактом в точном смысле слова здесь нужно признать не эпизод из детства Достоевского, а рассказ писателя о нем (как будет видно из дальнейшего, даже свидетельство о рассказе). Почему же в таком случае рассказ, имевший место в 70-е годы, перемещен в 30-е? Подобные ретроспекции, разумеется, вполне допустимы, но особое значение они приобретают, если показывают влияние рассматриваемого факта на последующие события, в данной ситуации — на события между 30-ми и 70-ми годами. Так оно и есть: в «Летописи» находим очевидное объяснение этой хронологической конверсии, своего рода «забегания вперед». Сразу же вслед за приведенными строками читаем (петитом): «Тема обиженной девочки позднее многократно повторяется в творчестве Д. (ночной бред Свидригайлова в „Преступлении и наказании”, Настасья Филипповна, оболщенная Тощким в „Идиоте”, Хроменькая из „Жития великого грешника”, Матреша в „Бесах”, оскорбленная девочка в черновиках „Подростка”)<sup>5</sup>.

В этом все дело! Текст, набранный в «Летописи» петитом и потому вроде бы второстепенный, в действительности оказывается ключевым. Он объясняет и хронологическую конверсию, и — что особенно важно — ту «нестандартную» черту, которая сопровождала творчество Достоевского и давно привлекала внимание исследователей.

Повышенный интерес Достоевского к теме нимфофилии хорошо известен. Его странная «зацикленность» на этом сексуальном феномене получила и литературное, и внелитературное воплощение (несколько зафиксированных современниками устных рассказов, содержащих аналогичные сюжеты). По словам Л. Гроссмана, Достоевский «с какой-то поражающей настойчивостью обращался к безобразной теме о влечении пресыщенных сладострастников к детскому телу»<sup>6</sup>. По наиболее полному воплощению нимбофильных сюжетов в поступке Ставрогина (растление Матрешки — глава «У Тихона», не вошедшая по известным причинам в канонический текст «Бесов») будем иногда в этом смысле говорить о теме ставрогинского греха.

Столь же хорошо известны возникшие еще при жизни Достоевского и впоследствии возобновившиеся слухи о том, что ставрогинский грех для него биогра-

<sup>4</sup> «Летопись». Т. 1, стр. 20. Отточиями в угловых скобках авторы «Летописи» отметили пропуски в цитируемой ими статье С. В. Белова, которая была опубликована в журнале «Русская литература» (см. об этом ниже). «Д.» — принятое в «Летописи» сокращение имени Ф. М. Достоевского.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Гроссман Л. Путь Достоевского. Л., 1924, стр. 223.

фичен. Слухи эти, основывающиеся на мнимых ли, действительных ли самопризнаниях Достоевского (свидетельства сначала И. С. Тургенева, а позднее Н. Н. Страхова со ссылкой на П. А. Висковатова), в разное время вызвали различную реакцию. В отечественной литературе о Достоевском последних десятилетий они преимущественно оценивались как не соответствующие действительности и даже как злобно-клеветнические<sup>7</sup>. Роли клеветников (иногда неявно, иногда же открытым текстом) приписывались прежде всего Тургеневу и Страхову.

При этом, однако, оставалась необъяснимой вышеупомянутая — подчеркнутая еще раз, странная, явно выходящая за границы нормы, почти болезненная приверженность Достоевского нимфофильной теме.

Велик был соблазн объяснить эту черту литературного и отчасти внелитературного поведения писателя каким-то «разовым» событием, каким-то из ряда вон выходящим фактом, случаем из его жизни.

И такой случай словно бы специально выплыл из небытия мемуаристики.

### 3

Сравнительно недавно были введены в оборот воспоминания княгини З. А. Трубецкой, которые, в свою очередь, основаны на воспоминаниях ее дяди В. В. Философова.

Согласно воспоминаниям кн. Трубецкой (точнее было бы назвать их *воспоминаниями о воспоминаниях*), где-то в конце 70-х годов прошлого века Достоевский и рассказал о кошмарном эпизоде, свидетелем которого стал в детстве: смерть изнасилованной девочки. Воспоминания кн. Трубецкой, сначала устные, а затем письменные, были получены от нее известным достоевсковедом С. В. Беловым и обнародованы в журнале «Русская литература», а позднее в книге «Романтика книжных поисков» (глава «Все о Достоевском»)⁸. Таково происхождение процитированного выше фрагмента «Летописи», авторы которой ссылаются на журнальную публикацию.

С появлением воспоминаний кн. Трубецкой излишне прямолинейная «концепция клеветы» претерпела определенные изменения, в нее были внесены существенные коррективы. Акценты сместились в сторону психологического потрясения, эмоционального стресса, испытанного Достоевским в детстве. Эпизоду с девочкой стал придаваться тот аргументационный смысл, что глубина детского переживания и стала-де главной причиной «зацикленности» писателя на теме ставрогинского греха. Наиболее отчетливо это смещение акцентов прослеживается в книге И. Волгина «Родиться в России». Страхов, который ранее рисовался И. Волгиным как завистник и клеветник⁹, теперь попадает в одну компанию с Л. Толстым, Тургеневым, Григоровичем и «множеством других достойных и уважаемых людей»¹⁰, которые, надо полагать, были введены в заблуждение указанной странностью Достоевского. Они просто не знали, что он пережил в детстве, и поэтому легко поддались вышеупомянутым слухам. В одном из газетных интервью И. Волгин говорит, что «ужас, внушенный этим событием ребенку, ужас, не оставивший писателя до конца дней», и есть «первоисточник действительно „навязчивого“, повторяющегося романного мотива»¹¹.

Эту точку зрения, в сущности, и приняли авторы «Летописи», поместив непосредственно вслед за описанием эпизода перечень созданных Достоевским персонажей, связанных с темой ставрогинского греха. При этом сообщение об эпизоде подается с «глухой» отсылкой к журнальной публикации статьи С. В. Белова, без указания на источник — воспоминание кн. Трубецкой. Вероятно, это объяснимо стремлением к лаконизму, обязательному для летописцев. Однако, хотели этого

<sup>7</sup> См.: Бурсов Б. Личность Достоевского. Л., 1974; Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978; Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1986.

<sup>8</sup> Белов С. В. Романтика книжных поисков. М., 1986, стр. 60 — 64.

<sup>9</sup> Волгин И. Последний год Достоевского, стр. 181 — 184.

<sup>10</sup> Волгин И. Родиться в России. Достоевский и современники. Жизнь в документах. М., 1991, стр. 128.

<sup>11</sup> «Литературная газета», 1994, № 43, 26 октября.

авторы или нет, в такой форме данное сообщение воспринимается как безусловно достоверное. Читатель словно бы становится непосредственным свидетелем эпизода, ремарки типа «не подтверждено» предполагаются излишними. Между тем по многим соображениям вероятностные характеристики здесь представляются более чем уместными.

Я позволю себе с надлежащей долей осторожности усомниться если поначалу не в аутентичности самого эпизода, то, во всяком случае, потрясения Достоевского — настолько сильного, что ужас якобы не оставлял его всю жизнь.

Иными словами, мне представляется весьма неубедительным объяснение, связывающее бесспорный интерес Достоевского к теме ставрогинского греха с детским переживанием.

#### 4

Присмотримся с должным вниманием к свидетельству, найденному С. В. Беловым, и попробуем оценить его в контексте других данных, имеющих в нашем распоряжении.

Рассказанная кн. Трубецкой история, как уже говорилось, есть некое воспоминание о воспоминании, как бы вторичное воспоминание. В течение столетия эта история сохранялась в виде изустного семейного предания, прошедшего через несколько информационных звеньев. В самом деле, хронологическое бытие данного «атомарного факта» выглядит так: более ста лет тому назад Достоевский поделился детским впечатлением с гостями, собравшимися в гостиную А. П. Философовой, его рассказ запомнил (заметьте: запомнил, а не записал тогда же) юный В. В. Философов, впоследствии передал кому-то из членов семьи и т. д., пока наконец это воспоминание, реконструированное опять же по памяти, не было записано кн. Трубецкой и передано С. В. Белову. Рассказ Достоевского и запись кн. Трубецкой разделены огромным хронологическим и информационным пространством.

Подобные ситуации по общему правилу не ограждены от возможных пробелов, добавлений и других произвольных искажений — словом, от всего того, что в науке об информации обозначается термином «шумы».

Скажут: в этом нет ничего необычного, такова уж судьба многих воспоминаний. Верно. Но именно поэтому они не принимаются как априорно достоверные. Их достоверность или степень вероятности определяются различными сопровождающими обстоятельствами. Естественно, что особое значение при этом приобретает повторяемость соответствующих элементов информации, их подтвержденность другими источниками. Воспоминания кн. Трубецкой не могут быть исключением — в том числе и для тех, кто видит в них объяснение вышеупомянутой странности Достоевского, его приверженности теме ставрогинского греха.

И здесь не может не насторожить одна особенность: в документальных свидетельствах, сопутствующих биографии Достоевского, нет буквально ни одного упоминания об эпизоде, якобы потрясшем его в детстве. Есть много повторяющихся свидетельств, связанных с различными сторонами жизни Достоевского, но история, слышанная В. В. Философовым и спустя сто с лишним лет воспроизведенная кн. Трубецкой, не упоминалась нигде, никогда, никем. Могло ли так быть?

Заметим прежде всего, что никто из людей, окружавших Достоевского в детстве, в том числе и тех, кто должен был стать непосредственным свидетелем происшествия, — никто из них не оставил в своих воспоминаниях и следа, касающегося самого факта сексуального насилия с последующим смертельным исходом. При очевидной неординарности события это представляется слабо совместимым с его подлинностью. В семейных воспоминаниях — скажем, брата Андрея или дочери Любови Федоровны — нет никакого упоминания о факте, потрясшем Достоевского, а между тем очевидно, что этот факт должен был произвести сильное впечатление не на него одного. Андрей Михайлович подробно описывает детство братьев Достоевских, в том числе и такие чрезвычайные события, как, например, пожар. Он затрагивает и некоторые, скажем так, нескромные темы — такие, как «шашни» одного из дядюшек с горничной или «гнусные пороки» подростков в ча-

стном пансионате. Мог ли он ничего не знать о кошмарном происшествии, а зная — ни разу не упомянуть? Положим, он был на три с лишним года моложе брата и, стало быть, мог не стать непосредственным свидетелем события. (В еще большей степени, разумеется, эта оговорка относится к воспоминаниям дочери писателя.) Но хоть как-то, хоть в форме изустных семейных рассказов эта история должна была сохраниться. В семьях Философовых и Трубецких сохранялась сто с лишним лет, в многочисленной семье Достоевских — ни малейшего намека.

Еще труднее найти разумный ответ на элементарный, на сам собой напрашивающийся вопрос: почему Достоевский в течение всей жизни ни с кем ни словом не обмолвился о случае, столь взволновавшем его в детстве? Словно бы специально приберегал свой рассказ до конца 70-х годов, до салона А. П. Философовой. Да, конечно, любой изустный рассказ может быть связан с нестандартными обстоятельствами места и времени. В жизни каждого человека возможны эпизоды, лишь однажды упомянутые в общении с другими людьми или даже вовсе не упомянутые. (Как могла остаться, кстати уж сказать, неизвестной история, рассказанная кн. Трубецкой, если бы не судьба, сведшая ее с С. В. Беловым, не исследовательская настойчивость последнего.) Нужно признать, однако, что это плохо соотносится с «ужасом, не оставившим писателя до конца дней» (И. Волгин). Не верится, что столь сильные эмоции, столь мучительные переживания ни разу не обнаружались, не выплеснулись в разговорах с близкими людьми. На тысячах страниц воспоминаний современников, в десятках и сотнях эпизодов, среди которых нередко упоминаются и весьма откровенные разговоры, — опять-таки ни следа, ни намека.

Особого внимания под этим углом зрения заслуживает огромный массив писем Достоевского, дошедших до нашего времени, тщательнейше проанализированных и откомментированных специалистами. Многие из них адресованы, опять же подчеркну, очень близким людям и в высшей степени откровенны, доверительны. (Таковы хотя бы письма к старшему брату Михаилу, который — уместно будет заметить — по обстоятельствам дела и сам должен был стать свидетелем чрезвычайного события. Прямое или хотя бы косвенное упоминание о нем в переписке братьев было бы вполне естественным.) И здесь — ни следа, ни намека на страшную историю.

И уж совсем невозможно объяснить, почему о детском впечатлении, якобы мучившем его всю жизнь, писатель не рассказал самому близкому человеку — Анне Григорьевне Достоевской. Ни в ее опубликованных «Воспоминаниях», ни в дневниках, ни в переписке супругов — об этом ни слова, ни полслова. Более того, есть бесспорный факт, свидетельствующий со всей очевидностью, что Достоевский в разговорах с женой ни разу не коснулся этой истории. В 1914 году Анна Григорьевна ознакомилась с текстом того самого скандального письма, в котором Страхов сообщал Толстому о якобы имевшем место самопризнании Достоевского Висковатову в ставрогинском грехе. (Письмо было написано в 1883 году и опубликовано журналом «Современный мир» в октябре 1913-го.) Подготовленный Анной Григорьевной ответ Страхову вошел в заключительную часть «Воспоминаний»<sup>12</sup>. Здесь достаточно подробно рассказывается о том, как редактор «Русского вестника» М. Катков отказался печатать главу из «Бесов», описывающую поступок Ставрогина, и как Достоевский, переделывая текст, зачитывал варианты «своим друзьям». Было бы, разумеется, очень кстати, очень к месту сослаться на детское потрясение Федора Михайловича, если бы... если бы автору «Воспоминаний» хоть раз довелось что-нибудь слышать об этом.

Итак, можно констатировать, что нет буквально ни одного факта, подтверждающего «концепцию потрясения» — 1) ни в огромном массиве переписки Достоевского, 2) ни в воспоминаниях современников, включая членов семьи, потенциальных прямых или косвенных свидетелей случая с сексуальным насилием, 3) ни (выделим это отдельным пунктом) в воспоминаниях А. Г. Достоевской, которая в ситуации, связанной с письмом Страхова, просто обязана была сослаться на детское потрясение мужа, если бы таковое было ей известно.

При мало-мальски непредвзятом подходе все это не может не показаться странным. Испытал страшное потрясение в детстве и молчал об этом всю жизнь,

<sup>12</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, стр. 395 — 406.



ни словом не обмолвился. Молчал в спорах с Катковым, когда отстаивал «непристойную» главу — а уж как было бы к месту. Молчал, зачитывая варианты главы близким людям, — было это в присутствии Анны Григорьевны, и уж ей бы не знать, помяни он хоть раз об этом. Молчал, повторюсь, всю жизнь. И вдруг, уже после публикации «Бесов», в случайной ситуации рассказал — и кому же? Случайным, в общем-то, людям, в великосветском салоне, где никогда не бывал особенно откровенным и где, быть может, одна лишь хозяйка, А. П. Философова, была ему духовно близка (но конечно же не ближе жены).

Но если нет фактов, подтверждающих воспоминание В. В. Философова в передаче З. А. Трубецкой, то биографы, в том числе и авторы «Летописи», должны были обратить внимание на одну деталь, вроде бы и мелкую, но все же диссонирующую с рассказом. О жертве сексуального насилия там сказано вот что: «Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский... я играл с девочкой (дочкой кучера или повара)»<sup>13</sup>. Казалось бы, обычная, ничем не примечательная деталь. Дело в том, однако, что детям семьи Достоевских в рассматриваемый период строго-настрою воспрещались какие бы то ни было контакты с посторонними, в том числе и со сверстниками, особенно же из простого народа. Этот факт многократно упоминается в мемуарной литературе и считается твердо установленным. В той же «Летописи» читаем: «В больничном саду, где братья и сестры Достоевские прогуливаются с няней или играют „в лошадки“, Д. вступает в разговоры с больными, но это строго преследуется отцом»<sup>14</sup>. Факт этот, повторюсь, настолько общепризнан и значим (для характеристики отца писателя), что, например, в одном из недавно опубликованных исследований упоминается несколько раз на небольшом отрезке текста: «строго ограничивалось вообще всякое общение, особенно со сверстниками»; «правила приличий, соблюдения которых настойчиво требовал отец, не позволяли иметь непредусмотренные встречи со сверстниками»; чуть далее подчеркивается стремление главы семьи «оградить своих детей от московского простонародья и околособольничных простолюдинов»<sup>15</sup>. Судите сами, в какой степени эти сообщения, особенно последнее, совместимы с вышеприведенной фразой из воспоминаний кн. Трубецкой — я имею в виду «дочку кучера или повара» (очевидного околособольничного простолюдина), с которой Достоевский «играл», тогда как это ему строго-настрою воспрещалось.

Есть и еще одно, гораздо более существенное, несоответствие между рассказом кн. Трубецкой и фактическими обстоятельствами, поддающимся точной проверке и оценке. Я коснусь его ниже. Пока же замечу следующее. Я вовсе не утверждаю, что вся эта история была придумана кн. Трубецкой или возникла в каком-то из предшествующих информационных звеньев. В подобных ситуациях достаточно некоторой незначительной, произвольно добавленной или, напротив, утраченной детали, малозаметного смещения акцентов, изменения тональности — и все предстанет в ином свете. На сей счет возможны различные гипотезы. На чем, однако же, буду настаивать — так это на том, что «атомарный факт», зафиксированный в «Летописи», заслуживает самой осторожной модальной маркировки. Он никак не тянет на «строгую выверенность».

Еще менее корректной (с доказательственной точки зрения) представляется попытка усмотреть необходимую связь между повторяющимися в творчестве Достоевского нимфофильными мотивами и пережитым в детстве потрясением — даже если бы оно действительно имело место.

Странное объяснение, исходя из которого следует предположить, что писатель, переживший в детстве землетрясение или, скажем, пожар, рано потерявший родителей, ставший свидетелем эпидемии холеры и т. п., будет всю жизнь возвращаться и возвращаться именно к этой теме.

Слишком простое, слишком плоское объяснение, обедняющее антропологическую концепцию, вычитываемую из романов Достоевского.

<sup>13</sup> Белов С. В. Романтика книжных поисков, стр. 63.

<sup>14</sup> «Летопись». Т. 1, стр. 20.

<sup>15</sup> Сараскина Л. Федор Достоевский. Одоление демонов. М., 1996, стр. 106, 110, 112.

## 5

Ставрогинский грех, к которому так часто обращался Достоевский, — перекресток двух других тем, двух жизненных феноменов, двух граней человеческого бытия, волновавших писателя всю его литературную и, надо полагать, внелитературную жизнь.

Это, во-первых, тема греховности человека, его открытости злу, его потенциальной беззащитности перед злом.

Это, во-вторых, тема секса — художественно воплощенная, впрочем, в той неявной, неброской форме, которая приличествовала среде и времени Достоевского.

Мы привыкли к все более возрастающей сексуальной откровенности современной прозы. В романах же Достоевского, как и вообще в «старинных» произведениях русской словесности, представлена более или менее благопристойная поверхность темы секса. Чтобы уяснить это различие, достаточно вообразить набокковскую «Лолиту», перенесенную из двадцатого века в девятнадцатый и предложенную, скажем, тому же Каткову для публикации в «Русском вестнике». Представить такое невозможно, а ведь поступки Гумберта Гумберта и Николая Ставрогина, если отвлечься от некоторых обстоятельств, одинаковы.

Это различие не должно вводить в заблуждение. Секс представлен и в романах Достоевского — в иной лишь форме. И я не могу согласиться с тем, что ставрогинский грех есть всего лишь «теоретическое преступление» и в исповеди Ставрогина якобы «нет ни одной чувственной детали»<sup>16</sup>. Конечно, его поведение в большей степени связано с «проблемами», оно в меньшей степени импульсивно, чем, скажем, поведение Мити Карамазова, целиком находящегося во власти эмоций. И однако, касаясь чувственных деталей в эпизоде совращения Ставрогиным бедной Матрешы, буду настаивать, что таковые безусловно наличествуют. И дело не в том, что такие детали как минимум подразумевались — ведь без них ставрогинский грех мог состояться только на бумаге (под каковой я здесь имею в виду не роман, а «листки», принесенные Ставрогиным Тихону). И не в том, далее, что Ставрогин, по собственному его признанию, был наделен «звериным сладострастием». Сама сцена сексуальной близости с Матрешей содержит неброские, но все же заметные знаки эротики с учетом неизбежных для времени и социальной среды ограничений, о которых уже говорилось. Ставрогин не просто посадил Матрешу к себе на колени, не просто целовал ее, как и она в какой-то момент «стала ужасно целовать сама». Он целовал ее *ноги*. Для Достоевского это был особый знак и одновременно едва ли не граница литературных приличий, за которые он не мог позволить себе выйти. Да и какие еще могли быть «детали» (уж не сексуальные ли позы?!), если и в таком скромном виде глава «У Тихона» в редакции «Русского вестника» была сочтена неприличной. И если даже усовершенствованные ее варианты доброжелательно настроенные к автору люди (А. Н. Майков, Н. Н. Страхов и другие) находили «чересчур реальными»<sup>17</sup>.

За пределами художественного творчества Достоевский бывал более откровенен. Подробнее об этом — чуть далее, пока же сошлюсь на свидетельство Е. Н. Опочинина, часть которого вынесена в эпиграф этих заметок. Опочинин имел обыкновение записывать беседы с Достоевским, что придает его воспоминаниям достаточно высокую степень надежности. После разговора, в котором Достоевский обнаружил, по словам мемуариста (см. эпиграф), большой интерес к «отношениям между полами», Опочинин замечает: «Всего сполна не буду записывать: пожалуй, уж слишком откровенно»<sup>18</sup>.

Сплетающиеся в ставрогинском сюжете темы греха и секса — вечные. Нет, не мучительное детское воспоминание притягивало Достоевского к ставрогинскому греху. Ведь собственно «ставрогинцев», если можно так выразиться, в его романах три-четыре человека (что, впрочем, тоже многовато для одного-то автора). Но за

<sup>16</sup> Волгин И. Родиться в России, стр. 130.

<sup>17</sup> Достоевская А. Г. Воспоминания, стр. 403.

<sup>18</sup> Опочинин Е. Н. Из «Бесед с Достоевским». — «Достоевский в воспоминаниях современников». Т. 2. М., 1990, стр. 385.

ними вплотную стоят те, кого писатель называл *сладоэрастниками* или *сластолюбцами*. Что же — интерес Достоевского к феномену сладоэрастия тоже будем выводить из детского потрясения? В этом случае все сластолюбцы были бы, вероятно, подобны «пьяному мерзавцу», фигурирующему в эпизоде с девочкой. Однако набор сладоэрастников в романах Достоевского чрезвычайно многообразен. Их целая галерея.

Некоторые из сластолюбцев — второстепенные персонажи, как, например, безымянный молодой господин из «Преступления», чью сексуальную охоту за пьяной барышней прерывает с помощью городского Раскольников. Или некий эпизодический Максимов из «Карамазовых», которому в ходе пьяной оргии в Мокром приглянулась «девочка-с Марьюшка-с», и он, глотая слюни, вежливо и доброжелательно спрашивает Митю, нет ли у того «особенных конфеток», «для старичков-с».

Но не одни лишь фоновые персонажи подвержены сластолюбию. Не считая «ставрогинцев», и прежде всего самого Николая Всеволодовича, этой чертой Достоевский наделяет многих героев. Среди последних выделяются Карамазовы — и не только Федор Павлович, но и все сыновья. Грешен этим даже Алеша.

Сомневающимся в том, что Алеша в мыслях своих был безгрешен, рекомендуется перечитать ту сцену, где Ракидин дает прелюбопытнейшую своего рода *дефиницию* сладоэрастия. Последнее характеризуется как состояние, когда «влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского». Так определяет Ракидин феномен сладоэрастия и продолжает: «...певец женских ножек Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки». К уже упоминавшимся «ножкам», и (по Ракидину) «не одним ножкам», мы еще вернемся, пока же обратим внимание на то, как реагировал на рассуждения Ракидина Алеша. Он слушал своего собеседника очень взволнованно, дрожа всем телом, и — как же отозвался? «„Я это понимаю“, — вдруг брякнул Алеша».

Но «понимал это» не только Алеша, «понимал» и сам Достоевский.

## 6

Так что же, слышу я голос, в котором угадываются грозные нотки, уж не хотите ли вы сказать, что Достоевский, подобно Карамазовым, был сладоэрастником?

Очень трудно сразу однозначно ответить на этот вопрос — хоть отрицательно, хоть наоборот. Нынче само слово «сладоэрастие» почти автоматически вызывает негативную реакцию. Возможно, этому способствовал и сам Достоевский, создав так много образов «плохих» сладоэрастников. Но, может быть, есть и «хорошие»? Вот ведь и любимец писателя Алеша...

Что есть сладоэрастие? По Далю, это «наклонность к чувственным наслаждениям, плотоугодие, плотская страсть». Найдите в этом словарном определении что-нибудь дурное *само по себе*. Кто не был наклонен, кто не угождал плоти, не переживал в иные моменты плотскую страсть? Без этой-то самой плотской страсти прекратился бы род человеческий. За ней стоят Эрос, либидо. Не только первое у греков, но и второе в современном психоанализе есть нечто большее, чем просто половое влечение, это витальная сила, сила продолжения жизни.

Что же касается вышеприведенной «дефиниции» сладоэрастия, которую Достоевский вкладывает в уста Ракидина (и которая, подчеркну еще раз, заставила праведника Алешу дрожать всем телом!), то в ней и вовсе наличествуют два элемента из иного, из высшего слоя лексики: «любить» и «красота». (Последнее слово, как известно, было особенно значимо для Достоевского.) В самом деле, Ракидин говорит: «...влюбится человек в какую-нибудь красоту...» Получается, что сладоэрастие, по крайней мере, не чуждо любви, не чуждо преклонению перед красотой.

Посредством таких лексикологических размышлений мы не обнаружим ничего определенного, сладоэрастие — типичное размытое понятие, не обладающее ясным содержанием и резким объемом. Специалисты характеризуют мужскую сексуальность в целом (в отличие от женской) как агрессивную, напористую, инстру-

ментальную, экстенсивную, возбудимую и несдержанную<sup>19</sup>. Под этим углом зрения терминологические эквиваленты, близкие к понятию сладострастия, — это, вероятно, словесные конструкции типа «сексуальная возбудимость», «острота сексуального переживания», «сильная половая конституция» и т. п. Без риска ошибиться можно утверждать, что определенный набор характеристик такого рода может быть отнесен к личности Достоевского. Что же касается возможного художественно-биографического параллелизма, то на него в свое время обратил внимание Н. О. Лосский. В книге «Достоевский и его христианское миропонимание», касаясь интимных сторон биографии писателя, он говорил о «карамазовской напряженности его сексуальных переживаний»<sup>20</sup>.

Такова уж судьба всех великих людей — со временем стены, скрывающие их интимную жизнь от нескромных взоров, становятся прозрачными. Здесь я пользуюсь этой их прозрачностью с единственной целью. Художественно-биографический параллелизм позволяет по-иному подойти к теме ставрогинского греха, показать, что она не могла быть случайной — в том элементарном, плоском смысле, что само обращение к этой теме якобы было вызвано единичным случаем, свидетелем которого Достоевский стал в детстве. Нимфофильные мотивы поглощаются более широкой темой сладострастия, а последняя сливается с темой человеческой греховности. И нет сомнений, что в творчестве Достоевского она питалась не только некими общими антропологическими размышлениями, но и художественными саморефлексиями. Здесь, как и вообще при создании всего своего художественного универсума, писатель часто заглядывал в себя.

Давно известно, что многих своих героев Достоевский наделял и чертами собственного характера, и реальными деталями биографии. В этом нет ничего удивительного: способность синтезировать художественный вымысел с собственным жизненным опытом присуща любому писателю. Своего рода «переселение» в образ (психологи называют это свойство эмпатией) составляет основу художественной аргументации, без которой невозможны ни всамделишность персонажей, ни, как следствие, доверие читателя к автору. Достоевский не был исключением. Но, пожалуй, у него эти мотивы биографо-художественного параллелизма особенно сильны. Причем это верно для всех персонажей, с какой бы стороны демаркации, разделяющей добро и зло, они ни размещались в художественном пространстве. Вопрос известных соавторов — литературоведов и культурологов: «Не себя ли увидел Достоевский в осужденном и прощенном Раскольникове?»<sup>21</sup> — риторичен. Конечно же себя — и не только в идейных рефлексиях, но и в «чувственных» деталях, в тех подробностях, которые писатель индуцировал из своей болезненной природы, из собственных страхов, из свойственных ему нервических состояний. Иначе не могли быть написаны так гениально ни мрачная сцена убийства, ни потрясающий эпизод с немым признанием Раскольникова Разумихину, ни информационно-игровая его дуэль со следователем Порфирием. Достоевский во всех художественных эпизодах настолько «был» Раскольниковым, что, пожалуй, даже закавычивание экзистенциального глагола излишне, кавычки тут — лишь дань филологической инерции. Это тот самый случай, когда кончается искусство. А почва и судьба не закавычиваются, они есть нечто большее, чем метафора.

Много сокровенного, интимного, много своего вложил Достоевский и в созданные им образы сладострастников.

Мы никогда не узнаем, о чем именно, о каких сторонах «отношений между полами» говорил с такой «горячностью» Достоевский в беседе с Опочининым. Предположительно, однако, о чем-то настолько откровенном, настолько «неприличном», что мемуарист даже не отважился доверить это бумаге. Возвращаясь еще раз к раkitинской «дефиниции» сладострастия и сопоставляя ее с некоторыми деталями интимной жизни писателя, нельзя не подивиться слишком уж очевидному сходству. Вот хотя бы взять те же самые женские ножки...

<sup>19</sup> См., напр.: Кон И. Введение в сексологию. М., 1988, стр. 224.

<sup>20</sup> Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М., 1994, стр. 25.

<sup>21</sup> Вайль П., Генис А. Родная речь. М., 1991, стр. 170.

Как уже говорилось, ножки для Достоевского были чем-то большим, чем достойная восхищения реалья женского тела. Это некий символ сексуальности и одновременно та эротическая граница, за которую в художественном творчестве он текстually почти не выходил. Блестящий аристократ Ставрогин целует ноги проституалки Матрешки. То же у Мити Карамазова с Грушеничкой во время загула в Мокром: она «позволила ему свою ножку поцеловать, а более ничего не позволила». А за пределами романов, в жизни? Известна сцена, когда Достоевский провел (мучительный, видимо) вечер у постели А. П. Суловой и «хотел поцеловать» ее ногу<sup>22</sup>.

Как ни цензуровала А. Г. Достоевская переписку с мужем, вымарывая в некоторых письмах по двадцать строк подряд, в них сохранилось множество эротически откровенных фрагментов. И те же самые частые — почти в каждом письме — ножки, и (говоря словами Ракитина) «не одни ножки». (Письмо Достоевского из Эмса от 4 августа 1879 года с предельной откровенностью раскрывает значение загадочных ракитинских «не одних ножек». После этого с большим трудом можно догадываться, что говорилось в тех фрагментах писем, которые Анна Григорьевна тщательнейше вымарала.) В переписке постоянно повторяются воспоминания об интимной близости и просьбы к жене быть в письмах эротически более откровенной.

Есть еще и рассказанная С. В. Беловым история о письмах Достоевского к Суловой, которые были уничтожены неким петербургским букинистом из-за того, что оказались ему «очень интимными». История эта представляется достаточно правдоподобной, особенно если учесть, что в качестве источника писем назывался архив В. В. Розанова<sup>23</sup>.

Нужно ли говорить, что во всем этом нет ничего предосудительного. При соответствующей коррекции понятия сладострастия оно ассоциируется и со здоровой мужской чувственностью, и с той витальной энергией, которая, согласно современным антропологическим концепциям, является одним из самых сильных творческих начал в человеке. И не представляется столь уж фантастической мысль, что мир никогда не узнал бы великих романов Достоевского, не будь в нем заложен столь сильный сексуальный заряд.

Но, как говаривал Аввакум, вернемся на первое, вернемся к теме ставрогинского греха. Она, разумеется, связана с темой сладострастия, однако же не тождественна последней, не вытекает из нее автоматически. Никто из Карамазовых, кстати уж сказать, не был замечен в нимфофилии, даже сам Федор Павлович, сладострастник из сладострастников. И потому столь частое обращение Достоевского к ставрогинскому сюжету, как и его упоминавшаяся (не только литературная) «зацикленность» на этом, должны иметь какое-то добавочное объяснение. Выше я пытался показать, что объяснение путем ссылки на детское потрясение по многим причинам представляется неубедительным. Тогда какое же?

Так ли уж невозможны и здесь какие-то художественно-биографические параллели? Говоря открытым текстом, нужно ли считать абсолютно невероятными некие нимбофильные мотивы применительно к личности и реальной биографии Достоевского?

## 7

Несколько лет назад я опубликовал статью, в которой, наряду с другими предположениями, рассматривалась и версия биографичности ставрогинского греха для Достоевского<sup>24</sup>. Допустив несколько хронологических неточностей (о чем сожалю), я пытался непредвзято и спокойно оценить большую группу фактов, связанных, во-первых, с упомянутыми выше (реальными или мнимыми) самопризнаниями Достоевского и, во-вторых, с его бесспорной «зацикленностью» на теме нимфофилии.

<sup>22</sup> Сулова А. П. Годы близости с Достоевским. — «Две любви Ф. М. Достоевского». СПб., 1992, стр. 185.

<sup>23</sup> См.: Белов С. В. Романтика книжных поисков, стр. 38.

<sup>24</sup> Свинцов В. Достоевский и ставрогинский грех. — «Вопросы литературы», 1995, вып. 2.

Я и сегодня думаю, что эта версия обладает определенной степенью вероятности. Конспективно изложу приведенные ранее доводы, добавив к ним несколько новых соображений.

1) Слишком уж много «достойных уважения людей» (говоря словами И. Волгина) было причастно к циркуляции слухов о самопризнаниях Достоевского в ставрогинском грехе. (Под причастностью я имею в виду приятие слухов как минимум в качестве потенциально достоверных.) И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович, Н. Н. Страхов, позднее — Л. И. Шестов и П. А. Флоренский, еще позднее — Ю. Н. Тынянов и Л. Я. Гинзбург... Были и другие, менее именитые. Назову хотя бы профессора П. А. Висковатова или ныне забытого писателя И. Ясинского, который лично знал Тургенева и Достоевского и не сомневался, что последний был сам виноват в распространении слухов о своем «сластобесии».

Никто из названных людей не нуждается в каких-либо специальных характеристиках. Трудно допустить, что одни из них злонамеренно распространяли сплетню, а другие были введены в заблуждение, стали жертвой слухов. Все они оценивали эти слухи в меру своих, скажем так, *человековедческих* способностей, основанных на жизненном опыте и интуиции. Они как бы примеряли слухи к сложившемуся в сознании образу Достоевского — образу писателя и человека. И стало быть, в этом их личном (субъективном, разумеется) образе было нечто такое, что не противоречило циркулирующим слухам. Наивно считать, что содержание рассказа кн. Трубецкой (или даже самого Достоевского), будь оно им известно, могло существенно повлиять на отношение к слухам.

Я хотел бы подчеркнуть, что дело тут не в именитости названных лиц, не в их особом статусе, социальной значимости и т. п. — дело прежде всего в их *человековедческой* способности. И еще — в элементарном факторе времени, в хронологической близости или отдаленности между объектом оценки и оценивающим субъектом. Образ любого человека, в том числе и великого писателя, по-разному воспринимается людьми различных поколений, со временем неизбежны его деформации в ту или иную сторону. Это хорошо понимал, например, В. В. Розанов. Чуть ли не обожествляя Достоевского, он в то же время склонен был к известной хронологической коррекции сложившегося у него образа под влиянием одного из писем Страхова. В письме речь шла об «отсутствии веры» у автора «Карамазовых». Розанов так прокомментировал этот фрагмент письма: «Ужасное наблюдение Страхова, который, конечно, лучше нас всех *теперешних*... знал его (Достоевского. — В. С.)»<sup>25</sup>. Уместно заметить, что «теперешнему» Розанову в год смерти Достоевского было двадцать пять лет.

Закономерен грубоватый вопрос: что же, «достойные уважения» современники Достоевского были глупее сегодняшних литературоведов, сделавших жизнь и творчество писателя объектом своей профессии? Иными словами, мне не совсем ясно, почему знанию и интуиции вышеназванных лиц, которых трудно заподозрить в природной склонности к клевете или каком-то особенном легкомыслии, я должен доверять в меньшей степени, чем мнению нескольких — в сравнении с Розановым действительно «теперешних» — литературоведов.

2) Есть немало свидетельств, делающих в высшей степени вероятным, практически достоверным следующий вывод: в жизни Достоевского существовала какая-то мучительно переживаемая тайна — либо основанная на реальном жизненном факте, либо по крайней мере порожденная болезненным воображением. Замалчивать этот факт, делать вид, что ничего *такого* как бы и не было, — значит вольно или невольно наводить пресловутый хрестоматийный глянec на те черты трагического облика Достоевского, которые не поддаются полировке. Что это за свидетельства и действительно ли они настолько надежны?

К ним нужно прежде всего отнести ряд высказываний Л. П. Гроссмана, одного из первых биографов Достоевского. По причинам, о коих чуть ниже, его свидетельство нужно признать и неоспоримым, и особенно весомым. Вот несколько высказываний, содержание которых говорит само за себя: «необходимо признать,

<sup>25</sup> Розанов В. В. Литературные изгнанники. Лондон, 1992, стр. 251 — 252. (Здесь и далее в цитатах курсив мой. — В. С.)

что в больном сознании Достоевского постоянно жила мысль о совершении им какого-то тяжкого греха», «психологически „великий грех“ (имеется в виду именно ставрогинский грех. — В. С.) существовал и мучительно переживался Достоевским. Он неоднократно говорил о каком-то тяжком прегрешении, лежащем на его совести, подчас чувствовал себя преступником»<sup>26</sup>. (Свидетельство Гроссмана, замечу в скобках, лишний раз ставит под сомнение «концепцию клеветы», якобы рожденной недругами Достоевского и приведшей к циркуляции слухов о его самопризнаниях.) Гроссман прямо связывает эти факты внелитературного, скажем так, поведения Достоевского с «неотвязной темой» его романов<sup>27</sup>.

Почему я называю свидетельство Гроссмана особенно весомым? Гроссман — не совсем обычный достоевковед. Он не только лично знал Анну Григорьевну Достоевскую, но и был ее советчиком при подготовке ответа на скандальное письмо Страхова. Где и когда, как не в этих доверительных разговорах, и от кого, как не от вдовы писателя, мог он узнать о странном поведении Достоевского. Конечно, можно как угодно относиться к вышеприведенным высказываниям Гроссмана. Можно делать вид, что они не существуют. Можно даже предположить, что, будучи участником какого-то тайного (масонского?) заговора, он придумал все это. Но если все-таки не придерживаться такой чудовищной гипотезы, то нужно признать, что свидетельство Гроссмана — это почти наверняка свидетельство самой Анны Григорьевны. (Попутно припомним еще раз «атомарный факт» из детства Достоевского, зафиксированный «Летописью», — мог ли он не всплыть в этих разговорах, если бы Анна Григорьевна хоть раз слышала об этом от мужа?)

Есть и еще одно свидетельство, удивительным образом перекликающееся с рассказом Гроссмана. Я имею в виду воспоминания В. В. Тимофеевой, корректора журнала «Гражданин», где Достоевский в начале 70-х годов был редактором. Их отношения, вначале непростые, колючие, со временем стали дружескими, со стороны же Тимофеевой, возможно, и чем-то большим (историю развития этих отношений Л. И. Сараскина, как бы оценивая ее с позиций мемуаристики, называет «очень женской историей»<sup>28</sup>). Вечерние разговоры в типографии, за чаем, вероятно, располагали к откровенности. И, видимо, что-то особенное было сказано и одновременно недосказано Достоевским, — что-то такое, что впоследствии позволило Тимофеевой говорить «о трагедии неугомонной и неподкупной религиозной совести, в которой палач и мученик таинственно сливаются иногда воедино». «Тайны этой трагедии» Достоевский, по словам мемуаристики, «навек унес с собой»<sup>29</sup>.

3) Наконец, среди биографических текстов самого Достоевского есть один, вызывающий очевидные ассоциации с только что приведенными свидетельствами Гроссмана и Тимофеевой. Речь идет о воспоминаниях, связанных с предрасстрельными минутами, пережитыми писателем на Семеновской площади Петербурга в декабре 1849-го. В эти мгновения, казавшиеся последними, Достоевский раскаивался «в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести)»<sup>30</sup>. Итак, снова *тайна*, да еще и связанная с *тяжелыми делами*, которые *лежат на совести всю жизнь*. Слишком серьезные, слишком значительные слова, чтобы считать их общим местом, всего лишь приличествующей ситуации риторикой.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, в чем состояла трагическая тайна Достоевского, которую он «навек унес с собой». Об этом мог знать разве что священник Владимирской церкви, исповедовавший Достоевского перед смертью. (Отец Мегорский, если верить воспоминаниям Анны Григорьевны, с чем, впрочем, не согласны авторы «Летописи».) Церковная исповедь — тоже тайна. Но, откровенно сказать, я не удивился бы, узнав, что в ней прозвучали и какие-то нимфофильные мотивы. Это не представляется мне равным образом ни слишком вероятным, ни абсолютно невозможным.

Да и всегда ли, обязательно ли это так страшно?

<sup>26</sup> Гроссман Л. Путь Достоевского. Л., 1924, стр. 222, 223.

<sup>27</sup> Там же, стр. 224.

<sup>28</sup> Сараскина Л. Федор Достоевский. Одоление демонов. М., 1996, стр. 457.

<sup>29</sup> Тимофеева В. В. (Починковская О.). Год работы со знаменитым писателем. — «Достоевский в воспоминаниях современников». Т. 2, стр. 196.

<sup>30</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 21, стр. 133.

## 8

Как было показано, понятие сладострастия при ближайшем рассмотрении способно утратить какую-то часть сопровождающих его отрицательных эмоций. Такого же непредвзятого отношения заслуживает и понятие нимфофилии. Но прежде чем говорить об этом, нужно предварительно задержаться на одной существенной детали. На одном заблуждении, которое долгие годы сопутствовало литературоведческому описанию ставрогинского греха.

До сих пор поступок Ставрогина привычно характеризуется как сексуальное *насилие*. Говоря определеннее, считается, что Николай Всеволодович *изнасиловал* бедную Матрешу. Это явная ошибка. Достойно сожаления, что она проникла даже в комментарии к последним собраниям сочинений Достоевского. В комментарии к десятитомнику говорится: «Ставрогин совершает гнусное преступление — насилие», в комментарии к полному собранию сочинений речь идет о «насилии над девочкой», «эпизоде насилия»<sup>31</sup>. Между тем в тексте главы «У Тихона» нет ни малейшего намека на сексуальное насилие<sup>32</sup>. Ставрогин обманул, совратил, обольстил Матрешу, воспользовался ее мгновенной влюбленностью в «барина», человека из другого, из высокого, из недоступного мира. Разумеется, и это скверно (не говоря уж о страшном финале — самоубийстве Матрешы). Однако насилия не было.

Насилие существовало лишь в замысле, в черновых набросках к «Бесам», где действительно говорится, что «князь» (черновая ипостась Ставрогина) «изнасиловал ребенка»<sup>33</sup>. Можно строить не лишние догадки, почему Достоевский отступил от первоначального замысла, но факт остается фактом: поступок Ставрогина — в том виде, как он описан в главе «У Тихона», — может быть квалифицирован как нимфофильное действие, но не насилие.

(Сказанное заставляет еще раз вернуться к рассказу кн. Трубецкой и снова усомниться в его надежности или по меньшей мере точности. Я имею в виду очевидное несоответствие между концовкой этого рассказа и действительностью. В самом деле, вспомним, что в рассказе речь шла именно об изнасиловании девочки; заканчивался же он словами (якобы) Достоевского: «Этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в „Бесах“»<sup>34</sup>. Поскольку поступок Ставрогина не содержал никаких элементов насилия, и Достоевскому лучше, чем кому-либо еще, это было известно, — ни о какой «казни» не могло быть и речи. Никак не мог Достоевский говорить о том, чего в романе не было. Остается предположить, что либо кн. Трубецкая что-то забыла, что-то напутала, либо... ничего подобного Достоевский в салоне А. П. Философовой не говорил.)

Итак, нимфофилия — издавна известное, распространенное явление, чреватое конфликтами с социально-культурными традициями, этическими нормами, а при определенных условиях и с уголовным правом. Здесь возможны, однако, пограничные ситуации, связанные с конкретными обстоятельствами и конечно же с возрастными различиями «задействованных» лиц. В замечательном рассказе Бунина «Степа», сделанном на значительно более продвинутом уровне эротической откровенности (двадцатый все-таки век!), описана внезапная сексуальная близость молодого купца Красильщикова и восторженно в него влюбленной пятнадцатилетней девочки, девушки ли. Поступок этот внезапен не только для Степы, но и для самого Красильщикова, который, вероятно, даже и не является нимфомилом в смысле набоковского постоянного тяготения к «нимфеткам». Положим, он, что называется, *берет* Степу, да ведь, как уже отмечалось, мужская сексуальность в сравнении с женской более агрессивна. Красильщиков обещает жениться на Степе и, разумеется, обманывает ее.

<sup>31</sup> Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 7. М., 1957, стр. 729; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 12, стр. 241, 244.

<sup>32</sup> Подробнее см.: Свинцов В. Достоевский и ставрогинский грех, стр. 133 — 135.

<sup>33</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 11, стр. 274.

<sup>34</sup> Белов С. В. Романтика книжных поисков, стр. 64.



По аналогии уместно поинтересоваться: сколько лет было Матреше и как она относилась к Ставрогину? По первому впечатлению Ставрогина, Матреше было «лет четырнадцать», что почти совпадает с возрастом бунинской героини. В другом месте главы «У Тихона», а также в набросках к роману имеются иные возрастные указатели — от десяти до тринадцати лет. Эта «нерешительность» Достоевского в определении возраста Матрешы сама по себе примечательна. Интересно, однако, что если первое впечатление Ставрогина соответствовало действительности, то его поступок по действовавшему в те времена «Уложению о наказаниях» был уголовно ненаказуем, он не мог быть квалифицирован как «растление». Таким образом, страхи Ставрогина (или Достоевского за Ставрогина?) не имели, так сказать, под собой юридического основания.

Что же касается отношения Матрешы к своему соврратителю, то, кроме упоминаемых в тексте главы страстных поцелуев, есть еще одна деталь, свидетельствующая о ее внезапно вспыхнувшей детской или полудетской влюбленности в Ставрогина. Насколько можно судить, эта деталь в черновых набросках к роману не попадала в фокус внимания исследователей, а между тем она очень выразительна. Я имею в виду отдельно зафиксированную реплику «— Миленький» в той части набросков, которая относится к исповеди Ставрогина<sup>35</sup>. Откуда вдруг это странное «миленький»? По тире, которое здесь обозначает прямую речь, по простонародной, «бабьей», тональности, по ряду сопутствующих деталей — можно с достаточной степенью вероятности предположить, что это слово было не чем иным, как сохранившимся в памяти Ставрогина обращением к нему Матрешы в эпизоде их сексуальной близости.

Феномен ставрогинского греха сопрягается с феноменом сладострастия и растворяется в понятии всеобщей человеческой греховности. Это становится очевидным, если обратиться к современной науке. Выясняется, что определенные нимфофильные импульсы заложены на подсознательном уровне. Они фиксируются у мужчин абсолютно нормальных, «не проявляющих ни девиантных наклонностей, ни склонных к сексуальным нимфофильским действиям». В соответствующих многократных экспериментах сексологов (демонстрация изображений обнаженных девочек) это явление было установлено «объективно посредством фаллографии»<sup>36</sup>. С этой точки зрения нимфофилия может рассматриваться как сексуальный феномен, не обязательно проявляющийся в действиях и потому не столь жестко связанный с этическими и правовыми нормами.

Отрешившись от гипноза сексуального насилия, не будем же предаваться ханжеству. Как говаривал поэт, время — вещь необычайно длинная. Десятилетия и тем более столетия лишают неприкосновенности любой сюжет, персонафицированный относительно выдающейся личности. Большинство из нас до сих пор несколько болезненно воспринимает некоторые детали личной жизни современника Достоевского — автора божественного «Лебединого», но абсолютно безразличны к вероятной бисексуальности Платона, в диалогах которого воспевается любовь к юношам. Однако не только второй, но и первый не перестают для нас быть гениями.

В конце концов, дело не в том, что в личной жизни Достоевского было или, по крайней мере, могло быть нечто похожее на нимфофильные поступки его персонажей. Дело не в том, вложил или нет писатель в художественную фантазию какие-то реальные или болезненно трансформированные элементы собственного сексуального опыта. С одной стороны, ни у кого нет достаточных оснований становиться в позицию следователя Порфирия Петровича: «Как кто убил?.. да вы убили, Федор Михайлович. Вы и убили-с». С другой стороны, повышенный интерес Достоевского к феноменам сладострастия и нимфофилии может иметь еще одно объяснение, более глубокое и интересное, не сводящееся ни к личному опыту вообще, ни — тем более! — к единичному случаю из детства, там уж был он или не был в действительности.

<sup>35</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 11, стр. 190.

<sup>36</sup> Имелинский К. Сексология и сексопатология. М., 1986, стр. 307 — 308.

Искомое объяснение можно и нужно искать в общей антропологической концепции автора «Преступления», «Карамазовых» и других великих романов. Николай Бердяев определял творчество зрелого Достоевского (начиная с «Записок из подполья») как трагический гуманизм. Вообще говоря, стремление к систематизации побуждает нас любое явление человеческого духа подводить под тот или иной «изм», хотя универсальность такого подхода далеко не бесспорна. Особенно же она сомнительна по отношению к великим мыслителям и художникам, а Достоевский был таковым в обеих ипостасях. Так что и к этому «изму» можно относиться скептически. И все же, я думаю, Бердяев был достаточно близок к истине.

Какое содержание можно вкладывать в понятие трагического гуманизма? К родовым признакам гуманизма вообще (любовь к человеку, защита прав человека на достойную жизнь) трагический гуманизм добавляет щемящее ощущение трагизма человеческого бытия. Он сочувствует идее окончательной победы добра над злом, однако — в отличие от гуманизма романтического — не уверен в ней и, следовательно, скептически оценивает возможности любого хеппи-эндного завершения человеческой истории.

Могут сказать, что Достоевского никак нельзя отнести к историческим пессимистам: будучи христианином, он должен был верить в поражение антихриста, во всеобщее воскресение и в окончательное торжество Царства Божия. Так-то оно так, если исходить из неких доктринальных установок. Однако созданная Достоевским и интуитивно вычитываемая из его романов антропологическая концепция вряд ли является столь однозначной.

Максим Горький, не любивший, кстати сказать, Достоевского, устами принципиального бездельника Сатина провозгласил гордое звучание человека. По Достоевскому, человек звучит всяко, чаще же всего он звучит горько. И это особенно отчетливо проявляется в галерее созданных Достоевским образов, представляющих персонифицированное зло.

В различных сюжетных поворотах произведений Достоевского наличествует много человеческого зла и его носителей. Последних далее будем называть злодеями, используя этот термин как служебный, лишенный каких бы то ни было экспрессий и, естественно, без иронических кавычек. Так вот, злодеев Достоевского условно можно разбить на два вида. Злодеи, не вызывающие никакого человеческого сочувствия, — это злодеи второстепенные, фоновые. Таков, скажем, Тощкий, совратитель юной Настасьи Филипповны в «Идиоте»; Миколка, забивший лошадь в «Преступлении» (сон Раскольникова); уже упомянутый молодой господин — сексуальный охотник из того же романа; кто-то из окружения Петра Верховенского в «Бесах» и т. д. Фоновых злодеев много, но они эпизодичны и схематичны. Это всего лишь дурные особи рода человеческого, больше ничего о них не скажешь.

Но — удивительное дело! — злодеи второго вида, главные злодеи совершают подчас такие черные дела, от которых стынет кровь, а между тем им адресовано явное сочувствие автора — и вслед за ним, разумеется, читателя. Таков убийца Раскольников; таковы сладострастники Карамазовы, включая Ивана, спровоцировавшего отцеубийство; таков развратник Свидригайлов; таков растлитель Ставрогин. Удивительное, парадоксальное притяжение Достоевского к Ставрогину обратило на себя внимание Бердяева, который посвятил этому литературному персонажу специальную статью. Бердяев писал: «Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя... Других он проповедовал как идеи, Ставрогина он знает как зло и гибель. И все-таки любит... его»<sup>37</sup>.

Конечно, различие между злодеями фоновыми и главными в романах Достоевского проявляется не как закономерность, а как тенденция — возможны исключения (да в художественном произведении и не может быть резких границ, они всегда

<sup>37</sup> Бердяев Н. Собр. соч. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. Париж, 1989, стр. 99.

размыты). Но с учетом этой оговорки все же интересен вопрос: почему главные злодеи более человечны и более достойны сочувствия, чем фоновые? И вот какой напрашивается ответ. Различие объясняется тем, что фоновые злодеи просто не попадают в фокус антропологического внимания писателя и он «не успевает» разглядеть в них людей, также достойных сострадания. Наведи он на них тубус своего антропологического микроскопа — перед читателем предстали бы бедные, несчастные, запутавшиеся в обстоятельствах и потому заслуживающие участия люди.

Начав романом «Бедные люди», Достоевский и далее живописал своих бедных людей, только это были разные бедные люди. Бедные люди молодого Достоевского — это Макар Девушкин, Варвара Доброселова и другие люди, бедные в материальном, имущественном смысле. Люди нищие или почти нищие и этой-то нищетою прежде всего униженные и оскорбленные. Бедные люди зрелого Достоевского — это люди вообще, это бедное, несчастное — или, по крайней мере, вряд ли однозначно счастливое — человечество. (Примечательна и сама по себе полисемия слова «бедный», свойственная не только русскому, но и многим европейским языкам.) Если верно, что все мы вышли из гоголевской «Шинели», то столь же справедливо утверждение: все мы — бедные люди Достоевского.

Злодеи Достоевского — тоже люди бедные, несчастные, злодейством своим прежде всего несчастные. В этом одна из самых характерных черт трагического гуманизма, и, быть может, ни в чем другом она не проявляется с такой силой, как в художественном исследовании зла. Глубоко прав Томас Манн, утверждая, что христианское участие Достоевского в большей степени принадлежит «греху, пороку, безднам сладострастия и преступления, чем благородству тела и души»<sup>38</sup>.

(Романы Достоевского побуждают еще и еще раз задуматься над могуществом греха и зла, перед которым может оказаться бессильным любой человек. Эта великая и вряд ли нынче популярная идея, если она все же проникает в душу, заставляет «чистить себя под Достоевским», примерять на себя любой грех, хоть бы и ставрогинский. Здесь автор этих строк хотел бы сделать самопризнание, которое в свое время потребовало от него определенных усилий.

Не только приятно, но и вроде бы естественно считать себя добрым, порядочным, благородным. И мне доставляло удовольствие сознавать себя именно таким. Оглядываясь на прошлое, я должен признать, что прожил среднюю, так себе, жизнь. С одной стороны, мне есть чего стыдиться: будучи обществоведом и к тому же вузовским работником, я достаточно долго лгал — сначала по невежеству, позже — по инерции и лени; на партийных собраниях, этих форумах лжи, тянул руку за то, во что уже не верил; был не всегда добрым, а часто и просто злым, несправедливо раздражительным с близкими людьми. С другой стороны, если не считать мальчишеских драк, я никогда никого не ударил, не обсчитал, не унизил, не говоря уже о худшем.

Антропология Достоевского помогла мне глубже заглянуть в собственную душу и понять, что я так же бездонно открыт греху и злу, как другие люди. И если не совершил какого-то особенно гадкого поступка, то лишь потому, что так сцепились какие-то атомы и молекулы моей судьбы; иное же их сцепление вполне могло сделать меня Раскольниковым, кем-то из Карамазовых, Ставрогиным...)

Могут сказать: все это хорошо, но при чем здесь секс вообще и тем более история с девочкой — жертвой сексуального преступления? Какое отношение к антропологической концепции Достоевского имеет его столь частое обращение к нимфophilной теме?

О, самое близкое! Прежде всего неоспорима общая антропологическая установка, отводящая любви роль управительницы мира на равных с голодом. Основа всей витальной энергетики, таинственное либидо — источник великого счастья, великого добра и великого зла. Изменилось ли что-нибудь с тех пор, как были сказаны слова: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 28)? Да ничуть, скорее наоборот.

<sup>38</sup> Манн Т. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., 1961, стр. 342.

Есть, вероятно, некая закономерность, связывающая возрастающее социальное зло с сексуальностью. В средневековые сексуальные проступки составляли половину всех грехов, предусмотренных в пенитенциариях — руководствах для священнослужителей. Согласно социологическим исследованиям, проведенным во Франции в 70-х годах нашего столетия, до восьмидесяти процентов грехов, в которых прихожане признавались на исповеди, относятся именно к сексуальной жизни. Не буду приводить кошмарные цифры сегодняшней статистики, касающиеся насилия в семье, педофилии, детской проституции. Аналогичная статистика времен Достоевского отсутствует, однако почти нет сомнений в том, что соответствующие цифры уступают современным. (Из 10 121 преступления, зафиксированного в Петербурге в 1865 году, всего 51 приходится на изнасилования.)

Так могло ли художественное исследование зла, проникнутое мотивами трагического гуманизма, миновать эту сферу и эту тенденцию? (Добавим, что сексуальное зло — из числа наиболее унижающих жертву, если не самое унижительное.) Вот почему секс — в неброской форме, приличествующей литературным нравам времени и социальной среды, — прорывается в романах Достоевского и как серия нимфофильных поступков злодеев.

Среди социальных прогнозов Достоевского (из коих, замечу кстати, подтвердились далеко не все) этот неявный художественный прогноз следует признать действительно пророческим.

Но есть и еще одна скрытая пружина, побудившая Достоевского многократно делать жертвой сексуального зла именно девочку. Я имею в виду знаменитую, тысячекратно проанализированную, но и по сей день не утратившую актуальность карамазовскую загадку: можно ли во имя грядущего счастья всего человечества замучить одного, только одного ребенка?

Представленные в карамазовской загадке два начала не только предельно четко квалифицированы как добро (в позиции цели) и зло (в позиции средства). Они еще и с предельной — быть может, беспрецедентной для мировой художественной литературы четкостью — к в а н т и ф и ц и р о в а н ы. Подчеркнутая контрастность «количеств» добра и зла в карамазовской загадке, что называется, бьет в глаза. В самом деле, добро относится ко всем людям, к человечеству в целом. Зло же воплощено в страданиях мало того что одной личности, так еще и личность-то эта — малое дитя. Ребенок Достоевского — выраженная в концентрированной форме ипостась незащитной человеческой личности. Сексуально окрашенная модификация извечного противостояния добра и зла — в столь, казалось бы, несоизмеримых пропорциях — и привела, возможно, писателя к так часто воспроизводимой теме нимфофилии.

Трудно, невозможно определить роль, так сказать, личной составляющей в бесспорной приверженности Достоевского к этой теме — его собственного сексуального опыта, воспоминаний, интимных мыслей или даже болезненных фантазий.

Но может ли это иметь сколько-нибудь существенное значение?

## 10

На этом, пожалуй, можно было бы и закончить, но как-то трудно полностью отрешиться от загадочного «атомарного факта», скорее всего действительно имевшего место, — однако, думаю, не в начале 30-х, а в конце 70-х годов прошлого века. И хочется добавить к сказанному еще несколько абзацев.

Что же все-таки произошло тогда в салоне Анны Павловны Философовой?

Мое воображение легко рисует Федора Михайловича Достоевского, который с необыкновенным волнением рассказывает собравшимся страшную историю, свидетелем которой он стал в детстве. «Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов... Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь...»<sup>39</sup> Ну как не поверить этим словам из воспоминания В. В. Фило-

<sup>39</sup> Белов С. В. Романтика книжных поисков, стр. 63.

софова (в передаче З. А. Трубецкой). Значительно труднее поверить рассказу самого Достоевского, аутентичности его сюжета. К ранее высказанным сомнениям добавлю еще два.

Вспомним обстоятельства дела: маленького Федю «послали за отцом, но было уже поздно». Отец будущего писателя Михаил Андреевич Достоевский, штаб-лекарь Мариинской больницы и коллежский асессор, констатировал смерть девочки, как, впрочем, и сам факт сексуального насилия, не мог, не имел права не уведомить о происшедшем полицию. Почему же ни в уголовной хронике тех лет, ни в полицейских архивах не обнаруживается никаких свидетельств об этом преступлении, по тем временам гораздо более неординарном, нежели в наши печальные дни? Это во-первых. Во-вторых, слабо верится в сам тот факт, что результатом сексуального насилия стала смерть (да еще и чуть ли не мгновенная) девочки в возрасте 10 — 12 лет. Не буду касаться деликатных анатомических деталей или ссылаться на пособия по судебной медицине; достаточно обратиться к уголовной хронике сегодняшних СМИ, изобилующей изнасилованиями малолетних школьниц в лифтах, в подвалах, на чердаках да и просто в обыденной обстановке какой-то приватной квартиры. Смертные случаи фиксируются только тогда, когда насильник был еще и убийцей-маньяком. Передо мной недавний номер многотиражной газеты с коротенькой заметкой, читая которую можно содрогнуться: два пьяных негодяя по очереди (!) изнасиловали трехлетнюю (!!)) девочку, предоставленную им, кстати уж сказать, пьяной матерью (!!!). Комментарием здесь может быть разве что вопросительный знак к известному сентенциальному выражению «се человек», и я должен извиниться перед читателем за ссылку на этот мерзкий, дикий эпизод из российской хроники конца двадцатого века. Ссылаюсь же только потому, что крошка все-таки осталась жива — по разительному контрасту с ужасником Достоевского (если, разумеется, он рассказывал об этом именно так, как передано в воспоминании В. В. Философова — З. А. Трубецкой)...

Что же обнаруживается, так сказать, в сухом остатке? Всего лишь один, зато достаточно вероятный факт, суть которого сводится к следующему: в конце 70-х годов Достоевский в присутствии некоторого множества людей в очередной раз озвучил нимфофильную тему, придав ей сюжетную форму личного воспоминания и снабдив летальным финалом. Говорю «в очередной раз», потому что он и раньше имел обыкновение публично рассказывать *об этом*. И притом без каких бы то ни было привязок к детскому потрясению, этой якобы первопричине многократного литературного и внелитературного воплощения ставрогинского сюжета.

Да, Достоевский не раз обращался к нимфофильной теме и за рамками художественного творчества в узком смысле этого словосочетания, то есть в смысле производства письменного текста с последующим его литературным отчуждением. Один из таких случаев, имевший место в середине 60-х годов, весьма показателен. В доме Корвин-Круковских, в присутствии двух сестер (к старшей Достоевский был, вероятно, неравнодушен) и их матери, он делился замыслом нового романа, в котором молодой помещик изнасиловал десятилетнюю девочку. Как вспоминала впоследствии младшая из сестер, в замужестве Ковалевская, известный русский математик, Достоевский настолько увлекся рассказом, что перешел границы приличия и вызвал возмущенную реплику хозяйки дома<sup>40</sup>.

Аналогичный эпизод связан с воспоминаниями К. В. Назарьевой, детской писательницы. Эпизод примечателен тем, что содержит якобы имевшее место (еще одно) самопризнание Достоевского в ставрогинском грехе, а также его, так сказать, общеантропологическую реплику: «Все могут быть мерзавцами под влиянием обстоятельств и настроений». В. Н. Захаров, воспроизводя свидетельство Назарьевой, оценивает его как фальсификацию<sup>41</sup>. Эта оценка представляется произвольной, ничем не мотивированной, ибо остается абсолютно неясным, по каким причинам Назарьева могла бы совершить столь низкий поступок. Несколько ее писем к Достоевскому в 1877 году с восторженными отзывами о его творчестве, как и теплый ответ писателя на одно из них, не дают оснований для подобных подозре-

<sup>40</sup> См.: Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., 1951, стр. 108.

<sup>41</sup> См.: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского, стр. 98 — 99.

ний — если, разумеется, и здесь не руководствоваться всеобъясняющей, но вряд ли продуктивной идеей заговора врагов Достоевского, происками клеветников и т. п.

Наконец, нужно обозначить еще один эпизод, зафиксированный уже упоминавшимся (см. раздел 5) Е. Н. Опочининым. В одной из бесед Достоевский, размышляя вслух о разного рода сексуальных аномалиях, рассказал о случае некрофилии, свидетелем которого он якобы был. Примечательно, что первый публикатор опочининских «Бесед с Достоевским» в 1936 году Ю. Верховский не решился включить этот художественно отработанный рассказ в текст мемуаров — и, по-видимому, именно по причине рискованности самого предмета. Рассказ не входил и в дважды изданный двухтомник «Достоевский в воспоминаниях современников» (1964 и 1990). Впервые он был опубликован лишь в 1992 году в «Новом мире». Между тем этот эпизод чрезвычайно интересен — как неоспоримое свидетельство острого внимания Достоевского и к сексуальным отношениям вообще, и к феномену сексуальных девиаций в особенности. Не будучи непосредственно связан с нимфophilной темой, он в то же время как бы перекликается с вышеприведенной репликой общепсихологического характера из свидетельства Назарьевой. В беседе с Опочининым Достоевский также говорит о человеке вообще: «В этом отношении (т. е. в половом) столько всяких извращений, что и не перечтешь... Я думаю, однако же, что всякий человек до некоторой меры подвержен такой извращенности, *если на деле, то хотя бы мысленно...* Только никто не хочет в этом сознаваться»<sup>42</sup>.

Таким образом, можно говорить о целом наборе однотипных ситуаций, в которых Достоевский выступал в роли устного исполнителя столь волновавшей его «темы с вариациями». Случай с рассказом в салоне А. П. Философовой вряд ли был чем-то большим, нежели одним из звеньев этого цикла.

Как отмечали многие ученые-научники и логики (частности, Дж. Милль), не столь редки исследовательские ситуации, когда следствие ошибочно принимается за причину. Я думаю, что примерно так обстоит дело и с рассматриваемым «атомарным фактом». В какой-то момент он стал вариантом объяснения неординарной черты творчества Достоевского — его странной привязанности к нимфophilной теме. Объяснения столь же удобного, сколь и поверхностного. Очевидно, что рассматриваемый «атомарный факт» (рассказ в салоне А. П. Философовой) укладывается в большой ряд аналогичных литературных и внелитературных фактов из жизни писателя. Он способен лишний раз подтвердить, но никак не объяснить повышенный интерес Достоевского к феномену нимфophilии.

Что же касается возможных реальных причин и побудительных мотивов этого интереса, то размышления о них и стали предметом всего вышеизложенного.

## МЕЖДУ КОНОМ И ДОСТОЕВСКИМ

### *Реплика Виталию Свиццову*

*Сразу объяснюсь. Наш известный сексолог и «сексовоспитатель» Игорь Кон присутствует на страницах напечатанной выше статьи только однажды, в качестве эксперта по конкретному вопросу. Но его мировоззренческая тень витает и над некоторыми другими из этих страниц. Речь, конечно, пойдет о таких материях, как связь «пола» и «грехопадения». Что для Достоевского — узел трагедии («все болит около дерева жизни», — мог бы он повторить слова своего оппонента Константина Леонтьева), то для Кона — пережиток «доиндустриального прошлого» (выражение из его интервью), от которого человек должен быть освобожден во имя своего душевного и те-*

<sup>42</sup> «Устный рассказ Ф. М. Достоевского. (Из архива Е. Н. Опочинина). Публикация М. Одесской. — «Новый мир», 1992, № 8, стр. 213.

Сторонникам разного рода «концепций клеветы» неплохо бы попытаться ответить на простой вопрос: исключал ли себя Достоевский из числа тех, кого собирательно именуется «всяким человеком»?

лесного здоровья. Тут можно бы вместе с апостолом языков воскликнуть: «Какое согласие между Христом и Велиаром?» (прошу обе части аналогии понимать исключительно метафорически). Но Свинцов-то, на мой взгляд, неприметно для себя переходит с одних рельсов на другие, «коновские», и обратно, совершает перекодировку опорных для Достоевского понятий в иную ценностную систему, делая это, впрочем, непоследовательно, оставляя себе дорогу назад<sup>1</sup>.

Сильная сторона скрупулезного и ответственного текста В. Свинцова видится мне в том, что он убедительно опровергает действительно «плоскую» мысль, согласно которой самая болезненная и жгучая, лейтмотивная тема Достоевского (ей мы не в последнюю очередь обязаны словечком «достоевщина») может быть выведена единственно из некоего (подлинного или мнимого) эпизода — из отроческого впечатления от гибели поруганной девочки. Неужели отсюда, а не из глубин самопознания, не из погружения в пучину своего (нашего) душевно-телесного хаоса могла у него родиться притча о Смешном человеке, развратившем, растлившим целую планету? «...Семя тли во мне есть», — признает в одной из ежедневных молитв любой христианин. Смешной человек посеял это семя среди насельников райской планеты, взрослых детей, знавших любовь и деторождение, но не знавших прежде «звериного сладострастия», «красного паучка» (выражаясь языком исповеди Ставрогина), или «плотоугодия», — каковое слово представляется автору статьи этически нейтральным, а между тем, взятое Далем из церковно-аскетического лексикона, оно означает греховное подчинение высшего низшему.

Ребенок для Достоевского — существо в некотором роде сакральное, ангел его стоит перед престолом Господним, не потупляя глаз; проклятое «семя» в нем еще не проросло, и всегда остается надежда, что оно не даст буйных всходов. А потому растление ребенка — не просто нанесение «обиды», психического и физического ущерба; это страшное метафизическое преступление, сопоставимое с бого- или, по крайней мере, с англолюбием, буде таковое возможно. Эмоциональное вовлечение ребенка в этот акт, пробуждение в нем «сладострастия» не смягчает, как чудится Свинцову, а отягощает содеянное, делает его едва ли не ужаснее грубого насилия<sup>2</sup>. Опутанная «предрассудками» Матреша, которую Ставрогин не только поругал, но и «распалил» (как выразилась Настасья Филипповна насчет ее, шестнадцатилетней, растлителя Тоцкого), до времени уязвленная похотью и ревностью, — она-то понимает, что «Бога убил», и казнит себя, предрекая тот же конец своему губителю.

Но автору статьи нет дела до этих слов, дважды повторенных в исповеди Ставрогина. Нет особенного дела ни до самоубийства жертвы, ни до мотивов его (самый факт лишь косвенно упомянут). Мистика детской невинности, столь значимая для романиста, подменяется рассуждениями о проблематической возрастной границе, начиная с которой «можно». А сюжет «ставрогинского греха» плавно трансформируется в социально-дидактический сюжет «Бедной Лизы»: юная простолудинка, соблазненная и покинутая красавцем баринном.

Свинцов, являющий тонкость и пронизательность во многих иных отношениях, слеп к тому обстоятельству, что Ставрогин — прямой садист (порка, которой по его вине подверглась будущая жертва, вдвойне разжигает его; из садизма же, а только потом — из животного страха наказания он не заговаривает с бедняжкой, по-женски ждущей какого-то объяснения). Свинцов готов толковать о «здоровой мужской чувственности» там, где чувственность — насквозь больная и переходящая в бесчувственность. А между тем он прав, замечая, что Ставрогин, как и все центральные

<sup>1</sup> Примером может служить согласие автора с ракинским (а значит — «коновским») истолкованием эроса, влечения к красоте как влюбленности в «часть тела». — Напомню: «сладострастник» Митя Карамазов, обезумевший от Грушенькина «изгибчика», через страдание узнает любовь к Грушеньке как к лицу. Но, с другой стороны, Свинцов прибегает к слову «растлитель» во всей серьезности его значения: оно принадлежит к иной, нежели ракинская, системе понятий.

<sup>2</sup> Вряд ли Достоевский разграничивал оба вида преступления с такой юридической щепетильностью, как это делает Свинцов. В набросках к «Бесам» о протогерое романа говорится: «подлость с ребенком (изнасиловал)»; «из страсти к мучительству изнасиловал ребенка» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 11, стр. 153, 274). Сам же Свинцов ссылается на одно из этих упоминаний, впрочем, опуская слова о «страсти к мучительству», вошедшей в завершенный образ Ставрогина.

«злодеи» Достоевского, очень даже притягателен (Бердяеву, как известно, льстило, когда его в молодости сравнивали с Николаем Всеволодовичем): садистическая «ориентация» здесь — не судебно-психиатрический казус, а концентрированное проявление все того же «семени тли», присутствующего в каждом («я из сердца взял его»<sup>3</sup>), и это отбивает охоту судить Ставрогина внешним, моралистическим судом. Притом садистическая «мужская» практика Ставрогина незримыми нитями связана с политической практикой «бесов» романа, но разговор об этом был бы слишком долгим...

Остается сказать кое-что насчет предположения о реальной, биографической причастности Достоевского к «ставрогинскому греху» — статья Свинцова не позволяет уклониться от этой темы.

Мне кажется, Свинцов слишком небрежно — и даже тенденциозно — отнесся к предпринятой В. Н. Захаровым реконструкции происхождения этих слухов. Вдобавок, если в статье, опубликованной четыре года назад, наш автор называл версию «реальной» причастности — «наименее вероятной», в нынешнем тексте он продвинулся дальше по пути рискованных допущений. Между тем, если приурочивать мнимое происшествие с девочкой к 1870-м годам (как это делает Захаров, ссылаясь на фигурирующую в «анекдоте» Тургенева о признании ему Достоевского персону книготорговца Вольфа, который именно тогда знал с писателем), то для меня лучшим опровержением «версии» служат слова, сказанные Достоевским жене на смертном одре: «...не изменяя тебе никогда...» Кое-кто тут усмехнется, но я надеюсь, что не все.

Что касается аргумента, что не могли же быть клеветниками столько «добропорядочных» людей, передававших «слух» из уст в уста, то тут уж мой черед посмеяться. И обратить внимание автора на небезызвестную комедию «Горе от ума», где в жасatom виде продемонстрирована механика распространения такого рода слухов. Если автор статьи о Достоевском думает, что литературная среда, сколько бы в ней ни насчитывалось знаменитостей, в этом отношении сильно отличается от пресловутой фамусовской Москвы, он пребывает в приятном заблуждении. К тому же целому ряду известных лиц хотелось уверовать в «наименее вероятную версию» не по частным, а по идеологическим соображениям, важнейшее из которых — жаркая неприязнь к православию Достоевского (например, у Юрия Тынянова и Лидии Гинзбург, почему-то включенных Свинцовым в «доказательственную базу»).

Более того, если бы передать соответствующий материал в руки фольклориста, скажем, Веселовского или Проппа, он сразу бы отметил типичные для устного бытования любого сюжета метаморфозы отдельных мотивов главы «У Тихона», не раз публично читанной Достоевским до ее журнального отвержения. «Юродивый» архиерей «на спокойе», который находит для Ставрогина слова любви и ободрения, преобразовался в излишне мягкосердечного игумена, исповедаться у которого герою «анекдота» представляется чересчур легким наказанием. Намерение Ставрогина опубликовать свою исповедь, приняв поношение от ненавидимого им людского сообщества, превратилось в решение псевдо-Достоевского признаться в позоре злейшему врагу. И так далее. «Версия» отделилась от первоисточника даже меньше, чем это случается в фольклоре.

Если антропология Достоевского что-нибудь говорит Свинцову об изломах человеческого сердца, он должен согласиться, что люди, и даже самые почтенные, всегда будут охотно верить слухам такого свойства, рождающимся, что называется, «из банной сырости» (грибоедовской Софье поначалу стоило только обронить намек...), будут им верить и получать от них известное удовольствие. Так что Достоевскому от сонма «свидетельств» не отмыться. Что поделаешь.

*Ирина Роднянская.*

<sup>3</sup> Замечу: могли бы ли вырваться у Достоевского эти слова (из его письма М. Н. Каткову от 8/20 октября 1870 года), если б он сам был повинен в «ставрогинском грехе»? Думаю, тогда бы он удержался от столь прямодушного признания, опасаясь, что оно будет истолковано слишком буквально.



# Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

## ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ ИМПЕРИИ

Владимир Шапко. Берегите запретную зонку. — «Волга», Саратов, 1998, № 1;  
Владимир Шапко. Юная жизнь Марки Тюкова. Роман. — «День и ночь», Красноярск,  
1998, № 4-5.

**Н**а мой вкус, проза Владимира Шапко даже слишком стилистически роскошна, избыточна. Иногда он нанизывает сравнения, как мясо на шампур. От бесконечных «как» и «словно» начинает рябить в глазах:

«Запекшийся сосок Нелька удерживала меж двух пальцев, как удерживают меж пальцев обжигающий, дымящийся огрызок сигары. Вздрагивала от боли, когда Павлик прихватывал посылнее, но постепенно боль успокаивалась, текла где-то рядом, словно вскрытая из вены, пущенная в горячую воду ванны кровь...»

«Тополь блистал. Несмотря ни на что. Был невероятен в своем обличье. Как пропившийся вельможа в ободранном золотом камзоле...»

«Большой нос его тоже добро пошмыгивал, а волоски на голове походили на проволочные загнутые машины. Как если бы ими сено в деревне сгребать. На лошади...»

«Марка молчал. Он ощущал себя так. Он как будто навалил кучку, на нее слетелись мухи. Зеленые мухи. А он стоит рядом и наблюдает...»

«Сквер был подстрижен под бобрик. Как чай...»

«А поздно вечером над остывающим закатом позади темного притихшего барака — почти во весь горизонт — протянулся дымный, словно бы издохший крокодил. Кирпичные трубы под ним казались мелкими, игрушечными. И как обкурившаяся яга с беспомощной везущейся метлой, сквозь дым тащилась в противоположной стороне обдуренная луна...»

И это — всего на нескольких страницах. И это — далеко не все. Ведь не скажешь, что плохо. Напротив — смачно, вкусно, талантливо. Каждое сравнение замечательно «маринуется», но при этом «рассолом», к сожалению, оказывается весь остальной текст. Так получается...

И все-таки метафорическая избыточность прозы Владимира Шапко с лихвой искупается мощным ощущением художественно состоятельного и даже самоценного мира, который уверенной рукой сотворяет автор. Притом мир этот — не вымышленный, не сочиненный и не составленный из обрывков каких-то жизненных впечатлений. Нет, это очень цельный и органичный мир Краины Великой Империи, которая вся была (пока еще остается) одной громадной Краиной с экзистенциально-одиноким своим центром в виде города Москвы.

В романе «Юная жизнь Марки Тюкова» (вернее было бы назвать это произведение скромнее — повестью) показан мир детства поселкового мальчика, живущего со своей доброй, но шалопутной матерью и без отца. Отец («дядя Папа») иногда возникает на горизонте, и этот эпизодический вроде бы образ можно признать одной из главных художественных находок прозаика:

«Новый выходной костюм Филиппа Петровича в пожарном длинном рукаве имел вид тарантула. Ноги в белых носках и мокасинах походили на перебинтованные кирки. Филипп Петрович был сельский интеллигент. Он был зоотехник. Шляпа, понятное дело. Галстук, как вожжи... вот приехал, что называется... Встретили... „Дядя Папа!“»

Впрочем, в романе Шапко почти все персонажи сами по себе и в отдельности — великолепны. Мало того, что они мгновенно узнаваемы (это еще не великое достижение); но за каждой такой «узнаваемостью» автор обязательно представляет еще и второе психологическое «дно», что тотчас снимает с его образов налет очерковой поверхностности, которой грешат почти все прозаики, пишущие на провинциальную тему. Скажем, Филипп Петрович — фигура не только забавная, но и глубоко драматическая. За личиной «интеллигента в белых носках» скрывается остро переживающий свою вину перед сыном и в то же время стыдящийся его «на

людях» человек. Он смешон, но и трогателен. Он виноват, но и обманут жизнью. Он показан жестко, но не жестоко.

И все же проза Шапко не только метафорически, но и физиологически избыточна. Этим она напоминает о советской прозе 20-х годов, которая мне лично — в целомном впечатлении — не нравится, даже неприятна. От большинства страниц Бабеля или Вс. Иванова остается такое чувство, будто писатели застали мир и человека не в конце шестого дня творения, а на каком-то промежуточном этапе, когда мир был еще, грубо говоря, недоделан, когда уже торчали ноги, но еще не было рук и проч. Совершенное творение не различается в своих частях, деталях. Оно является собой законченный образ, от которого нельзя отщипывать по кусочкам.

В прозе Владимира Шапко мир советской Окраины находится не в процессе творения, но в процессе распада, разложения. И вот — тот же художественный результат, что и в «физиологической» прозе 20-х годов, о которой, на примере Вс. Иванова, Евгений Замятин писал: «Чтобы Вс. Иванов много думал — пока не похоже: он больше нюхает. Никто из писателей русских до сих пор не писал стелько ноздрями, как Вс. Иванов. Он обнюхивает все без разбору, у него запахи: „штанов, мокрых от пота“, „пахнувших мочой Димитриевых от“, псины, гниющего навоза, грибов, льда, мыла, золы, кумыса, табаку, самогона, „людского убожества“ — каталог можно продолжать без конца» («Новая русская проза»).

(Впрочем, упрек в «недуманьи» — неоснователен. Проза, конечно, требует «мыслей и мыслей», но не явленных прямо, а остающихся как бы за кадром. И тот факт, что проза Вс. Иванова или Владимира Шапко способна вызывать далеко идущие мысли у критика, лучше всего доказывает ее «небездумность». Ее фило-софскую начинку.)

В 20-е годы казалось: вот сотворится Новый Мир. Вот он лепится из крови и грязи и будет преподнесен как подарочек будущим поколениям. В прозе Владимира Шапко этот Новый Мир разлагается, потому что оказался нежизнеспособен; забыли в нем сотворить какие-то важные внутренние органы, зато помпезно вылепили фасадную сторону. И — странно: все тот же художественный результат! Нет, разумеется — не идентичный. Но очень близкий в эстетической плоскости.

Почему это так? Почему создание и распад так физиологически похожи, в отличие от рождения и смерти? Вероятно, потому, что механистичны. Детали, детали, детали, будто части какой-то громадной машины, которая работала, работала, работала и вдруг — бац! — заскрежетала, стала ломаться, сыпаться. Но еще более странно, что в этом распаде громадной машины тоже, оказывается, есть своя органичность, своя художественная значительность. Энтропия, оказывается, не так кошмарна и безнадежна, как предрекал Конст. Леонтьев. В ней есть своя красота, свои «цветы запоздалые», что блистательно и доказывает проза Владимира Шапко. И эти «цветы» не только его персонажи, странные, искореженные, придурковатые, а все-таки восхитительно-живые, — но и весь, если угодно, материальный антураж с ароматом его разложения. Оказывается, за советские годы, в железных клещах коммунизма, было тем не менее накоплено столько жизненной силы, столько запущенной до великолепного безобразия эстетики, что и само разложение стало эстетическим феноменом. Иначе откуда взялась бы такая цветастая проза?

Повесть в рассказах «Берегите запретную зонку» о быте семьи крупного казахского начальника (русского) поразительным образом отсылает к усадебной прозе XIX века. Не к «Дворянскому гнезду», но скорее к «Старосветским помещикам». И понимаешь, что все описываемое — гадко, что перед нами не помещик, а коммунистический вассал, глубоко презирающий землю и людей, которыми он правит. А все-таки увлекаешься деталями, психологическими нюансами.

Вот — интересно читать!

По-настоящему же гадко становится именно в конце, когда дочка вассала переехала в Москву, стала какой-то депутатшей (доносится тонкий запах перестройки и гласности), берет взятки, но не так, как ее отец — широко, по-барски, с господским хамством и подхалимничаньем зависимых, — а мелко-мелко, тихо-тихо — от «лиц кавказской национальности», желающих устроиться в Москве.

И — замечательная деталь! — которая безусловно показывает, что Владимир Шапко — художник яркий, незаурядный: в Москве дочка продолжает грызть по вечерам семечки, как в детстве, в отцовской усадьбе. Но если в детстве это делалось смачно, у всех на виду, с грузной шелухой под нижней губой, то теперь — тайно, запершись в комнате и выбрасывая по утрам туго завернутые сверточки с шелухой в мусорный контейнер (опять же у всех на виду, но чтобы никто не догадался). Какая, подумаешь, мелочь! но как она точно отражает психологический слом в персонаже...

Нет, Владимир Шапко вовсе не воспеваает Империю. Отстраненно взглянув на то, что он описывает, скажем, в романе «Юная жизнь Марки Тюкова» (весь этот барачный смрад, неустроенность, незащитность человеческая), понимаешь, что *так жить нельзя*. Но в то же время понимаешь, что *именно так жили*. Так, а не как-то иначе. И это, хотим мы того или нет, и есть наше нравственное и эстетическое Отечество. Наши, увы, «Петербургские зимы». Другого Отечества нам не дано. И в обозримых пределах нынче действующих художественных поколений и не будет дано.

И пускай символом этого Отечества останется не Медный Всадник, не Адмиралтейская Игла, а всего лишь (см. выше) Издохший Крокодил, но, как писал поэт, «и такой, моя Россия...». И проч.

Павел БАСИНСКИЙ.

\*

## ОБРЕЧЕННЫЙ РАЗГОВАРИВАТЬ С ЛЮДЬМИ

Франц Кафка. Дневники. Перевод с немецкого Е. А. Кацевой. М., «Аграф», 1998, 445 стр.

**Ч**тение дневника сходно с подглядыванием в замочную скважину, особенно когда пишется он без интересничанья, самолюбования и кокетства, когда пишущий не отбегает на несколько шагов, профессионально прищулив глаз, чтобы оценить, как выглядит его «внутренний мир» со стороны, где подмалевать погуще, поэффектней. В случае с Кафкой испытываешь неловкость, поскольку сразу понимаешь, что его дневники для чтения не предназначались, и внутренне бунтуешь против этой безыскусности, педантичной беспощадности к себе и небрежения читателем. Но постепенно, смирившись с отсутствием литературных условностей, понимаешь, что дневник для Кафки — самый органичный жанр, в сущности, обретение приема, где не нужно выдумывать героев, выстраивать их взаимоотношения, громоздить конструкции и идеи, где всё — о себе и ты — главный герой, исходящий из самодостаточности личного опыта. «Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое», — запись от 6 августа 1914 года. Разобраться в Кафке, не заглянув в отгороженное им для себя дневниками пространство, нельзя, так дети разглядывают жука в спичечной коробке, и если жук страдает агорафобией, то его тюремная камера — его крепость.

Стилистика дневника больше всего напоминает немое кино: дата — рамка кадра и дальше — бесконечные зарисовки быстро сменяющих друг друга действий, вдруг прерываемых титрами типа «Жалкий я человек!» или «Что за ужас!». Любопытно, что во внешнем мире Кафку привлекает его механическое проявление, возможно, как наиболее агрессивное, он не любит обобщать или отпускать психологические замечания, он не желает одушевлять окружающих, но лишь точно описывает совершаемое ими, подыскивая в памяти сходное движение, с которым увиденное можно сравнить. Так описание становится образом тем более точным, что подтверждено оно сравнением: «На вокзале танцует гусар в зашнурованной меховой куртке, переступая ногами, как выставленный напоказ конь», — или: «Пожилые супруги, прощающиеся со слезами на глазах. Бессмысленно повторяемые бессчетные поцелуи — так в отчаянии, не отдавая себе отчета, все время хватаются за сигарету».

Кафка обходится без цвета, цвет появляется только при описании его снов. Черно-белый шевелящийся мир манит и угрожает, но существует отдельно от мира, спрятанного под оболочкой тела. А само тело, это раздираемое двумя мирами пограничье, становится источником физической боли, к нему надо звать в тщетной попытке образумить. «Эта четкая отграниченность человеческого тела ужасна». Тело смертно и заставляет думать о смерти: «...кончик носа старой женщины с почти еще молодой тугой кожей. Значит, на кончике носа и кончается молодость и там начинается смерть?» И, наконец, мир, kloчущий под телесной оболочкой, главные действующие лица которого — плохие мысли, предчувствия, страхи и сны.

Топография (или космогония) примерно такая: окружающий мир, обрисованный по возможности объективно, но рассыпающийся на кусочки, поскольку нет задачи увязать все со всем и нет единой идеи, вчитываемой в его проявления, — фрагментарность этих набросков соответствует дневниковому жанру, но их можно использовать как строительный материал при сооружении жанра более стройного; тело, его тяжесть, неуправляемость, доставляемые им страдания, среди которых бессонница и похоть, — лейтмотив почти всех произведений Кафки; и, наконец, непропорционально разросшееся нутро, не слишком защищенное вероломным телом, — главная тема Кафки-писателя. Именно здесь помещается центр, а заодно и точка отсчета, — на схеме все это соответствовало бы трем концентрическим окружностям. Главное правило — не переступить границу: «Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечаю следующее: я лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его». Художественное воплощение эта фраза получила в рассказе «Нора», где герой в ожидании скорее всего несуществующих врагов все глубже забивается в нору, укрываясь от мнимой опасности; смыслом его жизни становится отгораживание себя от тревожащего мира. Самоутешение Кафки, якобы «каждый человек безвозвратно потерял в самом себе», — и страх перед возможностью замкнуться на самом себе, утратить «отверстие, через которое ты впадаешь в мир». Существование на трепещущей грани между обычной жизнью и кажущимся более реальным ужасом. Попытка бегства в отвоеванное у мира пространство и осознание этого пространства (или собственной) невыносимости, «ибо спастись бегством нельзя нигде».

Эта невозможность слияния с миром, явленном в виде семьи, службы, женщины, друга, общины, и определяет конфликт и темы дневников. «Лишь насилие жизни ощущаю я». Кафка как может пытается сдерживать натиск надвигающегося «чужого», замахнувшегося на пяточок его свободы. Он впускает в себя несчастья, ибо по-настоящему чувствует себя только тогда, когда «невыносимо несчастен». Он сознательно выбирает проигрышную позицию, его несчастье — страх, а счастье — недостижимое бесстрашие. Он вслушивается, как в стену его комнаты снаружи вбивают гвозди, и считает невозможным рассуждать о справедливости и несправедливости в «преисполненной отчаяния жизни. Достаточно уже того, что стрелы точно подходят к ранам, нанесенным ими». Сознательный выбор слабой позиции, декларируемой в дневниках («меня не отпугивает никакое унижение»), лучше всего представлен в «Превращении», где герой по воле автора превращается в черного жука. Метаморфоза совсем не произвольная, если учесть, что «кафка» по-чешски означает «галка» и птица эта была торговой эмблемой магазина Германа Кафки — отца писателя. Это не просто самоуничижение, это определение (или выбор) своего места в иерархии: ты с теми, кто будет слопан. Тема взаимоотношений с отцом, сестрами и матерью занимает большое место на страницах дневников, но суть их передана в «Превращении» и «Письме отцу». Сближения не получалось, Кафка занял пограничную зону между одиночеством и общением и обосновался там более прочно, чем в самом одиночестве. «Каким живым, прекрасным местом был по сравнению с этим остров Робинзона».

Следующая тема — решение того же конфликта: отвоевывание личной свободы у мира, но явленного на сей раз в образе женщины. Конкретнее — в образе Фелицы Бауэр, с которой Кафка дважды был помолвлен и дважды эти помолвки расторгал. Помолвки предшествовали выписанная из Талмуда цитата «Мужчина

без женщины не человек» и размышления об одиночестве, которое «могущественней всего и гонит человека обратно к людям»; разрывам — перечень всего, что говорит против женитьбы, среди прочего под пунктом пятым: «Страх перед соединением, слиянием. После этого я никогда больше не смогу быть один», — и запись: «Коитус как кара за счастье быть вместе». Расторжение первой помолвки названо в дневнике «судилищем в отеле», прощальное письмо родителям невесты — «речью с места казни», — в тот же год Кафка пишет роман «Процесс», художественно перетолковывая произошедшее с ним. Как позже его роман с Миленой Есенской, проговоренный в «Письмах Милене», воплотится в «Замок».

Еще один противник, от которого Кафка вынужден обороняться, — его служба. Его мучили вынужденные перерывы в писательской работе: «Я погибну из-за службы», «Мысли о фабрике — это мой бесконечный Судный день». Со службой он так и не расстался: боялся впасть в зависимость от литературного труда, не мог круглые сутки фантазировать «с различными вывертами» на тему «я несчастен», ибо писание беспомощно, оно — «забава и отчаяние» и к тому же усиливает грусть. Но ради него он отгораживается от мира «даже не как отшельник, но как мертвец», поскольку все, что он сделал, — плод «только одиночества», из-за него он боится выходить из дома, из-за него он не раскрывает окон, ибо «будешь видеть лишь пустоту, искать по всем углам — и не найдешь себя», из-за него он в семье «более чужой, чем чужак», но благодаря писанию ни брак, ни служба не могут изменить его: «...писать — это моя борьба за самосохранение». Попытка выстроить свой, эстетически выверенный мир, программное следование Флоберу, поиск абсолюта — все это у Кафки приобретает характер религиозного устремления; не захваченный иудаизмом, он все свои эмоциональные силы обращает в литературу. Кстати, он создает собственную теорию о том, что только множество чертей может составить наше земное несчастье, и описывает пять ведущих принципов для ада.

Кого же Кафка впускает в отвоєванное для работы пространство? Героев своих сновидений и собратьев по перу. Его мир совсем не музыкален, он упоминает лишь несколько картин, виденных им в Лувре, в молодости он был увлечен еврейским театром, но занимали его по большей части актрисы, всякое общение его тяготит, но среди его постоянных «собеседников» Гёте, Флобер, Кьеркегор. Он постоянно обращается к Ветхому Завету и говорит о «безграничной притягательной силе России», подробно, по пунктам, он разбирает ошибки, допущенные Наполеоном в войне с Россией, и постоянно возвращается к русским писателям. В компании Достоевского, Толстого и Герцена неожиданно оказывается Михаил Кузмин. Выписки из его «Подвигов великого Александра», названные Кафкой достопримечательностями, демонстрируют технику сюрреализма на библейском материале. Ассоциация, возникающая по логике сна, когда несочетаемые образы воспринимаются как мысль, а чувство получает свое воплощение и становится идеей, — способ мышления Кафки. Возможно, в монструозных образах Кузмина его удивила бутафорность ужаса, его театральность, а значит, неподлинность.

Но главное место в мире Кафки занимает собственный дневник. Он его «утешение в боли», к нему он возвращается, неоднократно перечитывает. Дневник — разрешение его «беспричинной потребности кому-то довериться», прибежище для того, кто «при жизни не в силах справиться с жизнью», его обязанность заниматься самонаблюдением: «...если за мною кто-то наблюдает, я, естественно, тоже должен наблюдать за собой, если же никто другой не наблюдает за мною, тем внимательнее я должен наблюдать за собой сам». И тут же уговаривает себя не гоняться, как собака за собственным хвостом, понимая, что, «если слишком интенсивно познавать свои границы, взорвешься». Дневник он пишет, когда не в силах писать прозу, но испытывает в этом потребность. Именно поэтому для него «вопрос о дневнике вместе с тем и вопрос о целом», о собственной целостности, это его возможность уцелеть, не совершить прыжок из окна, не стать «текущей вспять рекой», избавиться от своей «слишком большой тени», преодолеть боязнь при писании. Ведь «каждое слово, повернутое рукою духов... становится копьем, обращенным против говорящего. ...Но вот что больше чем утешение: у тебя тоже есть оружие». Это последняя фраза в «Дневниках», и, может быть, под оружием Кафка

имел в виду слова, которые духи не в силах обратить против него, ибо слова эти не придуманы, а выстраданы и все они принадлежат его дневнику.

Возможность впервые познакомиться с полным вариантом «Дневников» Кафки русский читатель получил благодаря самоотверженной — не только переводческой, но и текстологической — работе Е. А. Кацевой. Книга эта, появившаяся в русском переводе на исходе века, наверное, лучше любой другой дает представление о психологии человека уходящего столетия.

Елена КАСАТКИНА.

\*

### «СЕКРЕТ ПРИЯТНОГО СТИЛЯ»

М. Кузмин. Дневник 1934 года. Под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями Глеба Морева. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998, 416 стр.

Из всех «подпольных» русских классиков начала XX века, не издававшихся и не замечавшихся на протяжении многих десятилетий, Михаил Алексеевич Кузмин вошел в современный культурный обиход, пожалуй, с особенной наглядностью. Увидели свет несколько сборников его произведений, в том числе основательно подготовленное Н. А. Богомоловым издание «Стихотворений» в «Новой Библиотеке поэта», появились первые книги о Кузмине, а также множество статей и публикаций в периодике (приоритет в этом деле по праву принадлежит «Новому литературному обозрению»). Если учесть, что прежде в кругах несоветской советской интеллигенции Кузмин, в отличие от Цветаевой, Мандельштама или Ахматовой, никогда не был «культовой», знаковой фигурой, то можно говорить о подлинном открытии этого мастера в последние годы.

Дневник, который изо дня в день вел Кузмин на протяжении трех десятилетий, — пожалуй, самое легендарное из его созданий. Легендарное прежде всего по причине своей долгой недосыгаемости для читателя: к «специальному хранению» в архиве он не был приговорен, однако упорно не выдавался даже самым «узким специалистам» (видимо, угадываемые в тексте соблазны гомосексуального просвещения представлялись отечественным церберам не менее подрывными для основ, чем бесцензурные высказывания по адресу правящего режима). Осуществленные в последние годы публикации различных фрагментов «Дневника» — избранных как по хронологическому, так и по тематическому принципу — никаких потрясений в общественном сознании, естественно, не произвели; если и могли они поразить современного ко всему притерпевшегося читателя, то скорее сдержанностью и сугубой целомудренностью автора при описании своих житейских обстоятельств. Для сосредоточенного же хроникера событий давно минувших лет эти записи бесценны — и не только обилием информации о жизни Кузмина и его современников — знаменитых, малоизвестных и совершенно безвестных, — но и своей всецелой погруженностью в «вещный мир»: поступь истории в них избавлена от всякой величавости, она на каждом шагу спотыкается о быт и поверяется бытом. «Дух мелочей, прелестных и воздушных», ставший своего рода опознавательным знаком ранних поэтических книг Кузмина, властвует надо всем и в его дневниковых записях, хотя регистрируемые в них мелочи очень часто лишены всякой прелести, а «воздушное» начало сплошь и рядом уживается с брутальной земной силой.

Ореолом легенды был овеван и «Дневник 1934 года» — единственный из уцелевших кузминских дневников, отколовшийся от основного собрания, избежавший многолетнего заключения в государственном архиве, но от этого не ставший более доступным (впервые о его существовании «по большому секрету» мне довелось услышать еще в конце 60-х годов от профессора Ленинградского университета А. И. Доватура). От О. Н. Гильдебрандт, сумевшей сохранить в годы террора машинописную копию дневника, снятую с утраченного оригинала, текст прошел через руки еще нескольких держателей, после чего поступил в собрание Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Теперь его при желании может прочесть каждый.

При этом Издательство Ивана Лимбаха в очередной раз сумело должным образом позаботиться о тех читателях, которые ценят книгу не только как словесный ряд определенного содержания, переданный печатными знаками, но и как некий художественно-полиграфический феномен, разительно отличающий законное гутенберговское детище от догутенберговских и постгутенберговских способов сохранения вербальной информации.

Внешняя отделенность «Дневника 1934 года» от кузминских дневников за другие годы — лишь одна из причин, объясняющих его публикацию отдельным изданием. Другая, и не менее важная, заключается в особой жанровой природе этого текста. Прежняя структура, тематика и стилистика дневниковых записей здесь меняются. Преобладавшие ранее сведения о каждодневных событиях, встречах и переживаниях (зафиксированные с отменным артистизмом: еще Вячеслав Иванов, один из первых читателей «Дневника», отметил ведомый его автору «почти забытый теперь секрет приятного стиля») перемежаются мемуарными вкраплениями и пробами художественной прозы — короткими и вполне суверенными фрагментами, своего рода бессюжетными микроновеллами, аналогию которым можно усмотреть разве что в «Опавших листьях» Розанова. Дневник, таким образом, превращается в рабочую тетрадь — единственную форму творческого самовыражения, которую у Кузмина еще не могли отнять. Являя собою в дни проведения Первого съезда советских писателей (лишь мимоходом упомянутого в августовских записях) вопиющий анахронизм, Кузмин был приемлем в литературной жизни той поры лишь в амплу переводчика, зарабатывал на жизнь Шекспиром и Мериме; вынашивавший им тогда замысел новой книги стихов «Урок ручья», безусловно, не имел никаких определенных издательских перспектив.

В этой ситуации «Дневник» дарует ему каждодневную возможность несмотря ни на что ощущать себя писателем, творить литературу. И «Дневник» включает образцы литературы — блистательной. Это и воспоминания детства, единственный в своем роде источник сведений о той поре жизни Кузмина, о которой до сих пор почти ничего не было известно. Это и цикл фрагментов, посвященных «башне» Вячеслава Иванова: драгоценные сведения ее завсегдагая, богатые колоритными подробностями и небеспристрастными характеристиками. Наконец, это собственно прозаические этюды, описательные и аналитические. Вот, к примеру, один из них: «Пруд у тр.м. Жасмин уже отцвел, но все-таки сад утром производит роскошное впечатление. И пруд через раму густых деревьев кажется серебряной, туманной идиллией, буколичкой с ивами, стадами, селекционными лугами, купальщиками и прохожими, которые издали кажутся более крупными, а главное, более длинноногими, и эти утренние лучи солнца, имеющие прелесть вечерних, которой почти совсем лишены дневные!» В «Дневнике» — россыпи подобных набросков, показывающих, какого уровня могла достичь проза Кузмина, если бы ей были обеспечены условия для недневникового воплощения; и в этих же набросках ощущимо сказывается живая преемственная связь с кузминскими опытами в прозе начала 20-х годов — с такими новеллами, сложными из относительно самостоятельных повествовательных монад, как «Из записок Тивуртия Пенцля» или «Голубое ничто».

Ходовая в филологических кругах чеховская ироническая сентенция: «Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему» — невольно всплывает в памяти в ходе знакомства с комментариями Глеба Морева к «Дневнику» и документальным приложениям к нему (тексты О. Н. Гильдебрандт), занимающими более половины всего корпуса книги. Применительно к отдельным дневниковым записям соотношение объемов текста и комментария еще более выразительное: например, первая кузминская запись, от 16 мая 1934 года, занимающая полстраницы, имеет десять редакторских примечаний, умещающихся на шести страницах. Налицо последовательное стремление продолжить и развить ту комментаторскую традицию, которая сложилась в 70-е годы применительно к публикациям неизданных текстов писателей-модернистов начала XX века. Принеся в свое время сильную дань становлению этой традиции, с большой долей уверенности отмечу, что такое комментаторское полководье было далеко не всегда обусловлено потребностью сделать текст более понятным для читателя: руководствуясь подобной це-

лью, сплошь и рядом можно было бы ограничиться весьма лапидарными и элементарными пояснениями. В те годы, однако, возможности печатания авторов из круга, к которому принадлежал Кузмин, были сопряжены с массой ограничений и вообще открывались нечасто, а когда открывались, то публикатору трудно было удержаться от соблазна сопроводить предлагаемые читателю тексты разнообразными примыкающими к ним документальными материалами, извлеченными из архивов или малодоступных печатных источников. Немногочисленные «признанные» модернисты — и прежде всего Блок и Брюсов — нередко выступали тогда в функции паровоза, с усердием тащившего за собой многовагонный состав; состав этот был загружен лицами иногда предосудительного толка, в связях с которыми оказались замеченными классики, дозволенные начальством к всестороннему изучению. Самым монументальным памятником этой эдиционно-комментаторской технологии стал 92-й, блоковский, том «Литературного наследства», выпущенный в пяти объемистых книгах; в большинстве своем материалы, в нем помещенные, характеризуют взаимоотношения поэта с его современниками и дают достаточно подробную экспозицию жизни и творческой деятельности этих современников — может быть, избыточную применительно к вводимым в оборот неизданным текстам Блока, но существенную для освоения и осмысления целой культурной эпохи.

В наши дни на широком бесцензурном просторе Глеб Морев с исключительным тщанием продолжает утверждать ту же комментаторскую доминанту. Его примечания к «Дневнику» подробны и доскональны, основаны на использовании максимально широкого круга документальных источников, но при этом отнюдь не избыточны. Для ответственного и профессионального публикатора кузминский текст — из числа самых сложных и трудоемких. «Дневник» заполнялся без расчета на восприятие и понимание стороннего читателя (Кузмин, правда, показывал его кое-кому из своих знакомых, но это были люди из самого близкого круга, которые в дополнительных разъяснениях не нуждались.) В нем фигурируют десятки лиц, иногда обозначенных условно или названных только по имени, и лишь небольшая часть этих лиц оставила более или менее заметный след в истории отечественной культуры; преобладают же среди персонажей «Дневника» младшие современники Кузмина — люди, не сумевшие полностью себя выразить в ту жестокую эпоху или физически загубленные ею; упоминаются в нем и вполне рядовые питерские жители.

Разбираясь с этим сонмом фигур, Глеб Морев добился почти невозможного. Он сумел, например, предположить, что мимоходом упоминаемый Яша — это «Яков Адольфович Бронштейн — инженер, „ближайший друг всех... писателей и артистов” (Ходотов в Н. Н. Близкое — далекое. Л. — М., 1962, стр. 175)», а некто Рабинович — именно «Рабинович Александр Семенович (1900 — 1943) — редактор Музгиза, с 1933 года преподаватель Ленинградской консерватории»; сумел пояснить, что знакомые Кузмина Гоголицыны — это «Дмитрий Прокофьевич Гоголицын, его жена Екатерина Александровна Чернова (? — 1966) и ее сын Андрей (репрессирован в 1940 — 1941 годах)», а «Анны Ивановны Павлушка» — «Павел Александрович Толстов (1904 — 1959) — знакомый А. И. Бекенской, в 1934 году студент, а впоследствии преподаватель Ленинградской консерватории». Конечно, и в деле идентификации подобных персонажей «Дневника» еще открываются возможности для совершенствования; комментатору в ряде случаев приходится капризулировать перед текстом и ограничиваться в именном указателе формулировками типа «Андр. Ал., знакомый Кузмина» или «Валентина Сергеевна, знакомая Кузмина», — но «проницательному читателю» ясно, что такие аттестации возникли лишь в итоге кропотливых изысканий, не давших положительного результата. Что же касается имен известных, проходящих по тексту «Дневника», то составитель примечаний в соответствующих справках о них стремится с необходимой подробностью и конкретностью зафиксировать все более или менее существенные сведения о взаимоотношениях данного лица с Кузминым. Тем самым примечания разрастаются в небольшие фактографические и библиографические этюды на темы «Кузмин и Вагинов», «Кузмин и А. Н. Толстой», «Кузмин и Гумилев», «Кузмин и Розанов», «Кузмин и Андрей Белый» и т. д.



Разумеется, упорному педанту, пекущемуся о неукоснительной точности во всем, найдется чем поживиться и в этой книге. Становясь в такую позу, можно отметить некорректность определения «роман» применительно к художественно-документальным биографиям Микеланджело и Бетховена, написанным Ромелом Ролланом (стр. 230), неверную датировку романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (стр. 301), неверные инициалы переводчика «Илиады» Н. И. Гнедича (стр. 257, 392), избыточность — при комментировании попутного упоминания в тексте о «дамах Брюсова» — указания на Н. Г. Львову и Е. А. Сырейшикову (стр. 255): эти дамы принадлежали исключительно к московскому окружению Брюсова, Кузмин едва ли мог конкретно подразумевать именно их; однако ряд подобных претензий и исправлений — часто на уровне исправлений опечаток — будет не слишком протяженным. В целом же, выражаясь высокопарно, комментарий Глеба Морева — событие: он будет насущно необходим всем, кто выказывает серьезный интерес ко «второй», неофициальной, параллельной, культуре 20 — 30-х годов. А по «низовому», бытовому определению одного из кропотливейших и просвещеннейших комментаторов — это вкусный комментарий. Кстати сказать, и в плане отражения ушедшего быта, повседневных реалий — часто бесследно ускользающих из исторической памяти — примечания к «Дневнику» остаются на высоте. Например, в напечатанном тексте кузминского дневника за 1921 год (публикация Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина) остались непроясненными слова: «Юр. купил чаю (!! ) и растратился. Я страшно обрадовался, а он оказался копорским» («Минувшее». Исторический альманах. 12. Paris, 1991, стр. 460); тот же продукт упоминается Кузминым и в записях за 1934 год. Г. Морев комментирует: «Копорский чай — поддельный чай, изготовленный из растения иван-чай (по названию села Копорье, Петербургской губернии / Ленинградской обл.)». Так что не забыт и копорский чай!

А. В. ЛАВРОВ.

С.-Петербург.

\*

## «ПИСЬМА К БЛИЖНИМ» — И ДАЛЬНИМ

М. О. Меньшиков. Выше свободы. М., «Современный писатель», 1998, 463 стр.

**П**ублицист — что за профессия? Действительно, чаще всего публицистика — это род прикладной деятельности писателей, мыслителей, литературных критиков, редакторов повременных изданий и журналистов. Гражданский темперамент («не могу молчать») заставляет их высказываться напрямую по жгучим вопросам современности в надежде повлиять на события и сознание соотечественников. Публицистика требует повышенной энергии изложения (что не надо путать с патетикой, необходимой оратору), повышенной эмоциональной отдачей автора — тексту. Следовательно, ее, как говорится, по определению не может быть много; превращаться в профессию она вроде бы не должна.

Вот почему крупных профессиональных публицистов в отечественных анналах мало. Ведь публицист должен совмещать в себе сразу несколько дарований — от политического до полемического и философского — и при этом оставаться именно публицистом. Сложнейшее дело — регулярно «самовоспроизводиться» не повторяясь, за десятилетия не наскучить читателям, а, наоборот, писать так, чтобы твоего здравого голоса они с нетерпением ждали. Приплюсуйте сюда бесстрашие, необходимое бескорыстному публицисту даже более, чем писателю. Писатель за счет искусства может взять в полон и души тех, кто идейно с ним не согласен. Публицисту рассчитывать на обаяние искусства не приходится. А приходится идти порой и против власти, и против общественного мнения, формируемого исподволь идеологами, теми, кого Лесков называл «леволиберальная жандармерия». При этом публицисту надо быть немного и педагогом, пытаться не отшатнуть, а переубедить и приблизить.

Михаил Осипович Меньшиков (1859 — 1918) был именно таким публицистом. И, как теперь выясняется, его публицистика в суворинском «Новом времени», вроде бы прочно привязанная к моменту, на деле оказывается — в значительной своей части — актуальной и посегодняя. «Письма к ближним», которые в течение шестнадцати лет писал почти ежедневно Меньшиков, на деле адресованы не только «ближним» современникам, но и «ближним» потомкам, — во всяком случае тем, кто озабочен выработкой мировоззрения.

То, что у Меньшикова принадлежит к, так сказать, «биологическому национализму», блекнет и уже не кажется раздражающей яркой тряпкой. Зато, повторяю, актуализируется другой, и главный, пласт его публицистической мысли: органический синтез государственного — с гражданским, нравственного — с эстетическим, идеального — со здоровым смыслом. Из двух с лишним тысяч его вышеупомянутых «Писем к ближним» ныне републикована лишь их малая толика да страшный дневник 1918 года — вплоть до записей прямо накануне расстрела (чекистской шайкой на берегу Валдая, на глазах у детей)<sup>1</sup>. «Письма» надобно издать полностью, как изданы, например, теперь «Наши задачи» И. Ильина. Сборник же с выразительным названием «Выше свободы» — «избранное» Меньшикова: подборка работ, сделанная его внуком М. Б. Пospelовым при участии дочери писателя О. М. Меньшиковой.

...«Безумие думать, — писал Меньшиков, — что гражданская «свобода» состоит в свободе зла. О каких бы свободах ни шла речь, во всех случаях подразумевается свобода добра. Правительство не может не возбуждая бунта разрешить одинаково добро и зло: только первому должен быть дан простор, со вторым же оно должно вести непрерывную и беспощадную борьбу. Это функция власти. Не выполняя ее, она не власть».

Но, стоя на столь «консервативной», не «плюралистичной» позиции, Меньшиков отнюдь не был «упертым» догматиком. Да, консерватор (так же, как Леонтьев, Страхов и ряд других — по меткому определению Розанова — «литературных изгнанников»), но вовсе не ретроград. В примечательном этюде о Победоносцеве «Сухое сердце» Меньшиков отмечает: «Странное дело! — этот попович, сделавший диктатором церкви, напоминает передовых поповичей-критиков, например Чернышевского, только переведенных на задний ход. Давно замечено, что из детей священников вышли самые глубокие нигилисты. Радикальному нигилизму совершенно отвечает нигилизм ретроградный. Когда г. Победоносцев принимался за парламент, свободу печати, суд присяжных и т. п., он давил и мял все эти новшества с неотразимой логикой, но давил как медведь орехи: не умея отделить ядра от шелухи. ...Все хорошее, положительное оставалось у него безжизненным. Раз вылилось на бумагу, он бросал вопрос, считал поконченным»<sup>2</sup>.

...Думая о дореволюционной России за книгой Меньшикова, еще и еще раз спрашиваешь себя: почему *либеральный консерватизм*, давший драгоценнейшие плоды в литературе и отчасти в философии, не состоялся в ней политически, что и привело к революции. Почему власть не умела твердо занять именно такую здоровую мировоззренческую позицию, судорожно балансируя между бюрократической рутинной и нелепыми репрессиями (часто по отношению именно к *своим* идейным союзникам вроде И. С. Аксакова), с одной стороны, и обреченной расслабленностью перед радикализмом — с другой? Монархия так и не нашла нужного, меткого и твердого тона во взаимоотношениях с обществом. В частности, с обществом культурным, с немалой частью которого и диалог, и сотрудничество долгое время были вполне возможны. Ведь «освободительная» одержимость овладела им вовсе не сразу, да и не целиком.

Вспоминая Каткова, Меньшиков утверждал, что тот «имел мужество заговорить языком свободного гражданина с тем достоинством, которое обезоруживало тогдашнюю власть. ...Он боролся на два фронта, как, впрочем, и все великие бор-

<sup>1</sup> Меньшиков М. О. Дневник 1918 года. — В сб.: «Российский архив» Вып. IV. М., «Студия „ТРИТЭ“», 1993.

<sup>2</sup> См., например, статьи Победоносцева в книге «Церковь и демократия» (М., «Отчий дом», 1996).

цы в области мысли. Сражаясь против крайностей демократизма, Катков ополчился столь же пламенно и против выродившегося тогда нашего полицейского бюрократизма».

Эта характеристика вполне применима и к самому М. О. Меньшикову.

Подобно Данилевскому, а отчасти и Страхову, и Леонтьеву, Меньшиков был «естественник» — в том смысле, что мировую историческую космогонию понимал не столько «гуманитарно», сколько природно. У наших консерваторов религиозность и «натурфилософия» были в оригинальном синтезе, придававшем им лица не общее выражение. Правда, эта «натурфилософия» вредила порой собственно духовности мысли. Зато помогала сохранять трезвость там, где другие впадали прямо-таки в хлыстовскую экзальтацию. «Может быть, с первых времен христианских мучеников не было во всемирной истории явления более христианского, более Христова, чем русская революция», — писал после Февраля, например, Мережковский. Обрушившаяся на Россию в Великий пост Февральская революция «одержимыми» воспринималась как Пасха. Меньшиков же — не обольстился<sup>3</sup>.

Удивителен феномен его дара. Согласно воспоминаниям сослуживцев, рано утром, приходя в редакцию «Нового времени», он садился за письменный стол с толстой стопой бумаги всегда одного и того же им излюбленного формата «и принимался за многочасовую работу. Мелким кудрявым почерком быстро покрывал он целые страницы, причем каждая буква соответствовала типографскому кеглю, и метранпажу не составляло никакого труда смастерить верстку».

То есть Меньшиков писал практически без черновиков, ежедневно, как говорится, с полуоборота включаясь в работу. Вернее, очевидно, он из нее никогда и не «выключался»: жизнь и деятельность в данном случае и впрямь срослись в одно слово — *жизнедеятельность*. Надо постоянно и ежечасно вариться в котле политики, социальности, истории и культуры, чтобы трудиться столь безостановочно и продуктивно. При этом слог Меньшикова не неряшлив, а весьма точен, неприпужен, выверен и доходчив. Рискну сказать, что столь же, кажется, спонтанно и «легко» возникавший «Дневник писателя» Достоевского порою более косноязычен и громоздок. У Меньшикова литературного стиля в самую, как говорится, для его нужд пропорцию: ему прежде всего было что сказать, и это «что» формовало повествование.

Увы, этого не скажешь об опубликованных в «Приложении» к книге статей Ю. Алехина и В. Лазарева. На их месте уместней был бы, разумеется, комментарий, над которым, правда, как следует бы пришлось потрудиться. А вот для риторического, витиеватого «сказа», густо забомбардированного знаками восклицания, трудиться много не надо. Одним словом, книга хорошо составлена, но худо подготовлена к печати.

Станем ждать «Писем к ближним» — полных и полноценно откомментированных.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

<sup>3</sup> См.: Колоницкий Б. «Русская идея» и идеология Февральской революции. — В сб.: «Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация». Тарту, 1997.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Уильям Голдинг.** Собрание сочинений. Повелитель мух. Перевод с английского Е. Суриц. Наследники. Перевод с английского В. Хинкиса. Романы. Чрезвычайный посол. Повесть. Перевод с английского Ю. Здорова. Составление М. А. Шершевской. Предисловие Чамеева. СПб., «Симпозиум», 1998, 464 стр., 6500 экз.

**Уильям Голдинг.** Собрание сочинений. Свободное падение. Перевод с английского М. Шершевской и С. Сухарева. Хапуга Мартин. Перевод с английского Л. Азаровой и Т. Чернышевой. Романы. Бог-Скорпион. Повесть. Перевод с английского В. Кобец. Притчи. Эссе. Перевод с английского А. Глебовской. Составление М. А. Шершевской. СПб., «Симпозиум», 1999, 496 стр., 6500 экз.

Двухтомник классика английской литературы XX века, лауреата Нобелевской премии 1983 года Уильяма Джеральда Голдинга (1911 — 1993) включает четыре романа, две повести и несколько эссе (наследие писателя составляют одиннадцать романов, три повести, одна пьеса, эссе).

Романы «Свободное падение», «Хапуга Мартин» и повесть «Бог-Скорпион» рецензировались журналом в № 10 за 1997 год (Алена Злобина, «Перед судом»).

**Евгений Евтушенко.** Избранная проза. М., «ЭКСМО-Пресс», 1998, 700 стр., 11 000 экз.

В избранное вошло: «Щели в перроне». Рассказы; «Ягодные места». Роман; «Не умирай прежде смерти». Русская сказка; «Слух о моем самоубийстве». Невыдуманная история. Предисловие от автора «Моя первая избранная проза».

**Филипп Жакоте.** Стихи. Проза. Записные книжки. Перевод с французского, составление и примечания М. Гринберга и Б. Дубина. М., «Carte Blanche», 1998, 208 стр., 2000 экз.

Сборник представляет поздний период творчества известного французского поэта, эссеиста, прозаика — книги «Навеянные облаками» (1983), «На страницах зелени» (1990), «Много лет спустя» (1994), а также обширные извлечения из книги «Самосев. Из записных книжек 1954 — 1979».

**Иван Жданов.** Фоторобот запретного мира. Стихи. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 54 стр., 2000 экз.

Переиздание книги лауреата премии Аполлона Григорьева 1998 года, осуществленное по инициативе учредителей этой премии — Академии русской современной словесности и ОНЭКСИМ-банка.

**Л. Зиновьева-Аннибал.** Тридцать три уroda. Роман, рассказы, эссе, пьесы. Составление, предисловие, комментарии М. В. Михайловой. М., «Аграф», 1999, 3000 экз.

**Виталий Кальпиди.** Ресницы. Стихи. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 46 стр., 2000 экз.

Переиздание книги лауреата премии Аполлона Григорьева 1998 года, осуществленное по инициативе учредителей этой премии — Академии русской современной словесности и ОНЭКСИМ-банка.

**Анатолий Королев.** Избранное. М., «Тerra», 1998, 480 стр.

Новая книга известного прозаика представляет «раннего» Королева времен «Ожога линзы» — повесть «Гений местности», «зрелого» Королева — повесть «Голова Гоголя» и Королева — автора скандально известного историософско-эротического романа «Эрон».

**Хулио Кортасар.** Книга Мануэля. Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко. СПб., «Азбука», «Амфора», 1998, 373 стр., 10 000 экз.

**Хулио Кортасар.** 62. Модель для сборки. Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко. СПб., «Азбука», 1998, 287 стр., 10 000 экз.

**Юрий Кублановский.** Заколдованный дом. М., «УМСА-press», «Русский путь», 1998, 120 стр., 1000 экз.

Десятая книга поэта с кратким послесловием Александра Солженицына.

**На невском сквозняке.** Современный петербургский рассказ. Составители А. А. Образцов, В. Г. Попов. СПб., «Петербургский писатель», «Домик драматургов», 1998, 320 стр., 3500 экз.

Своеобразная антология рассказов петербургских писателей второй половины нашего века — от Гранина, Конецкого, Битова, Голявкина, Грачева до Бартова, Дышленко, Коровина, Юрьева и других. Рецензию на это издание читайте в следующем номере журнала.

**Эдгар Аллан По.** Стихотворения. Составление Александры Глебовской, Сергея Степанова. Предисловие и комментарии Юрия Ковалева. СПб., «Симпозиум», 1998, 464 стр., 2500 экз.

Стихотворное наследие Эдгара По на языке оригинала и в параллельных переводах К. Бальмонта, В. Брюсова, В. Топорова, А. Эппеля и других.

**Полное собрание русских сказок.** Предреволюционные сборники. Том 1. Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова. Книга 2. СПб., «Тропа Троянова», 1998, 347 стр., 5000 экз.

**Валерий Попов.** Грибники ходят с ножами. Повесть. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1998, 238 стр., 5000 экз.

Книжное издание повести, впервые опубликованной в «Новом мире» (1997, № 6).

**Вячеслав Репин.** Избранное. Звездная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман. М., «Терра», 1998, 656 стр.

Роман современного русского писателя, малоизвестного на родине, эмигранта с 1985 года, живущего ныне в Париже. Журнал намерен отрецензировать эту книгу в № 6.

**Райнер Мария Рильке.** Стихотворения в переводах Вячеслава Куприянова. М., «Радуга», 1998, 320 стр., 5000 экз.

Избранные стихотворения на языке оригинала с параллельным русским переводом.

**Роман Солнцев.** Маленькое тайное общество. Книга стихотворений. Красноярск, ИПК «Платина», 1999, 324 стр. 1000 экз.

Избранное, стихи 70 — 90-х годов.

**Урания.** Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской словесности. Издание подготовили Т. М. Гольц, А. Л. Гришунин. М., «Наука», 1998, 345 стр., 1000 экз.

Альманах, подготовленный и изданный в Москве М. П. Погодиным и представлявший сочинения Пушкина, Вяземского, Боратынского, молодого Тютчева, Мерзлякова, Раича и других.

**Мария Шкапская.** [Избранное]. Красноярск, ИПК «Платина», 1999, 41 стр., 1000 экз.

Первое после трех прижизненных книг (20-е годы) издание стихов одного из самых оригинальных поэтов начала века Марии Михайловны Шкапской (1891 — 1952). Сорок три стихотворения в тоненькой книжке издательской серии «Поэты свинцового века», предпринятой красноярским журналом «День и ночь» (вышли сборники Анны Барковой, Георгия Маслова, Вильяма Озолина).



**Андрей Белый и Иванов-Разумник.** Переписка. Публикация, вступительная статья, комментарии А. В. Лаврова, Д. Мальмстада. Подготовка текста Т. В. Павловой, А. В. Лаврова, Д. Мальмстада. СПб., «Atheneum», «Феникс», 1998, 733 стр., 1500 экз.

**Николай Бердяев.** Судьба России. Сочинения. М., «ЭКСМО-Пресс», Харьков, «Фолио», 1998, 735 стр., 10 000 экз.

**Петр Вайль, Александр Генис.** 60-е. Мир советского человека. 2-е издание, исправленное. М., «Новое литературное обозрение», 1998, 359 стр.

**И. Д. Ермаков.** Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 512 стр.

Переиздание исследований о Пушкине (1923) и Гоголе (1924) одного из основателей русской психоаналитической школы Ивана Дмитриевича Ермакова (1875 — 1942).

Монография о Достоевском публикуется впервые. Вступительные статьи Александра Эткинда и М. И. Давыдовой. Комментарии Е. Н. Строгановой и М. Строганова.

**Иисус Христос в документах истории.** Составление, вступительная статья и комментарии Б. Г. Деревенского. СПб., «Алетейя», 1998, 494 стр., 2000 экз.

Книга вышла в издательской серии «Античное христианство. Источники».

**В. В. Катанян.** Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. М., «Захаров, АСТ», 1998, 173 стр., 11 000 экз.

**Н. А. Кун, А. А. Нейхард.** Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., «Литера», 1998, 608 стр., 15 000 экз.

**Ю. М. Лотман.** Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962 — 1993). Составители Р. Г. Григорьев, М. Ю. Лотман. СПб., «Искусство-СПб.», 1998, 702 стр., 5000 экз.

**Ю. М. Лотман.** Собрание сочинений. Том 1. Русская литература и культура Просвещения. М., ОГИ, 1998, 519 стр., 1000 экз.

**Е. М. Мелегинский.** Избранные статьи. Воспоминания. Ответственный редактор Е. С. Новик. М., РГГУ, 1998, 575 стр., 2000 экз.

**Владимир Набоков.** Лекции по зарубежной литературе. Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон. М., «Независимая газета», 1998, 512 стр., 10 000 экз.

**Невельский сборник.** Статьи, письма, воспоминания. Выпуск 3. К столетию М. В. Юдиной. По материалам Четвертых Невельских Бахтинских чтений (1 — 4 июля 1997 г.). СПб., «АКРОПОЛЬ», 1998, 182 стр., 500 экз.

Значительная часть материалов сборника посвящена Марии Вениаминовне Юдиной: переписка М. В. Юдиной с М. М. Бахтиным, письма И. Ф. Стравинского М. В. Юдиной, воспоминания о Юдиной голландской славистки, русской по происхождению, Т. Ф. Фоогд-Стояновой и другие материалы.

**Б. Панкин.** Четыре Я Константина Симонова. Роман-биография. М., «Воскресенье», 1999, 456 стр., 10 000 экз.

**Словарь рифм Иосифа Бродского.** Под редакцией В. А. Рогачева. Составитель А. Л. Бабакин. Тюмень, Издательство Ю. Мандрики, 1998, 256 стр., 500 экз.

**Слово пробивает себе дорогу.** Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962 — 1974. Составители Владимир Глоцер и Елена Чуковская. Вступительная статья Лидии Чуковской. М., «Русский путь», 1998, 496 стр., 2000 экз.

Первое полное издание. Сборник, составленный из статей критиков, писем читателей, официальных документов и редакционных статей ведущих газет, стенограмм различных официальных и полуофициальных заседаний, открытых писем писателей, политических протестов, заявлений самого Солженицына с 1962 по 1974 год. Книга «представляет весь спектр отношений к писателю людей разных взглядов, критиков литературных и нелитературных организаций, то есть дает правдивую картину жизни писателя со времени его вхождения в литературу до изгнания в 1974 году» (из аннотации). Первоначально книга была составлена в 1969 году и ходила в самиздате. Основной корпус ее позднее был дополнен «Приложением»: подборка документов, связанных с исключением Солженицына из Союза писателей, получением Нобелевской премии, публикацией «Августа Четырнадцатого» и изгнанием писателя из страны.

**Бенедикт Спиноза.** Об усовершенствовании разума. Составление, вступительная статья, комментарии А. М. Кривули. М., «ЭКСМО-Пресс», Харьков, «Фолио», 1998, 863 стр., 11 000 экз.

**Энциклопедия литературных произведений.** Под редакцией С. В. Стахорского. М., «Вагриус», 1998, 654 стр., 15 000 экз.

Около тысячи словарных статей об основных произведениях мировой литературы «всех форм и жанров, всех времен и эпох, начиная с древнейших литературных памятников третьего тысячелетия до нашей эры и заканчивая сочинениями современных писателей. ...Представлена не только классика художественной литературы, но также философские и религиозные сочинения, литературная критика, мемуаристика. ...Статьи содержат краткий комментарий, проясняющий историю создания произведений (вари-

анты и редакции, первая публикация), его идеи и образы, жанровые и стилевые особенности, художественные традиции и культурный контекст» («От издательства»).

**Михаил Эпштейн.** Бог деталей. Народная душа и частная жизнь в России на исходе империи. Эссеистика 1977 — 1988. М., Издание Р. Элинина, 1998, 240 стр.

«...исследование позднего советского декаданса (1970 — 1980-е годы), его публичного и частного пространства. Метод исследования — превращение мифа в эссе, деконструкция советского массового сознания и одновременно, на его материале, конструкция новых, индивидуально-рефлексивных мыслеобразов» (из издательской аннотации).

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



**«Апрель», «Арион», «Волга», «Демократический выбор», «День и ночь»,  
«День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Живая Арктика», «Звезда»,  
«Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Искусство кино»,  
«Книжное обозрение», «Литературная газета», «Литературное обозрение»,  
«Литературные вести», «Москва», «Московские новости», «Наши современники»,  
«Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новый Журнал»,  
«Общая газета», «Преображение», «Русская мысль», «Фигуры и лица»**

**Геннадий Айги.** — «Литературное обозрение», 1998, № 5-6.

Мощная подборка, посвященная «классику нашего авангарда»: Геннадий Айги, «Из неопубликованного»; «Поэт — это несостоявшийся святой...» (Беседа Виктора Куллэ с Геннадием Айги); Геннадий Айги, «Речь» при получении Международной македонской премии «Золотой венец»; Збигнев Херберт, «Письмо Геннадию Айги»; Райнер Грюбель, «Звукопись — Айги во сне»; Антуан Витез, «Поэт-и-сон»; Ольга Денисова, «вишневого косточкой»; Ева Лисина, «Живые страницы»; Владимир Новиков, «Поэзия 100 процентов»; Гиви Орагвелидзе, «Эскизы на фоне поэзии Геннадия Айги»; Феликс Филипп Ингольд, «Речь, произнесенная на церемонии по поводу вручения премии Петрарки Геннадию Айги»; Атнер Хузангай, «У-топия Геннадия Айги»; Сергей Бирюков, «Геннадий Айги перед лицом русского авангарда» и другие материалы. А также избранная библиография Айги, составленная В. Куллэ.

Иное мнение об этом «классике» см. в статье Юрия Колкера «Обманувшийся и обманутый» («Новый мир», 1997, № 10).

**Дмитрий Бавильский.** Стихи, сочиненные во время бессонницы. Скороговорки Льва Лосева. — «Литературное обозрение», 1998, № 5-6.

Лев Лосев пишет *ad marginem*, «на полях». «В книгах стихи Лосева плавают, как клецки в бульоне: одна не ведает, куда поплывет другая». Отсутствие поводов для написания лирического произведения как одна из самых серьезных проблем для *действительно современного поэта*.

**Георгий Балл.** Два письма Марии Кузьминой. — «Апрель». Альманах. Выпуск десятый. М., 1998.

В послесловии к рассказу 1959 года автор пишет: «Это самый первый взрослый рассказ, написанный мной. Я отдавал его в один из журналов, его мне вернули. Поскольку отдел прозы был за публикацию, мне в качестве компенсации предложили командировку в любую часть СССР. Я выбрал Литву. Это дало мне возможность написать в 1962 году повесть-плач „Васта Трубкина и Марк Кляус“. Через 35 лет она была опубликована в журнале „Знамя“ (1997, № 11)».

См. также повесть Георгия Балла «Лодка» в апрельском номере «Нового мира» за этот год.

**Павел Басинский.** Белеет «крайслер» одинокий. «Новая русская» тема в 1998 году. — «Литературная газета», 1999, № 1-2, 13 января.

Обзорная статья о «новорусской» теме в новомирской прозе пронизана раздражением по поводу того, что *бессовестные прозаики зачем-то* не пишут романов о голод-

ных учителях и шахтерах или пижут, но выходит хуже, чем о сытых банкирах. Наверное, размышляет Басинский, авторы подсознательно вождедеют к большим деньгам. Увы, Павел Валерьевич, и *«ветру и орлу / И сердцу девы нет закона. / Таков поэт: как Аквилон, / Что хочет, то и носит он — / Орлу подобно, он летает / И, не спрося ни у кого, / Как Дездемона, избирает / Кумир для сердца своего».*

**Татьяна Бек.** Ксюша, или «Как уместить на четвертушке небо». — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 4.

О Ксении Некрасовой.

**Павел Белицкий.** Пейзаж при рассеянном свете. — «Независимая газета», 1998, № 243, 29 декабря.

Новое имя: Виталий Пуханов — «поэт не темный, но именно пасмурный». *Сумеречный талант.* Стихи, которые могли быть написаны триста лет назад, но написаны сегодня и, странным образом, абсолютно современны.

См. также статью Павла Белицкого «Плоть плоти» («Независимая газета», 1999, № 17, 2 февраля) — о «нескромной лирике» Веры Павловой.

**Владимир Бутромеев.** Корона Великого Княжества. Роман-диссертация. — «Дружба народов», 1999, № 1, 2.

Подлинный авторский подзаголовок (псевдо)исторического романа звучит так: «Диссертация в полном смысле этого слова на тему: кто же такие белорусы, откуда они взялись и что они делают во всемирной истории». С ироническими иллюстрациями.

**Василь Быков.** Хвостатая. Современная сказочка для взрослых. — «Литературные вести». Газета Содружества союзов писателей, Союза писателей Москвы и Независимой ассоциации писателей «Апрель». 1998, № 32, ноябрь — декабрь.

Из жизни крыс. Также действует некто Усатый, в котором можно, конечно, увидеть Сталина или Гитлера, но, кажется, есть еще один актуальный для белорусского писателя прототип.

**Ольга Вайнштейн.** Семиотика одежды гуманитариев. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 1(3).

Западных гуманитариев, что немаловажно.

**А. Венгеров, С. Венгеров.** Письмо последнего императора России и некоторые мысли по этому поводу. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

Замечательное письмо Николая II министру народного просвещения П. С. Ванновскому от 25 марта 1902 года с *ласковым* извещением о его (министра) отставке («Должен Вам откровенно сказать, не лежит у меня сердце к этой быстрой ломке нашей школы...»). Еще цитата: «На мне лежит страшная ответственность перед Богом и перед Россией, тяжесть которой я несу сознательно один. Но, по-моему, эту ответственность только и можно нести, когда сам являешься хозяином своих желаний и действий».

**Георгий Владимов.** Спрос рождает предложение. — «Московские новости», 1999, № 1, 10 — 17 января.

Автор повести «Верный Руслан» предлагает воздвигнуть на опустевшей Лубянской площади памятник своему четвероногому герою: «Это он для меня Руслан, а для всех пусть будет некий обобщенный пес, но видом не оставляющий сомнений в принадлежности к известной Службе». Тем более, что и Феликс Эдмундович как-то назвал себя сторожевым псом Революции.

**Татьяна Вольтская.** Не умрем, так выздоровеем. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 1999, № 1, январь.

Беседа с академиком Александром Михайловичем Панченко: «Хорошей жизни быть не может, жизнь — это тягостная ноша».

**Наталья Гончарова.** Что производит красоту в стихотворстве? Публикация Ларисы Черкашиной. — «Независимая газета», 1999, № 15, 29 января.

Сочинение-реферат десятилетней Наташи Гончаровой о стихосложении из ученической тетради 1822 года (сохранились ее учебные работы с 1820 по 1829 год).

**Денис Горелов.** Бес страха и упрека. 1 января исполнилось 80 лет Сэлинджеру. — «Известия», 1999, № 2, 13 января.

Холден Колфилд — зловердная пивяка, вот он кто такой.



**Лев Гудков.** Образованное сообщество в России: социологические подступы к теме. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 1(3).

Советская интеллигенция — «это не элита в социологическом смысле слова, не элита по своим функциям и структуре воспроизводства, а государственная по формированию и роду деятельности бюрократия, технологическая (инженеры. — *А. В.*) или репродуктивная (учителя. — *А. В.*)». А также: «дешевый инженер» как модельная фигура для советской интеллигенции.

**Борис Дубин.** Вещи века. — «Ex libris НГ», 1998, № 51, декабрь.

В 1998 году ВЦИОМ провел опрос, в рамках которого среди прочих был и вопрос о лучших русских романах XX века. Лидеры опроса: «Тихий Дон» — 34 процента, «Вечный зов» — 30 процентов, «Мастер и Маргарита» — 27 процентов, «Двенадцать стульев» — 25 процентов, «Живые и мертвые» — 12 процентов, «Как закалялась сталь» — 11 процентов, «Дети Арбата» — 10 процентов, «Молодая гвардия» — 10 процентов, «Доктор Живаго» — 5 процентов, «Русский лес» — 4 процента, наконец, «Слово и дело» В. Пикуля — 3 процента. Остальные книги собрали по 1 — 2 процента или меньше.

См. также беседу Бориса Дубина «Безъязычие» («Знание — сила», 1998, № 11-12) о том, как «склерозируются» каналы публичных коммуникаций между группами образованного населения. «Лишь один канал работает сейчас на полную мощность, которая еще и растет: телевидение... Крайности (малообразованные и высокообразованные группы населения. — *А. В.*) начинают „сваливаться“ в середину. Там-то и находится человек массовый, усердный потребитель массовой культуры (телевидение). Мало того что телевидение облучает людей с невиданной прежде мощностью продуктами массовой культуры — эта мощность растет, и ситуация постоянно воспроизводится, расширяясь. Книгоиздание почти полностью переместилось туда же: оно работает сегодня почти исключительно на новинках, но три четверти книжного рынка принадлежат беллетристике (и учебникам), а 90 процентов составляют любовный роман, детектив, исторические „тайны“ и сенсации. То есть телевидение задает интересы, книгоиздание их поддерживает — и люди хотят того же самого все больше и больше: система постоянно воспроизводит массового человека».

**Александр Дугин.** Филолог Аввакум. — «День литературы», 1999, № 1, январь.

Протопоп Аввакум, *первый русский писатель*, против Пушкина, светского скептика, масона и индивидуалиста. «Язык Пушкина является современным языком, тем, что по задумке палачей-реформаторов XVII века должно было заменить собой отрубленные языки старообрядческих исповедников. Это литература без свидетельствования, Россия без Руси. Причем реальный трагизм, расколотость души, страстное ожидание очистительного пламени, что составляет нерв „Жития Аввакума“, испарено, забыто, „преодолено“. Более ста лет новообрядчества не прошли даром. С ядовитым богохульником ничтоже сумняшея переписывается, обменивается плоскими моралистическими сентенциями никонианский иерарх».

**Андрей Зорин.** Врач или боль? — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 1(3).

«Жаль, что Солженицына не слышат. И горше всего, что не слышат его нынешние русские либералы, решительно уклонившиеся от серьезного диалога со своим, возможным, самым сильным потенциальным союзником».

**Интервью с Алексеем Варламовым.** — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1998, № 213.

О том, что дело не в направлениях и терминах, а в конкретных писателях и их книгах: «Если Веничка Ерофеев и Саша Соколов — постмодернисты, то это не тупик, хотя и не стремнина, — я все же полагаю, что русская литература будет обретать и находить себя на путях реализма. Но если постмодернизм — это Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин, тогда это даже не тупик, а зловонная яма».

**Фазиль Искандер.** Рассказы. — «Знамя», 1999, № 1.

«На даче», «Люди и гусеницы», «Курортная идиллия», «Антип уехал в Казантип» — короткие рассказы известного прозаика.

См. также рассказ Фазили Искандера «Незванный гость» в журнале «Звезда» (1999, № 1).

**Сергей Кара-Мурза.** Царь-голод. — «Наш современник», 1999, № 1.

О сытых и голодных. Уроки истории. Призрак чрезвычайных мер.

**Марсель Карне.** Жажда жизни. Перевод с французского Александра Брагинского. — «Искусство кино», 1998, № 10, 11, 12.

Фрагменты автобиографической книги («La vie à belles dents», 1979) известного французского кинорежиссера.

**Владимир Корнилов.** Памяти Левитанского. — «Дружба народов», 1999, № 1.  
«У Левитанского достало сил и таланта из *фронтового* поэта стать просто *поэтом*».

**Станислав Куняев.** Поэзия. Судьба. Россия. Книга воспоминаний и размышлений. — «Наш современник», 1999, № 1, 2, 3, продолжение следует.

См. также мемуарный очерк Станислава Куняева об Анатолии Передрееве («Прощай, мой безнадежный друг...» — «День литературы», 1999, № 1).

**Александр А. Михайлов.** <Ответ на анкету «КО»>. — «Книжное обозрение», 1998, № 2.

«Хотел назвать самым плохим журналом „Новый мир”, так как по инерции заглядываю в каждый очередной номер и мало что нахожу для себя, кроме кропотливо составленной библиографии. Но вдруг вспомнил напечатанную в этом журнале отличную вещь Владимира Тучкова „Смерть приходит по Интернету” (1998, № 5. — *А. В.*). Такая публикация оправдала бы существование любого издания».

Характерным для *отечественной* современной культуры Тупика считает сочинение Владимира Тучкова критик Капитолина Кокшенева («Принуждение к смерти» — «Москва», 1998, № 12), она полагает, что лукавый прозаик и впрямь описывает в своих рассказах подлинные быт и нравы «новых русских банкиров» — ту, словами Кокшеновой, скрытую от обывателя область жизни, которая «безобразнее всякого мыслимого и уместаемого в сознании человека образа злодеяния».

За «Смерть приходит по Интернету» Владимир Тучков получил премию «Нового мира» за 1998 год.

**Тимур Музаев.** Последний шанс Гитлера. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4254, 21 — 27 января.

О том, как во время войны представители Берлина и Москвы вели секретные переговоры о сепаратном мире на Востоке.

См. также статью Тимура Музаева «Адольф Гитлер как „могильщик капитализма”» («Русская мысль», 1998, № 4249, 10 — 16 декабря) о генетической связи немецкого нацизма с леворадикальным социализмом.

**Накопление зла.** Беседу вела Татьяна Вайзер. — «Литературная газета», 1999, № 4, 27 января.

Беседа с прозаиком и драматургом Ниной Садур: «Мат как таковой не люблю. Он тяжел, опасен, и если не уметь им пользоваться, это страшно, это заклинание, отсыл к смерти. Сейчас я обращаюсь к „нелитературшине” гораздо реже. А несколько лет назад, когда это было модно, когда все раскрепостились... отдала этому легкую дань... За чистоту их (молодых читателей. — *А. В.*) языка боюсь, когда будут читать Маринину. А у меня блестящий слог, и я за свой язык отвечаю. И за ненормативную лексику, и за неправильно выстроенные фразы».

В связи с проблемой использования ненормативной лексики в художественной литературе см. ответы писателей на анкету «Нового мира» (1999, № 2).

**Неоконченная пьеса для неожиданного режиссера.** Беседу подготовил Игорь Шевелев. — «Общая газета», № 52/1, 31 декабря 1998 — 13 января 1999.

Обширная беседа с Н. С. Михалковым. Будущее России — это просвещенный консерватизм и конституционная монархия. Среди прочего: белые проиграли войну за Россию еще и потому, что не могли в силу своего воспитания обещать того, чего не могли выполнить, а большевики обещали.

**Андрей Никитин.** Радары иных миров. — «Живая Арктика». Историко-культурный, эколого-информационный альманах. Апатиты (Мурманская область), 1998, № 3.

О древних каменных лабиринтах на Русском Севере. В этом же номере, посвященном 60-летию Мурманской области, обращает на себя внимание публикация некоторых писем и рисунков Павла Флоренского «соловецкого периода».

**Валерия Новодворская.** В огне брода нет. Полемические заметки. — «Демократический выбор». Газета объединенных демократов. 1998, № 52, 30 декабря.

Дело Пиночета — «неандертальское» нарушение международного права, лицемерие, левый самосуд. Все равно что осуждать Белую армию за попытку военной силой вырвать Россию из лап большевиков. «Будем честны: Франко и Пиночет сделали то, что никто больше не сделал: остановили красный шторм. Они спасли Испанию и Чили. Может быть, ценой своей бессмертной души».

**Евгений Носов.** Жаних. Рассказ. — «Москва», 1998, № 12.  
Деревня Малые Репицы. Сельпо. Гуси. Пес Жучок.

**Одинаково опасно говорить сегодня о «славянской идее», как и о православной.** Беседу вел Семен Букчин. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4249, 10 — 16 декабря.

Беседа с известным славистом Жоржем Нива. «Цензуры нет — и это благо. Но это обстоятельство меняет экзистенциальную судьбу русского писателя... Я имею в виду и таких прекрасных писателей, как Белов и Распутин. Они с трудом искали свой путь, и цензура вынуждала их находить замечательные метафоры. Все главные вещи Распутина построены на одной крепкой метафоре, которая разветвляется на всем пространстве произведения...»

О новых произведениях Валентина Распутина и Василия Белова см. рецензию Ольги Славниковой «Деревенская проза ледникового периода» («Новый мир», 1999, № 2).

**Сергей Ожегов.** Отец. — «Дружба народов», 1999, № 1.

В рубрике «Частные воспоминания о XX столетии» — воспоминания о филологе Сергее Ивановиче Ожегове, создателе знаменитого «Словаря русского языка».

**Евгений Пастернак** (при участии Елены Пастернак). Верность Христу. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4253, 14 — 20 января — № 4254, 21 — 27 января.

Христианство Бориса Пастернака. «Доктор Живаго».

**Валентин Распутин.** Изба. Рассказ. — «Наш современник», 1999, № 1.

Своеобразный постскрипtum к «Прощанию с Матерой»: после великого ангарского затопления деревня строится на новом месте.

**Станислав Рассадин.** Бес бесстылья. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 4.

О печальной трансформации индивидуальных поэтических стилей (Андрей Вознесенский, Юрий Кузнецов и другие). Веское порицание Пригова, Сорокина, Рубинштейна (последнего — за то, что не хочет читать Томаса Манна). А также о том, что бесстылье — не бессилье, а *безволие*.

**Мария Ремизова.** «Континент» — не Атлантида. — «Независимая газета», 1999, № 3, 13 января.

Главный редактор журнала «Континент» Игорь Виноградов называет отношения между его «традиционно-консервативным» журналом и (ныне уже рухнувшим) Инкомбанком *идеальной моделью взаимоотношений нового русского капитала и культуры*. В этом году «Континенту», основанному Владимиром Максимовым в эмиграции, исполняется 25 лет.

**Мария Ремизова.** Из рассказов о новых людях. — «Независимая газета», 1999, № 8, 20 января.

*Онтологическая хандра* как основное настроение в романе Антона Уткина «Самоучки» («Новый мир», 1998, № 12). Стиль рецензии неудачно пародирует так называемую «реальную критику» XIX века.

**«Russkaya klassika».** — «Иностранная литература», 1999, № 1.

Предлагаемая журналом подборка произведений посвящена «отклику на русскую литературу в современной литературе зарубежной». В нее вошли: роман Дж.-М. Кутзее «Осень в Петербурге» (перевел с английского С. Ильин); рассказ Сьюзен Зонтаг «Сцена письма» (перевела с английского М. Гальперина); повесть Ежи Пильха «Монолог из норы» (перевела с польского К. Старосельская); рассказ Джулиана Барнса «Вспышка» (перевела с английского Л. Мотылева) и другие материалы. «Русскому следу» в западной литературе посвящена статья Игоря Волгина «Из России — с любовью?».

**Давид Самойлов.** Первая повесть. Публикация Александра Давыдова. — «Знамя», 1999, № 1.

Поэма 1946 года.

**Валерий Сендеров.** «Тысячелетняя Евразия» и христианская культура. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4254, 21 — 27 января.

Полемиическая статья о монографическом сборнике с невыразительным на первый взгляд названием «Русско-славянская цивилизация» (М., 1998). В итоге Валерий Сендеров определяет наше нынешнее «неоевразийство» как бездарно вторичный российский *преднацизм*.

**Савелий Сендерович, Елена Шварц.** Аурелиан и Элеонора, или Где Набоков ловил бабочек. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1998, № 213.

Рассказ Сирина «Пильграм» (1930) и энтомология.

**И. Я. Славин.** Минувшее — пережитое. Воспоминания. Вступительная статья и публикация Г. А. Дзякович и Н. В. Самохваловой. — «Волга», Саратов, 1998, № 2-3, 5-6, 8, 11-12; 1999, № 2, 3, продолжение следует.

Жизнь саратовская, век XIX.

**Спор о заявлениях Александра Солженицына.** — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4252, 7 — 13 января.

Резкая реплика Владимира Прибыловского на не менее резкую статью Дмитрия Юрьева «Не по правде» («Русская мысль», № 4250) и ответ главного редактора газеты «Русская мысль» Ирины Иловайской. Спор идет об отказе Солженицына принять *от этой власти* орден святого Андрея Первозванного и о письме Солженицына в поддержку лужковского движения «Отечество» (см. «Русская мысль», № 4251). Ирина Иловайская даже считает, что Солженицын «позволил превратить себя в фигуру политической игры. Те, кто по сути своего мышления и мировоззрения являются его врагами, безмерно рады. А убежденные его друзья, сторонники и поклонники не могут не горевать».

**Борис Соколов.** Контуры «Эпохи Великой Духовности» В. В. Кандинского. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1998, № 213.

О духовных исканиях знаменитого авангардиста в 1900 — 1910-е годы.

**Александр Соколянский.** Новая русская бука. Сленг 90-х упакован в сувенирную «Азбуку». — «Общая газета», № 52/1, 31 декабря 1998 — 13 января 1999.

В рецензии на «Новый русский букварь» (М., 1998; текст написала Катя Метелица, картинку нарисовала Виктория Фомина) содержится любопытное признание: «Если на выбор предоставляются всего две возможности: жить в стране, управляемой бандитами, или в стране, управляемой Праведной Партией (как бы ни называла себя эта партия), — я иду на риск и выбираю бандитов. Они, по крайней мере, не запрещают говорить то, что приходит в голову, а это — главное. Я ведь искусствовед, жизнь как таковая мне не слишком интересна». Букварь продавался в московском магазине «Мир новых русских» наряду с деревянной кредитной карточкой «Хохлома-банка» и псевдогжельской статуэткой «В сауне».

**Юрий Трифонов.** Из дневников и рабочих тетрадей. Публикация и комментарии Ольги Трифоновой. — «Дружба народов», 1999, № 1, 2, 3.

Начало публикации см. в № 5, 6, 10, 11 «Дружбы народов» за 1998 год.

**Александр Уланов.** Л. С. Рубинштейн: голос слуха. — «Литературное обозрение», 1998, № 5-6.

«Построение текстов Рубинштейна очень напоминает чеховские пьесы». Скромный и надежный хранитель *голосов*. Философия онтологической неуверенности.

**Энди Уорхол.** Философия Энди Уорхола. Предисловие Юрия Лейдермана. Перевод с английского Натальи Кигай. — «Искусство кино», 1998, № 6, 8.

Автобиографические размышления (1979) известного американского художника-авангардиста Энди Уорхола (менее известно его настоящее имя — Анджей Вархола).

**Семен Файбисович.** Где-то между вчера, сегодня и завтра. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 1(3).

Комплекс на Манежной площади, Парк скульптуры на Крымском валу и проект перекрытого Гостиного двора «концентрированно выражают различные социокультурные дискурсы». Об этих московских ансамблях, проектах и «дискурсах» размышляет известный художник и эссеист.

**Федерико Феллини, Бернардино Дзаппони.** Феллини — блокнот режиссера. Перевод с итальянского и предисловие Валерия Босенко. — «Искусство кино», 1998, № 7.

Сценарий малоизвестного телефильма, снятого Феллини для американской телекомпании Эн-би-си в 1969 году.

**Юрий Фельштинский.** Вожди в законе. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 1998, № 6 (ноябрь — декабрь).

Статья четвертая: «Деньги революции». Деньги, разумеется, японские и немецкие. Начало публикации см. в № 4-5 журнала «День и ночь» за 1997 год и в № 3 за 1998 год. Автор живет в Бостоне.

См. также статью Юрия Фельштинского «Был ли Сталин агентом Охранки» в нью-йоркском «Новом Журнале» (1998, № 213). По мнению автора статьи, вопрос остается открытым, причем гипотетическим «провокачеством» Сталина все равно не объясняется феномен сталинщины. А если и *служил*, добавлю я, то можно ли *именно это* в свете последующей сталинской биографии поставить ему в вину?

**Михаил Филин.** Русский Париж в 1937 году. Подоплека пушкинского юбилея. — «Москва», 1998, № 12.

А подоплека, по мнению М. Филина, такая: либерально-масонский Центральный Пушкинский комитет в Париже под председательством кадета В. А. Маклакова намеревался «продемонстрировать городу и миру мощь российского либерализма и масонства через всемирное прославление „своего“ Пушкина — Пушкина-либерала и Пушкина-масона».

**Людмила Флам.** Голоса из прошлого. Свидетели 17-го года. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1998, № 213.

О многочисленных интервью, проведенных в 60-х годах с проживавшими на Западе свидетелями и участниками Февральской и Октябрьской революций. Интервью проводил ныне покойный историк А. Н. Малышев в качестве подготовительного материала для серии передач радиостанции «Свобода», приуроченных к пятидесятилетию русской революции.

**Нина Цыркун.** Как был завоеван Дикий Запад. — «Искусство кино», 1998, № 12.

Небезынтересный комментарий к популярному американскому телесериалу «Секретные материалы» («The X Files»).

**Татьяна Чередниченко.** Игры в историю: от нового средневековья к новому классицизму. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 1(3).

Нетривиальные размышления музыковеда о культурно-общественной ситуации. См. другую статью Т. Чередниченко — «Радость (?) выбора (?)» в «Новом мире» (1999, № 1), а также полемическое письмо А. Носова к автору статьи и ответ Т. Чередниченко А. Носову (1999, № 4).

**Петр Черкасов.** П. А. Столыпин и еврейский вопрос в России. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1999, № 4252, 7 — 13 января — № 4253, 14 — 20 января.

П. А. Столыпин не был ни юдофобом, ни погромщиком. Опровержение «злонамеренного мифа», созданного еще при жизни Столыпина «тогдашними нашими социальстами».

**Игорь Шайтанов.** Графоман, брат эпигона. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 4.

О «графомании» без иронии. Граф Хвостов и Дмитрий Пригов. «Тот путь, на который он (Хвостов. — А. В.) пытался увлечь русскую поэзию, был тупиком, но тот образ поэта-графомана, который он утвердил своей жизнью, оказался продуктивной эволюционной моделью». Заболоцкий и капитан Лебядкин. Резкий стилистический ход «в сторону» в последней поэтической книге Тимура Кибирова «Интимная лирика».

**Элизабет Шорэ.** Судьба трех поколений, или От очарования к разочарованию. (По произведениям А. Коллонтай «Любовь трех поколений» и Л. Петрушевской «Время ночь»). — «Преобразование». Феминистический журнал. Редактор-составитель номера Е. И. Трофимова. Тираж 1000 экз. 1997, № 5.

В этом же номере феминистического журнала, издающегося с 1993 года, можно прочитать статьи соответствующей тематики и направленности: Андрей Синельников, «Поощрение и наказание. Мужчина и патриархальная власть»; Наталья Шарандак, «„Я — художник“». Ситуация и самоидентификация художницы дореволюционного и советского времени»; Ирина Савкина, «Образ тетушки и приживалки в аспекте „гендерной поэтики“ (на материале прозы Марии Жуковой и Елены Ган)»; Елена Трофимова, «Проблема женственности в трилогии о Мимочке В. Микулич»; Кристина Энгель, «Проза Татьяны Набатниковой в аспекте формирования канона» и др., а также стихи, рассказы, рецензии и сведения об авторах.

**Эдуард Штейн.** Художники русского Китая, «ХЛАМ» и «Понедельник». (Иконография). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1998, № 213.

См. также публикацию Эдуарда Штейна «Поэты русского Китая. (Иконография)» в «Новом Журнале» (1997, № 206).

**Глеб Шульпяков.** После заката пирс закрыт. — «Ex libris НГ», 1999, № 3, январь.

Отклик на выход фотоальбома «Портрет поэта: Иосиф Бродский, 1978 — 1996» (Нью-Йорк, 1998). Фотографии Марианны Волковой, предисловие Льва Лосева, текст Александра Гениса. В альбоме семь глав: «44, Мортон», «Учитель поэзии», «Лицо»,

«Диалог», «„Русский Дом”, Нью-Йорк, 21 апреля 1992 года», «Последние годы» и «Проводы». По замечанию рецензента, Бродский на снимках нигде не проигрывает. «Не лицо, а подарок фотографу: никаких разнотений, сплошная „иконография”».

В этом же номере газеты напечатан короткий мемуар поэта Ильи Кутика, живущего ныне в США, о поистине гоголевских подробностях перезахоронения Бродского в Венеции.

**Натан Эйдельман.** Из дневников. Вступительная заметка, публикация и комментарии Юлии Эйдельман. — «Знамя», 1999, № 1.

Записи 1966 — 1975 годов. «Вадим Черных вспомнил одну из оксмановских историй: В ЛЕФ № 1 (была опубликована) статья Тынянова „Язык Ленина”. Гонорара нет — в Москву к Маяковскому; *(того нет, дверь открыла)* Лиля Брик, она — всем распоряжается; „приходите вечером!” Тынянов пришел — сервирован стол, пьют, она раздевается, он — только что женился, но — что делать... (Вечером у него поезд, и ни копейки в кармане, но пришлось плюнуть на поезд). Утром все же намекнул на гононар — она разъярилась: Ах, Вам еще и деньги!» (запись Эйдельмана от 16 сентября 1970 года, курсив публикатора).

**Татьяна Юрченко.** К генеалогии «Легкого дыхания». — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1998, № 213.

Из какой «старинной смешной книги» вычитала бунинская героиня Оля Мещерская про «легкое дыхание»? Автор статьи считает, что из популярного в свое время «Письмовника...» Николая Курганова (1725? — 1796).

**Вольфганг Якобсен, Хайке Клапдор.** Набоков. Берлин. Кино. Перевод с немецкого Александра Ярина. — «Искусство кино», 1998, № 9.

Поэтика Набокова и философия киноэкрана.

Составитель **Андрей Василевский.**



ДАТА: 19(31) мая исполняется 100 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга Леонида Максимовича Леонова (1899 — 1994).



## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

### Май

**5 лет назад** — в № 5 за 1994 год напечатана «Одиссея» Евгения Федорова.

**30 лет назад** — в № 5 за 1969 год напечатана статья В. Лакшина «Марк Шеглов. (Напоминание об одной судьбе)».

**40 лет назад** — в № 5 и 6 за 1959 год напечатана повесть Григория Бакланова «Пядь земли».

**45 лет назад** — в № 5 за 1954 год напечатана повесть-сказка Михаила Пришвина «Корабельная чаша» и статья Марка Шеглова «„Русский лес” Леонида Леонова».

**60 лет назад** — в № 5 за 1939 год напечатана пьеса Леонида Леонова «Волк. (Бегство Сандукова)» и книга рассказов Михаила Пришвина «Лисичкин хлеб».

## УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-99» (том 1, стр. 111, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Стоимость подписки на второе полугодие 1999 года — 162 рубля плюс стоимость доставки.

Редакция журнала совместно с Агентством по распространению средств массовой информации (АРСМИ) предлагает вам возможность оформить альтернативную подписку на журнал «Новый мир». Полная стоимость альтернативной подписки на второе полугодие 1999 года — 168 рублей (по вашему выбору — с доставкой до почтового ящика или до дверей квартиры, в удобное для вас время).

Альтернативную подписку можно оформить с 1 апреля по 31 мая с. г. одним из трех способов.

Во-первых, в помещении редакции журнала «Новый мир» по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду и четверг с 9 до 17 часов.

Во-вторых, в Агентстве по распространению средств массовой информации по адресу: ул. Тверская, 12, строение 7 (метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 11 до 16 часов.

В-третьих, оплатить стоимость подписки в любом из московских отделений Сберегательного банка, перечислив 168 рублей на реквизиты Агентства:

ЗАО «АРСМИ», ИНН 7713180422,

р/счет 4070281000000000044 в КБ «Инвестиций и технологий»,

к/счет 30101810900000000709,

БИК 044583709: назначение платежа: за подписку на журнал «Новый мир», 2-е полугодие.

В этом, третьем, случае копию платежного документа с указанием издания, количества экземпляров, Вашего почтового индекса, адреса и контактного телефона отправьте по адресу: 103009, Москва, а/я 365 АРСМИ.

Справки по телефонам: АРСМИ 209-66-35, факс 209-05-17; «Новый мир» 200-08-29, факс 200-08-29.

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-99» (том 1, стр. 111, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Стоимость подписки на второе полугодие 1999 года — 162 рубля плюс стоимость доставки.

Но те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 1999 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 150 рублей. *Особые льготы* предусмотрены для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, ветеранов Великой Отечественной войны и постоянных подписчиков. В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «МК-Периодика» («Международная книга») через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в ЗАО «МК-Периодика»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67;

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*



# SUMMARY



The poetry of the issue is presented by new poems by Alexander Frolov, Denis Novikov and Yevgeny Karasyev.

We are publishing the narrative «Eisenstein's Apprentice», a literary debut of prosaist Andrey Savelyev, the short story «Alexeyev is a Happy Man» by Roman Senchin, as well as the memoirs «Around Ordynka Street» by priest Michail Ardiv.

The section «Philosophy. History. Politics» contains the article «Forty Days or Forty Years» by Andrey Zubov.

In the section «World of Science» we are publishing the memoirs «A Strictly Confidential Task. From the History of the Nuclear Project in Russia» by physicist Boris Ioffe.

The «Novyi Mir» magazine continues to acquaint the readers with the materials from the Gertsyk-Zhukovskys' archives, publishing selected letters by Adelaida Gertsyk, a famous poetess of the Silver Century, to her relatives and friends.

The section «Polemics» contains the article «The Book about „Petersburg of Gays” as a phenomenon of Modern Culture» by Michail Zolotonosov.

Michail Arkhangelsky is the author of our traditional section «By the Way».

Literary criticism of the issue is presented by the article «Dostoevsky and „Relations between the Sexes”» by Vitaly Svintsov.

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор Л. Б. Левова

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.  
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,  
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,  
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,  
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”».

---

Сдано в набор 20.01.99 г. Подписано к печати 24.03.99 г. Формат бумаги 70x108<sup>1/16</sup>. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 п. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 14950 экз. Зак. 5179. Цена договорная.

---

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

## В 1999 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);  
 АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);  
 МАКСИМ АМЕЛИН. Веселая наука, или Подлинная повесть о знаменитом Брюсе, переложенная стихами со слов нескольких очевидцев (поэма);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Затеси (новая тетрадь);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);  
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов;  
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Житейские истории;  
 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. После инфаркта (повесть);  
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;  
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);  
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);  
 АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. День денег (плутовской роман);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;  
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНЫ ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКЕ  
НА «НОВЫЙ МИР» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ  
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 238 — 239 ЭТОГО НОМЕРА.**